Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ



В день рождения дорогой подруге.
15/II-1962 г.
Ж. Н.

Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ

ПОВЕСТИ

НЕДЕЛЯ

КОМИССАРЫ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1956

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор *Э. Бабаян*. Художник *Е. Ракузин*.
Художественный редактор *Л. Калитовская*. Технический редактор *А. Трошин*.
Корректор *Н. Мялик*.

Подписано в печать 30|XI-1955 г. А-06179. Бумага 84x108¹/₃₂-16 печ. л.-13,12 усл.-печ. л. 13,28 уч.-изд. л. Тираж 150.000 (75.001—150.000) экз.
Заказ А-365. Цена 5 руб.

Гослитиздат. Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Отпечатано в Книжной фабрике имени Камиль Якуб Отдела издательств и полиграфической промышленности Министерства культуры ТАССР, г. Казань, ул. Баумана, 19. 1900 г.

ОТ АВТОРА

Повести «Неделя» и «Комиссары», предлагаемые вниманию читателя, написаны в период 1921—1925 годов. В них нашла отражение эпоха первых лет социалистического строительства после победоносного окончания гражданской войны и разгрома белогвардейщины.

Созданные на заре советской литературы, когда бурный расцвет ее был еще впереди, обе повести во многом несовершенны. В настоящем издании я кое-что убрал, кое-что дополнил и поправил все, что, на мой взгляд, следовало бы поправить по прошествии более тридцати лет. Но некоторые моменты, присущие этим повестям, я сознательно не исправлял, хотя, если бы обе эти повести мне пришлось писать заново, я, конечно, написал бы их по-другому. Так обстоит дело со свойственной в первую очередь «Неделе» общей романтической приподнятостью стиля. Я счел необходимым сохранить эту особенность с тем, чтобы читатель сегодняшнего дня непосредственнее почувствовал, как жили и о чем мечтали коммунисты той ранней советской эпохи.

В этом последнем я видел главную задачу для себя при подготовке указанных повестей к новому изданию.

НЕДЕЛЯ

Памяти Марианны,
любимого друга и верного товарища

Какими словами рассказать мне о нас, о нашей жизни и нашей борьбе!

Глава первая

В просветы перламутровые между сырых недвижных куч облаков синеет радостное небо. Три дня солнечна была весна, ручьи ломали сугробы и несли их за город, к реке; улицы стали шумны и грязны. А на четвертый день весна задремала, положила голову на колени и сидя уснула где-то на далекой лесной поляне, и только один раз, к полудню, солнце улыбнулось земле и снова ушло за недвижные тучи. Но весенняя радость осталась. Стояла она позади всего, словно солнце за серыми, синими и бело-лиловыми облаками, что часами висят над землей, как серые мокрые камни.

Если мимо заборов и домишек окраины, скользя в липкой глине, подняться на бесснежный от солнца пригорок, где лежит одинокий обветренный камень, и потом оглянуться назад, то увидишь: внизу, под пригорком, широко, до самой реки, кварталами серых домов деревянных лег маленький город. Не видно людей: похоже — все спят, лают собаки, по-весеннему звонко кричат петухи. На широких улицах, на мелких проулках мерцают остатки последнего снега. Мало двухэтажных домов, но много церквей. Одинокая труба завода льет в небо бесконечную ленту черного дыма, и далеко за городом падает пепел в сугробы.

Приземистая пыльно-серая каланча надтреснуто шлет в пасмурную тишину один за другим пять мерных ударов, и две тихих минуты спустя в ответ с колокольни летят певучие звоны, долго кружатся в воздухе и далеко падают за городом в сырой туман деревень.

В этот час, незаметно простой, когда солнце матово-белым пятном далеко ушло от полудня, к зданию цирка,

на широкую площадь, собираются люди; идут вдоль низких заборов по рассыпчатым снежным тропинкам, по пустырям, где из-под сугроба торчит прошлогодний, засохший репей, переходят через улицы, залитые весеннею грязью, идут по врезавшимся в землю тротуарам. Спешат, встречаются, здороваются, улыбаясь друг другу, мужчины и женщины, чаще молодые, чем старые, в серых шинелях, в поношенных черных и синих пальто. Различны улыбки, глаза, движения, походка, и все же во всех что-то сходное есть, словно идут они навстречу далекому утреннему солнцу, которое всех их освещает своими лучами.

В цирке тихо весь день, и большие серые крысы бесшумно скользят по сумрачной желтой арене. Но вот во всю ширь открываются широкие входные двери, на которых висят лохмотья старых афиш; о чем-то невозвратно прошедшем говорят их оборванные, несвязные слова... В цирке стало светлее, и люди, струйками растекаясь по цирку, по местам, что все выше и выше горкой идут от арены, наполняют здание сдержанным шумом шагов, голосов.

За круглым столом, что стоит посередине арены, показались два человека. Со всех сторон отдельные голоса бросают им фамилии, и вот волей сотен протянутых рук на середину арены выходит товарищ Климин. Он в солдатской шинели. Мягко-расплывчаты в полусвете цирка черты его лица. Под спокойно-внимательным взглядом его глаз все затихает, и Климин говорит:

— Товарищи, объявляю собрание горрайона РКП открытым. На повестке дня — доклад предсовнархоза об экономическом положении края. Возражений нет? Слово товарищу Зиману.

Глуше и тише становится в цирке, и собрание многоглазый свой взгляд устремляет на другого, того, что тоже стоит посередине арены и нервной рукой мнет листочки бумаги.

Негромко и глухо, повышая голос на цифрах, на пудах хлеба и саженях дров, на числе паровозов и крупных денежных суммах, на количестве дней и недель, делал Зиман доклад. Но все слушали жадно, все понимали: речь идет о хозяйстве, топливе, пище, и вопросы, вопросы стаями белых бумажек плыли на стол президиума.

Рассказывал Зиман о том, что город — вдали от больших магистралей и со всей Россией соединяет его пяти-

сотверстная ветка. Край почти безлесен, каменного угля своего добывается мало, и дорога почти перестала работать. Год был неурожайный, и, если не подать семян к посеву, голодать будет и город и край.

Чтобы перевезти семена, нужно топливо. Оно заготовлено в Нижне-Еланском уезде, в горах, по железной дороге, верст за двести отсюда. В неделю его сюда не доставить. Срыв грозит посевной кампании. И докладчик призывал к стойкости, но слова его были бессильны.

Рабочие и красноармейцы взволнованно шли на середину арены; связанные непривычным вниманием людей, они все же говорили свои неуклюжие речи и укоряли Зимана. Соглашались: надо стойко держаться. Сидеть сложа руки — не значит быть стойким, и они искали выхода. Но каждый оратор возражал предыдущему, хотя и говорили они об одном.

А Зиман перестал записывать возражения; сердито дергал он головой, и его больше всего раздражали те, что видели выход. Зиман не видел его и сердито шептал: «Демагогия, митинговщина!» Ораторы не успевали сказать собранию о планах спасения, говорили о каких-то деталях, о том, что откуда-то «пилы можно достать, топоры...» Собрание уже волновалось, раздавались выкрики с мест и звонки председателя. Но вот вышел один — сутулый, с квадратной большой головы снял он старый синий картуз и показал высокий лоб с поперечной морщинкой.

— Слово товарищу Робейко, — сказал председатель.

И собрание старалось затихнуть, чтобы услышать негромкую речь.

Ведь Робейко нельзя говорить: у него горловая чахотка. Он давно уже понял: беспомощен Зиман и не видит исхода там, где многие видят, но не могут назвать. И досадовал он: зачем на большое собрание вынесли этот доклад? И все ждал, что назовет кто-нибудь этот выход и избавит Робейко от лишних страданий. Ведь Робейко нельзя говорить, звуки рвут его больное горло. А сказать нужно всего несколько слов, и у всех посветлеют лица...

Тихим голосом, боясь разбудить боль, что дремлет сейчас глубоко в гортани, начал он говорить... Люди страдальчески вытягивали шеи — ничего не было слышно; и Робейко решился: голос словно сделал прыжок — и все

услышали каждое слово, и благодарны стали лица у всех. Но каждое слово острым обломком стекла поднималось до самой гортани и рвало ее...

Он говорил, что Зиман рассказал собранию правду и за это не надо его упрекать. Правду создал не Зиман. Он сказал об угрозе, и за это спасибо ему. Но не нужно теряться. Нужно оглядеться кругом, выход найдем. Спокойно, хладнокровно оглядеться. Наша сила — в спокойном изучении и в решительном действии.

Выход есть, многие видят его, но не умеют о нем рассказать. Зацепка вся в топливе — ясно. Немного топлива для паровозов — и сейчас же можно везти из Нижне-Еланска дрова. А будут дрова, сумеем в неделю доставить семян для посева. Топливо — основа всего, нужно добыть несколько сотен кубов дров... Откуда добыть?

Ясно. В городе много садов. Нет слов, обидно вырубать сады. Что же, и эту утрату засчитаем за Антантой... А все же садов не хватит. Но за городом, верст за двенадцать, у монастыря, вон там, есть лес. Это — дрова, их ведь хватит вполне. Неделя — и топливо из Нижне-Еланска будет здесь, и начнем подвозить семена. Но нужно все делать решительно и скоро. Взять топоры и пилы. Встать впереди всех трудящихся. Принудить лодырей и буржуазию. Привлечь Красную Армию. Только не медлить: две недели — и семена будут здесь, месяц — и пашни будут засеяны... Придет время — поднимутся новые леса, новые сады...

Речь его прервалась сухим, отрывистым кашлем. Минуту-другую Робейко кашлял, и люди напряженно молчали и только вздыхали, то один, то другой...

А маленький город под облачным небом словно уснул тяжелым послеобеденным сном. В каждом доме цветет на окнах герань, и на листьях ее лежат цветы, похожие на синих и розовых мух. О, как много этих серо-деревянных коробок, — улица за улицей тянутся они, — как тесно и душно в каждой из них! В переднем углу тускло блестит икона, а на маленьких столиках, что накрыты нитяными скатертями, лежат бархатные альбомы. На кухнях грязно, по стенам бегут тараканы, и мухи уныло звенят на оконном стекле.

А жизнь людей, что живут в этих тесных домах, похожа на серый день сентября, когда мелкий дождь монотонно стучит по стеклу, а в окна сквозь стекла, покрытые каплями, виден серый забор и рыжий теленок, бредущий по грязи. Каждый день хозяйка дома рано утром доит корову и с корзинкой идет на базар, а потом на кухне после обеда моет жирную посуду.

Мужчины ходят на службу, чем-то торгуют, ремесленничают, каждый поодиночке, в темных клетушках.

Старухи по воскресеньям, туго заправив волосы под платки, в лиловых, черных и синих платьях бредут к церкви.

В этот час, когда скорбно летает над городом звон колокольный, зовущий к великопостной вечерне, идет прогуляться Рафаил Антонович Сенатор.

Живет он в двухэтажном каменном доме. В нижнем этаже там — аптека.

«Реквизировали аптеку... Сняли вывеску, черную, золотыми буквами ласково зазывавшую: «Христорождественская аптека — Р. А. Сенатор», и вместо нее с красной доски дерзко кричат черные буквы: «Здравотдел. Коммунальная аптека № 1».

Стоит Рафаил Антонович на песчаном пригорке, свою злобу и ненависть шлет он безмолвно в сторону цирка, где идет непонятно-враждебная жизнь. Маленький, толстенький, в сером пальто и в потасканной шляпе с двумя козырьками спереди и сзади (называют такие шляпы «здравствуйте-прощайте»), он долго стоит на пригорке. Из-под шляпы поблескивают злобные карие глазки, а когда он повертывается и медленно уходит во двор, то из-под заднего козырька виден кусок жирной красной шеи, а на ней много коротких седых и черных волос. Он помогает жене по хозяйству: с одышкой рубит дрова, выносит помои корове, а когда жена ее доит, он молча наблюдает, как белая струйка бежит из-под пальцев в молочно-смуглую пену... И мерный звук доения, мирное хрюкание свиней за перегородкой, душистый запах уютного полутемного хлева — все это успокаивает его, и он сообщает жене:

— Я у Ханжиных был, у них брат из Тулы приехал. Говорит, что «им» скоро конец, поляки хотят воевать и в Крыму нашелся один барон...

— Дай бог милосердный, — шепчет жена, и Рафаил Антонович ходит взад и вперед по двору, заложив руки за спину, и привычно подсчитывает количество бревен, оставшихся еще от постройки дома, — боится, как бы их не украли.

Но когда глубоко затаивший весеннюю радость серый, облачный день завершается алым закатом и солнце, растопив облака, последнее золото вечерних косых лучей дарит земле и уходит куда-то за дома, за леса и поля, за желтопесчаный пригорок и нависшие над закатом облака встревоженно радуются чему-то минутному, улетающему и провожают солнце трепетом поющих тонов, — в это время по лестнице темной, мимо ватерклозета и помойной лохани, скорее к себе, в свою комнату, бежит Рафаил Антонович и стонет от одышки.

Ведь в этот алый час заката из цирка вылетает «Интернационал» и мощью сотен голосов гордо несется над городом к вечернему солнцу, и сейчас вернется Робейко, что занял комнату в доме Рафаила Антоновича. Не любит Рафаил Антонович встречаться с Робейко и боится его.

А Робейко порой тоже порывался запеть, но кашель мешал, и он молча смотрел, как поют товарищи. Яркие коричнево-красные пятна горели на его щеках, и его худое лицо с небольшими серыми глазами, такого же цвета волосами и со складкой мужественной уверенности у рта тоже пело. В такт песне он ударял ногой и неслышно шептал грозные слова гимна.

А после собрания, выйдя почти последним из цирка на воздух, увидел он небо и молчаливо и грустно гаснущие облака на закате, четкие крыши и трубы и большие купы деревьев и хотел с наслаждением глубоко вздохнуть, потому что с весенних полей дул мощный, спокойный ветер и нес с собой запах талого снега, пробивающейся травы, проснувшейся земли и еще чего-то, что хочется вдыхать во всю ширь своих легких. Но кашель опять стал терзать его горло. В глазах потемнело, пропала куда-то радость ранней весны, и он почувствовал только, как ветер насмешливо и ласково поцеловал его горячее, вспотевшее лицо.

Потом припадок кашля кончился. Замотав шарф на шее, Робейко направился на собрание укома и видел, как над замирающим закатом зажглась вечерняя звезда,

и мысль о близкой смерти вдруг пришла ему в голову. А хотелось работать, радоваться солнцу и жизни.

Он усмехнулся этим неожиданным мыслям о жизни и смерти, о природе и весне, и они сменились быстрым потоком цифр, доказательств, возражений. Робейко шел быстро, ломая хрустальные льдинки на лужах.

Глава вторая

Под спокойным светом электрической лампы в кабинете, уставленном мебелью дубовой, началось заседание укома. Робейко сделал краткий доклад о плане заготовки дров. Но его слушали плохо, переговаривались, пересмеивались. После целого дня утомительной, нервной работы приятно был увидеть лица товарищей. И казалось порою Робейко, что слова его гаснут, как искры, упавшие в воду. Никто не поддержал его предложений, а Зиман потом доказывал долго, что несостоятелен весь проект, что распутица помешает подвезти дрова к железной дороге, что не хватит пил, топоров и подвод...

Потом возражал Караулов, военком бригады, старый казак, партизан. Смугложелтое лицо его, окаймленное жиденькой бородкой, было скучно и пренебрежительно. Клубы дыма пускал он из трубки и бормотал глухим голосом:

— Робейко собирается заготовлять дрова в монастырском лесу силой батальона войск ВЧК. А я батальон за двенадцать верст от города увести не позволю. За охрану города я отвечаю, а разве тебе не известно, Робейко, что беляки после разгрома разбежались по всему краю, на кулацких хуторах и атаманских заимках пережидали зиму? А теперь весна, самое беспокойное время. Без красноармейцев монастырского леса не вырубить. На мобилизованных буржуях да советских служащих далеко не уедете.

И Робейко цифрами из записной книжки отвечал Зиману и, повернувшись к Караулову, хрипел о том, что нет исхода иного, что раз революция требует... Стало быть, рисковать нужно.

— Рискнешь — возьмут белобандиты город, перебьют коммунистов, на несколько месяцев отрежут край от центра, — раздельно, негромко, но слышно для всех

говорнл Караулов, а потом, повышая голос, кричал сердито: — Да что ты, Робейко, блажишь? Ведь то, о чем я говорю, — это не шутки. Спросн вои у Климниа, ои, как предчека, обо всем этом зиает.

А Клнмнн молчал, мечтал о чем-то; глаза его были веселы и иежны. Услышав свою фамилню, вздрогнул, и мечты его рассеялись. С бессозиательным раздражением слушал ои Робейко, который снова взял слово. И Климин вполне соглашался со спокойнымн возражениями Зимана, с грозиыми предостереженнямн Караулова, н все, о чем говорил Робейко, казалось плодом его болезиенного возбуждеиня.

— Напрячь нужно волю, чтобы выйти нз тупика, иначе... полей не засеем!

И, закашлявшнсь, в темиоту окиа указал Робейко рукой. За пею Клнмнн последовал взглядом, глянул ночи в глаза. Просто н строго смотрела она в комнату. И Климни представил себе темную ширь этого раздольного края, покрытого тнхим пологом ночн. Поля, пробуждающиеся под побуревшнми сугробамн, поля, ожидающие сева; мужиков, что в погожне днн собнраются у завалниок н толкуют о погоде, об урожае, а потом вспомниают, что пусто в амбарах, что нету семяи, расходятся молча и ждут помощн, обещанной городом. И понял вдруг Климнн, почему так горит и трепещет Робейко, поиял: «нету другого нсхода», и сразу просиулся практнческий, четкий рассудок его, зорко охватил весь проект, мысленно Климнн представил себе весь путь его выполиення и звонкнм, сильным голосом поддержал он Робейко.

Робейко отдыхал, откинувшнсь в мягком кресле, н с улыбкой кивал головой, слушая Клнмнна, который сразу обрушил иа Зимаиа практнческие предлоясеиия, и когда голосовали, то только один Караулов «против» подиял свою большую, снльную руку с обезображеииыми от обмороза крнвымн пальцами.

Сейчас же после заседання укома собралнсь Климин, Робейко, Караулов и Зниан — комнссия, выбранная для проведення в жнзнь проекта заготовкн дров.

Завтра под руководством комиссии, волею партни, начнется работа!

Завтра в газете статья передовая каждому будет крнчать об опасности голода, о необходнмостн действия!

Завтра на митингах и собраниях военкомы и агитаторы расскажут о том, почему нужно всем идти рубить дрова!

Завтра Зиман со всех складов соберет пилы и топоры, а коммунальное хозяйство мобилизует подводы!

Завтра Робейко будет в профсовете проводить предложения о мобилизации членов союза, а на предприятиях общие собрания рабочих будут выносить горячие резолюции.. Завтра!

Сегодня в большом кабинете, где люстры, и диван, и портьеры, и кресла, и чернильный прибор на столе — все шепчет о прошлом, о неприступной, благоговейной тишине кабинета директора банка, директора, который раньше жил в этом доме, — сегодня в этой комнате всю ночь под ярким светом электричества сидят четыре человека, и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» черную и золотом сказано на алом сукне, что висит на стене.

Робейко в углу, за маленьким столиком, пишет передовую для завтрашнего номера газеты, и мешают ему то назойливое перешептывание Зимана, то глухие слова Караулова, то звонкий голос Климина, и, вычеркивая неудачное слово, он ловит другое и, поймав, торопливо бросает за буквою букву.

Над городом, над беспредельными белыми сугробами, над горами бесшумно проходит лунная синеглазая ночь. Вечер был встревоженно ветреный; быстро неслись облака между звездами и землей; яркий поясок алел на закате, отделяя темное небо от белой земли. Ветер качал вывеску; пела она скрипучую песню, и черная тень металась по тротуару. А потом ветер угнал облака и утих. Стало морозно. Улицы пусты, далеко видны из края в край; звонки шаги случайных прохожих, небо глубоко и звездно, как зимой.

Климин вышел на воздух, вздохнул полной грудью, и стало ему радостно, потому что услышал он аромат сонного дыхания весны, задремавшей на далекой поляне в лесу.

Куда идти? Ведь близок рассвет, он неслышно крадется из-за высоких домов, и ночь медленно бледнеет, точно кто-то освещает улицу далеким большим фонарем. Скоро утро, и нужно браться опять за работу. И бодрым шагом пошел он по пустым улицам в Чека, чтобы поспать до утра на диване в своем кабинете.

Хотелось есть и еще больше, чем есть, хотелось спать, но в голове продолжали звенеть голоса товарищей, и он продолжал видеть, как Зиман стоя вычерчивает на листе бумаги план города, пристально следит за его рукой Робейко, а Караулов с недоверчивой усмешкой постукивает тихонько по полу своей огромной ногой, обутой в желтый солдатский сапог...

Город в глубоком молчании, и даже не видно огней в этот поздний ночной час. Только двухэтажное здание Чека бросает свет на сугробы да зорки часовые на постах у подъездов. А внутри, в пустых комнатах, освещенных ровным и ярким электрическим светом, застыли стулья, столы и шкафы, и кажется: оцепенели они в чутком сне, от которого так легко пробудиться.

Дежурный по Чрезвычайной комиссии, следователь Горных, пишет, склонившись над столом. Лицо у него сумрачное, широкое, скуластое, глаза сидят глубоко, лоб закрывает мохнатая шапка волос. С первого взгляда кажется он пожилым, но если зайти сбоку, взглянуть на очертания рта, на мягкий овал лица, то видно, что он совсем еще молод.

Ему хочется спать, вытянуть ноги под стол, положить голову на ручку кресла и уснуть беззаботно и сладко. Но спать нельзя. Ведь над сонным городом, над раздольем спящего края, в котором так много лесов, оврагов и глухих, неизвестных дорог, один Горных не спит. Он—часовой на посту. Каждую минуту может позвонить телефон, могут позвать к прямому проводу... Спать нелья.

Горных не спал двое суток. Прошлую ночь была операция, ряд обысков, и, возвращаясь верхом по пустым улицам, вдыхал он морозный утренний воздух и мечтал о том, как разденется и ляжет в постель. Но в Чека его неожиданно задержали — пришлось дежурить вместо заболевшего товарища. Досадливо выругавшись, принял Горных дежурство. Несколько раз звонил телефон, с телеграфа приносили секретные шифрованные телеграммы. Но чем глубже в ночь, тем сильнее усталость; сливаются строки в глазах у Горных, он бросает писать... Мерный шум вентилятора, синева окна... Глаза закрываются сами, и сверху, с боков его обнимает мягкий туман голосов, шелесты, шумы... Шумит вентилятор. Но нет, это шум

высокой травы, что шуршит под ногами... Девушка в белом идет по траве, и трава шелестит и шумит. Ее лицо, когда-то виденное, когда-то знакомое. Еще в детстве он видел ее в степной деревушке, но как легки ее движения и как алы губы...

До слуха доносится стук открываемой двери. Он сразу очнулся, выругал себя за дремоту, и молодой сон бесследно скользнул куда-то и сразу забылся.

Стук в дверь? Телеграмма? Вызов?

Нет, это Климин; Горных узнал его походку. Поздоровались. Климин зажег потухшую на улице папиросу. И, пройдя за Климиным в кабинет, слушал Горных о трех собраниях, на которых присутствовал Климин, о докладе Зимана, о выступлении Робейко, о собрании парткома.

— А что возражал Караулов? — тревожно спросил он.

И, барахтаясь в сладком предутреннем сне, как муха в душистом варенье, повторил Климин рассказ и кончил его сонным зевком. Горных молча кивнул головой. Пошел к себе в комнату, постоял некоторое время, задумавшись, и потом, достав с полки толстую папку текущей работы, внимательно стал пересматривать знакомые страницы.

Два года прошло, как его, семнадцатилетнего юношу, взяла с родного завода революция, а партия послала работать в Чека. Он мог бить молотком по зубилу, не глядя на руку, держащую зубило, и не боясь ее искалечить, и эту уверенность и меткость удара принес он в Чека. Здесь на работе его ценили и уважали. Но он никогда не выступал на митингах и собраниях, и в городе его не знали.

Горных всегда был полон зоркой тревоги. И потому, когда Климин рассказал ему о возражениях Караулова, он, просмотрев всю папку последних сводок, одобрительно кивнул головой и сказал: «Прав Караулов!»

Незаметно, вкрадчиво, но с настойчивой силой рассвет овладел комнатой, и ненужным и жалким стал свет электрической лампочки.

Поднялось солнце. Не жаркое, но алое, бросало оно на пол комнаты яркожелтые блики. И, жадно затягиваясь папиросой, которая казалась ему недостаточно крепкой, Горных со злостью ругался, — от бессонной ночи болела голова, и уставшее тело просило отдыха. А трудовой день

в Чека уже начинался. Снова бойко застучали пишущие машинки, то из одной, то из другой комнаты поминутно слышатся звонки телефонов...

Над самым ухом Климина раздался звонок, и, с досадой отмахнувшись от Горных, Климин снял трубку. Издалека пришли неразборчивые, словно на шершавой бумаге написанные слова, но голос, хоть долго не слышанный, искаженный телефоном, но сразу узнанный, сразу знакомый...

И Горных заметил, как обрадовался Климин, и видно стало, что он молод, хотя на лице его серая кожа и много морщин под глазами.

— Здравствуй, здравствуй... Давно из Москвы? С вокзала? Лошадь прислать? Хорошо... сам приеду.

Он встал со стула и повесил трубку. На лице его смущение.

— Товарищ Горных, там Симкова из Москвы приехала и привезла литературу. Мне сейчас некогда. Потом договоримся.

Он бежал уже по лестнице во двор.

Лошадь взметала весеннюю грязь с мостовой; шумно и весело звучали голоса людей... И Климину впервые за долгие-долгие месяцы было весело и беззаботно, точно с души сняли пыльный чехол. Казалось, что за последние месяцы ни о чем, кроме работы, не думал, изо дня в день жил в ее непрерывающемся ритме и теперь только понял, что все время в самом далеком уголке его мозга присутствовала Анюта Симкова.

Тонкие золотистые волосы, небрежно собранные в комок, окружали ее голову и падали на глаза, на ее строгий и серьезный лоб с маленькой поперечной морщинкой. Часто встречались они по партийной работе, и знал он, что она заведует культпросветотделом политотдела, что до революции она была сельской учительницей и в партию вступила в тысяча девятьсот восемнадцатом году. От учительства осталась у нее манера говорить громко, раздельно, с убедительно-ласковыми, покровительственными интонациями, как со школьниками. И во время докладов ее бывало, что Климин переставал понимать слова, он

слушал только мягкие переливы ее голоса и любовался улыбкой, что жила на дне ее глаз, улыбкой, которой строгое выражение рта придавало особую прелесть. А порой ловил он себя на том, что следит за ее маленькой сильной рукой, так крепко отвечающей всегда на пожатие, за машинальными движениями ее длинных пальцев, в легких прикосновениях которых угадывалось столько скрытой нежности. Поймав себя на этих мыслях, он с досадой отбрасывал их.

Румяной, здоровой, высоко несущей золотоволосую голову знал он ее недолго. Тифозная эпидемия, охватившая город, уложила ее на шесть недель в госпиталь. И, поглощенный лихорадочной борьбой с заговорами, бандитизмом и тифом, Климин почти забыл о ней и, встретив после болезни, не узнал ее сначала. Она была бледная, точно обескровленная, поблекли щеки и губы, бритая голова казалась хрупкой. Глаза стали больше, прозрачнее, и на долгое время осталась в них усталость после тяжелой болезни.

Часто видел Климин, как она, положив свою голову, розовеющую сквозь коротко остриженные волосы, на руку, на несколько минут засыпала во время какого-нибудь доклада, а потом вздрагивала, и в глазах ее светилась усталая и виноватая улыбка. Иногда после собрания говорили они о политике, о жизни партии, о текущей работе и скоро перешли на товарищеское «ты», сближающее коммунистов огромной страны в одну дружную семью. Но не только любви, даже слов дружбы не было между ними, да и когда было задуматься о своих переживаниях, — лихорадочна была работа и не оставляла она свободного времени. Только перед отъездом Симковой, в момент торопливого прощания, Климин впервые поцеловал ее в строгие губы.

Она редко улыбалась, а ее тихий смех услышал он только сейчас, в кутерьме и сутолоке вокзала, помогая ей тащить тюки литературы. Совсем другой он увидел ее: она загорела, похудела, волосы отросли, движения стали как будто резче. Увидев его, она засмеялась тихо и весело. Торопливо отвечая на ее вопросы, рассказывал он о положении края, о плане заготовки дров... И когда по серебристо блестевшей от снега и грязи дороге возвращались они в город, то ловил себя Климин на том, что чего-то самого важного он еще ей не сказал.

А в толпе, что теснилась на узкой площадке вокзала, среди отпускных красноармейцев, с лицами обветренными и веселыми, рядом с крестьянами, растерявшимися в непривычной вокзальной суете, тоже встретились два человека, и, поздоровавшись, один сказал:

— Смотри — председатель Чека... Вон, с этой...

— А она?

— Партейная...

Так ответил толстый мужик с рыжей большой бородой, в длинном тулупе, с кнутом в руках и в рваной папахе, из-под которой на лоб текли капельки пота.

Собеседник в желтом полушубке, плотно обхватившем стройную, сильную фигуру и в черном красноармейском шлеме, с большой красной звездой. У него светлые, холодные глаза, дерзкие губы. На рукаве нашиты звезда и два кубика, но в походке, в осанке, в каждом повороте головы чувствуется царский офицер. Видно, что он только приехал: в руках у него вещевой мешок. Внимательно-враждебно разглядывает он Климина и Симкову, изучает и запечатлевает каждое их движение.

— Едем скорее. Квартиру нашел у одного тут... из буржуев. Помогает нам, деньги дает и два раза выручал меня — прятал. А документы как у вас?

— Из округа еду в распоряжение военкомата, как военспец... Фамилия моя — Репин Борис, в послужном списке — два года Красной Армии.

Они уже ехали по улице, и время от времени нагибался рыжий с облучка и говорил Репину:

— А мы и не ждали... Когда вас разгромили, так я думал — каюк, больше вас не увижу... А сил теперь воинских здесь мало. В деревнях, по заводам. Главное — семян нету в деревне. Поможет бог — дадим баню...

Глава третья

На улицах еще морозно так, как бывает ранним утром ранней весны; нежаркое красное солнце низко висит над горизонтом; в западных комнатах в темных углах бродят остатки ночной темноты, а секретарь политотдела уже пришел на службу и расписывается на листке, что лежит перед сонным дежурным: «Матусенко»... И каждая буква его росписи кругла, разборчива, закончена, и только к

последней прицепил Матусенко маленький хвостик, тонкий и робкий.

Раздевшись и повесив шинель, Матусенко расческой приводит в порядок свои волосы и отправляется в кабинет начальника. Там стоит большой стол, аккуратно покрытый розовой промокашкой. Матусенко заглядывает в чернильницу начальника: есть ли чернила? Пробует его начальническое перо — плохое перо... Матусенко меняет перо, внимательно еще раз пересматривает деловые бумаги, которые сам с вечера положил на стол начальника, и пытается разобрать мелкую скоропись Мартынова, замещающего начальника политотдела Головлева, который находится сейчас в Москве, в командировке.

Матусенко — маленького роста, брюки аккуратно проглажены, на пальцах рук — кольца; лицо широкое, румяное, и навсегда на нем застыла улыбка, похожая на тот хвостик, что приделывает Матусенко к своей фамилии, заискивающий и робкий. На чистенькой гимнастерке — эмалированный значок: коммунистическая красная звездочка. Сегодня воскресенье, и только к одиннадцати часам в политотдел приходят машинистки и младшие инструкторы, веселая, шумливая публика. Но Матусенко от них сторонится. Вернее, он просто не замечает их, не задумывается над их существованием, как не задумывается над существованием всего, что его не касается, всех тех людей, которых он считает ниже себя по должности, над красноармейцами и учителями, приходящими в политотдел...

Но зато Матусенко очень много размышляет о тех, кто выше его по служебному положению. Начальников он тоже оценивает различно: одни ему нравятся, другие — нет, одних он боится и не понимает, других не боится и понимает, но всякое начальство всегда в сфере его внимания, и он постоянно следит за ним своими маленькими глазками.

Головлева, начальника политотдела, шумного, грубого, скромно одетого, а порою небритого, Матусенко не любит. Однажды Матусенко хотел помочь Головлеву надеть пальто, но тот вырвался из липких объятий, оглянулся с насмешливым удивлением и сказал слова, в высшей степени обидные, неприятные и главное непонятные:

— Товарищ Матусенко! Зачем вы это?.. Вы ведь коммунист... Кто вас просит быть лакеем?

И хотя Матусенко не любит и боится Головлева, но Головлев — начальник, а это значит, что нужно подчиняться и с улыбкой выслушивать грубые замечания. Часто задумывается Матусенко над этим непонятным порядком, вследствие которого он, воспитанный, грамотный человек, как-никак военный чиновник царской армии, должен подчиняться неотесанному Головлеву.

Правда, республика называется рабоче-крестьянской, а Головлев — рабочий, но в глубине души Матусенко считает это название — Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика — равно как и ее лозунги, чем-то хотя и звучным, но ничего в себе не содержащим.

Приход Мартынова прерывает думы Матусенко, и на вежливое приветствие Мартынова отвечает Матусенко поклоном и сладкой улыбкой. Мартынов совсем не то, что Головлев: хотя одевается он тоже скромно, но есть в нем какая-то особая миловидность. Мартынов никогда не кричит и, когда нужно что-нибудь приказать, краснеет.

«Благородного воспитания, в гимназии учился», — с уважением думает Матусенко. А Мартынову всегда неловко, когда услужливый Матусенко получит для него паек и сам принесет на квартиру.

Много думает Мартынов о революции, о коммунизме, о смысле жизни своей и о человечестве, и не замечает он, что услужливый, покорный Матусенко давно уже изучил Мартынова и по-своему понял.

Вот Матусенко вкрадчивым голосом спрашивает Мартынова:

— Почему люди верят в бога? Что такое империализм? Когда будет мировая коммунистическая революция?

Мартынов оживляется и начинает отвечать на вопросы и думает про Матусенко: «А он любознательный парень... Только самолюбия и уверенности в нем мало». И не знает он, что Матусенко очень уверен в себе, знает свою дорогу в жизни, по-звериному чутко наблюдает все и совсем не слушает долгих объяснений Мартынова...

Для Мартынова быстрой вереницей дни проходили за днями, и незаметно прошла долгая зима.

Осенью, на пороге зимы, казалось, не пережить ее, а вот она прошла, и он с радостью почувствовал сегодня,

что весна вдруг, словно старшая сестра, погладила доброй рукой и поцеловала.

Как и всегда, сегодня в политотдел приходят политработники, и военком батальона ВЧК Данилов, молодой парень, в красных штанах и франтовском френче, по обыкновению подозрительно привязывается к каждой мелочи, во всем видит бюрократизм политотдела и добродушно, но насмешливо говорит на прощанье:

— Ладно, товарищ Мартынов. Вы приказываете — наше дело выполнить.

Мелькает перед глазами услужливый Матусенко; приносит он бумаги для подписи... Но все это, всегда интересное, даже в мелочах освещенное революцией, сегодня скучно. И Мартынов выбегал на каменное крыльцо, с которого уже стаял снег, и щурился с блаженством на солнце.

После обеда в шумной политотдельской столовой не было ни лекций, ни собраний. По грязной и веселой улице медленно шел Мартынов к себе на квартиру, не заметил, как промочил ноги, и своим медленным шагом мешал он мальчишкам играть в бабки на просыхающих тротуарах.

С детства знакомые дома, надоевшие вывески и серые заборы родного города будили воспоминания о прошлой жизни, о семье, бежавшей в Сибирь, о товарищах по гимназии, которые в большинстве стали белогвардейцами, о судьбе, приведшей его, барчонка, в ряды коммунистической партии, великому делу которой он предан так горячо, — и все же точно стеклянной стеной отделяет он сам себя от других коммунистов. Это делает его одиноким и заставляет страдать.

И он думал о той, что живет здесь же, в городе, у старой церкви, о любимой и бесконечно далекой.

Последний раз видел ее на улице зимой. Из белой мерцающей завесы падающего снега возникла внезапно ее тоненькая фигура, вот близко, близко ее лицо, снежинки в волосах, черные глаза с лукаво-длинным разрезом.

Увидела его — загорелась в глазах радость, потом подернулись они грустью. Прошла она мимо, и при воспоминании о ней шептал он нежные слова, и не услышанные ею падали эти слова, как в темную воду глубокого колодца.

Так целый год прожили они в одном городе, разделенные немногими кварталами. И каждый раз, вернувшись к себе на квартиру, глядел он в окно. Старался рассмотреть дом, там, на горе, возле старой церкви, где живет она, и воображал уютную комнату ее, увешанную гравюрами, а в углу, в старом киоте, темные и хмурые образа...

Мартынов не заметил, как пришел на квартиру, скинул шинель и, точно проснувшись, оглянулся кругом.

Кровать, книги и хлебные крошки на голом столе. Пусто и неряшливо, точно здесь никто не живет... «уйти куда-нибудь? Но куда и к кому?»

За всю зиму один только раз Мартынов был в гостях у Матусенко, который почти насильно затащил его к себе. Мазал Мартынов белый домашний хлеб сливочным маслом, с удовольствием пил душистый сладкий чай со сливками, так вкусно давно уже не ел Мартынов и удивлялся простодушно: «Откуда все это у вас, товарищ Матусенко?»

А круглолицый, ласковый хозяин улыбался, щуря свои крохотные глазки, и почтительно, но все же с некоторым оттенком хозяйского самодовольства, угощал:

— Медку, товарищ Мартынов, пожалуйте. Жена у меня в продмаге служит... так вот ей паек выдают очень богатый. А вот молочка берите, от собственной коровки. Семейному человеку можно все завести! Правда ведь, товарищ Мартынов? Да вы что ничего не берете? Груша, угощай начальника, — говорил он жене.

Мартынов встречался взглядом с женой Матусенко, полногрудой, румяной блондинкой, видел огоньки в зеленой глубине ее зрачков. Открывала улыбка белые зубы и, пододвигая белые сдобные булочки, сверху намазанные сахарином, говорила жена Матусенко:

— Кушайте, пожалуйста.

А Матусенко тонким своим голосом продолжал вкрадчиво говорить приторно-сладкие, словно булочки, намазанные сахарином, аккуратные слова.

Оглядывал Мартынов комнату Матусенко, тяжелые шторы на окнах, круглые столики, китайскую ширму, диван и ковер и вспоминал прошлое, такое недавнее: сытая жизнь в уютных комнатах отцовского дома, который занят сейчас детским приютом.

И понял сейчас Мартынов, что идти ему некуда, что даже в политотделе он никого не застанет, что там теперь

только пустые столы и голоногие уборщицы моют пыльный линолеум. Лег Мартынов на твердую свою постель, уткнул лицо в подушку, чтобы не видеть неряшливой своей комнаты.

Он опять вспоминал свою прошлую жизнь: не те последние годы, когда после революции политические убеждения по разным дорогам развели его с семьей, а давнишнее детство, игры в прятки в теплых комнатах, ласку матери, елку.

И он достал из-под подушки синюю вязаную фуфайку—единственное, что у него осталось от дома, фуфайку, в которой, позвякивая коньками, бегал на каток, — ведь там, на катке, он познакомился с Надей...

Накинув шинель, Мартынов вышел на улицу.

Совсем стемнело; показались немногие звезды, и хоть было свежо, но на эту ночь весна осталась в городе: открытые лужи, не затянутые льдом, поблескивали живой рябью; в темных канавах журчали ручьи.

Мартынов шел быстро и не думал теперь ни о чем, но слушал сразу все: и журчанье ручьев, и капание воды с крыши, и шелест голых сучьев, и гудки паровозов со станции. Все эти звуки теперь покрывались одним низким и рокочущим гулом: ревела сирена электрической станции. Но Мартынов продолжал беспечно наслаждаться этой живой музыкой. На улице пусто и безлюдно, спокойны маленькие домики, и только у красноармейского клуба навстречу Мартынову попался человек в накинутой наспех шинели. Сошелся вплотную с Мартыновым, пристально взглянул в его лицо... Узнали друг друга — встречались на партийных собраниях.

— Кажись, тревожный гудок? — услышал Мартынов вопрос.

— Тревожный? Почему? — удивился Мартынов. Но, спрашивая, уже понял значение близкого и громкого рева, раздававшегося с электрической станции. Казалось, кто-то кричал, грозил, звал на помощь...

— Слышите? — сказал человек в шинели. — Вот замолчал... Опять гудок! Тревога! Идемте скорее в комроту.

И сразу исчез тихий уют весеннего вечера, все стало таинственным и темно-враждебным. Может быть, здесь, среди молчаливых домов, затаились враги...

— Ведь сегодня военное положение объявлено, — вспомнил он вслух.

А сирена попрежнему ревела над городом; со станции ей вторил хор паровозов и свисток в депо, и этот повелительный призыв катился далеко за город, по снежным безмолвным полям, по тихим деревням и селам.

Люди со всех концов города быстро собирались в комроту. Они шагали по широким, пустынно-враждебным улицам, пробирались по злобным косым переулкам... Мартынов тоже вошел на широкий, освещенный фонарем двор при комроте. Торопливо, кучка за кучкой, один за другим вливались туда коммунисты, быстро строились во взводы и отделения.

И Мартынов тоже встал в ряды, поровнялся направо, и в боевой строй поровнялась его встревоженная душа.

Стоял он с левого фланга, около ворот. И фонарь бросал отсветы на лица людей.

У одних — растерянно-напряженные лица, другие спокойно-озабоченны, третьи взволнованны, у четвертых огонь мужества ровно горит на лицах, как костер в безветренную летнюю ночь. Входят женщины и девушки. Вон та не успела согнать с лица кокетливо-лукавой усмешки, эта, позабыв о себе, озабоченно ищет кого-то глазами, слышен смех, принужденно ровный и громкий.

А вот один, совсем еще мальчик, — румяный, безусый, из-под кожаной куртки поднялась здоровая голая шея, — с беззаботной улыбкой весело крикнул, увидев товарища:

— Митька! Бандитов бить, что ли? — И затерялся в темной шеренге.

— Курите, товарищ? — спросил кто-то Мартынова, и рядом с собой он увидел спокойное лицо, чуть изъеденное рябью давнишней оспы: из продкома, Стальмахов.

А тот уже жмет руку и говорит:

— Здорово, товарищ Мартынов, я вас не узнал.

И сразу Мартынов точно серым покрывалом закрыл беспокойные мысли, тревогу — все, что трепетало в душе. Он спокойно вступил в разговор:

— Не курю я, товарищ... А отчего тревога, не знаете?

И не успел Стальмахов ответить, как в разговор вмешался другой сосед Мартынова, толстый, в штатском пальто, затянутом поверх ремнем:

— Это бандиты. Мне по секрету рассказали... Бандиты с пулеметами... — торопливо зашептал он.

— Нет, товарищ, это не бандиты. Не нужно болтать зря... — сказал Стальмахов.

— Думаю, что никого не напугал, — ответил толстый. — Бандиты — эка невидаль!

— Да вы-то, может, и не боитесь, — говорил Стальмахов, и спокойная насмешка еле слышна была в его голосе, — только все-таки зачем трепаться? А если боишься, так лучше уж молчать.

И он отвернулся.

Каждый слушает, смотрит: вдоль рядов идут трое: Климин, Караулов, Робейко. И отчетливо, звонко раздается голос Климина:

— Товарищи коммунисты! Говорить долго не о чем. Все вы сегодня читали в газете и слышали вчера на собрании: перед нами задача — привезти семена для посева. Чтобы привезти семена, нужно топливо. Чтобы добыть топливо, нужны руки. Руки лодырей и паразитов, бездействующие сейчас, должны вы собрать со всего города. Нужно произвести обыски — облаву на всех, кто без ущерба для жизни города может быть взят и использован для заготовки дров. А кстати очистим город от контрреволюционного элемента. Товарищ Караулов назначен руководителем всей облавы, он вас разобьет по районам и даст инструкции. Работайте дружно, будьте осторожны и бдительны!

Отрывистыми фразами, словно командуя, стал говорить Караулов. Но Мартынов не слушал его. Буднично обыкновенными казались ему теперь большой двор комроты и знакомые лица собравшихся. Значит, впереди не подвиг, не смерть и страдание, а просто бессонная ночь... Но все существо его, освобожденное от ожидания страданий и смерти, незаметно и бессловесно радовалось...

Мартынов попал в тройку, предназначенную для обхода квартир. С ним вместе был его толстый сосед и Стальмахов.

Стальмахов сходил в комроту и получил район для обхода. И, когда они втроем шли по пустой улице, Мартынов спросил у Стальмахова:

— А где наш район, далеко?

— Нет, не очень, четыре квартала еще... Знаете, от Христорождественской церкви до почты.

— До почты?

И сразу понял Мартынов, что сегодня он будет в том доме, где раньше жила, да и теперь живет Надя Ростовцева, первая любовь, которой можно изменить, но которую забыть нельзя никогда. Почему же иначе из толпы веселых подростков, с которыми вырос вместе, он выбрал ее? Ведь тогда казалась она некрасивой: смуглое скуластое лицо, слегка приплюснутый нос. И только алые губы да черные глаза с длинным разрезом делали ее странно привлекательной.

А потом превратилась она в очаровательную девушку, свою улыбку сохранившую только для него, чарующую умной и ласковой прелестью лица, сдержанной и строгой грацией движений... И тогда он понял, что иного голоса, иных губ ему не нужно.

Не любил их семьи — чванящегося своим дворянством отца-полковника, подражающих ему сыновей, молодых франтоватых офицеров, — и все же проводил у нее вечера, слушал ее неторопливые, умные слова, читал ей свои первые стихи, для нее написанные.

Как это было недавно и каким это кажется невозвратно далеким! И если бы было бессмертие, то душа умершего, наверное, вспомнила бы так о своей прошлой жизни!

Революция все сильнее захватывала его, а Надя стала религиозна, зачитывалась «Апокалипсисом», ждала конца мира, и все более чужды и непонятны становились они друг другу.

Гражданская война разлучила их надолго. А потом, когда уже коммунистом, с победившей Красной Армией, он вернулся в город и узнал, что расстрелян ее брат-контрреволюционер, он не решался к ним зайти и, только встречаясь на улице, кланялся ей. А она стала еще привлекательней, но была всегда грустна и сдержанно кивала в ответ ему головой. И после каждой встречи след надолго оставался в его душе... Так целый год прожили они в одном городе, разделенные немногими кварталами, так близко и так далеко...

Товарищи шли молча, быстро, каждый был погружен в свои думы... Вот забор их сада, оттуда перекинулись и низко опустились ветви сирени и акации.

— Что ж, начнем с углового? — нарушил молчание Стальмахов.

С углового? Да вот он, красный кирпичный дом. В це-

ли закрытых ставней брызжут тоненькие лучи — все, как тогда.

— Нет, товарищ Стальмахов, я в этот дом не войду. Прошу вас, сходите сами. — И, схватив за рукав холодно недоумевающего Стальмахова, он зашептал ему: — Вы войдите... Здесь знакомые мои живут... Неудобно мне... Извините, конечно.

— Да ладно уж. Я и забыл, что вы... из здешних, — пробурчал Стальмахов, внимательно и насмешливо посмотрев на Мартынова.

— Пойдемте, товарищ, — сказал Стальмахов третьему, и они стали громко стучать в калитку.

Рой мыслей пронесся в голове у Мартынова, и когда заскрипела калитка и испуганный голос спрашивал: «Что нужно? зачем?», Мартынов, задыхаясь от сердцебиения, с отчаянием человека, решившегося на самоубийство, все же вошел в большой двор, и Стальмахов оглянулся на него.

Через темный коридор вошли они в знакомую Мартынову столовую: там, под светлым кругом абажура, пили чай. Все так знакомо было Мартынову в этой столовой!

Вот сам полковник Ростовцев, маленький, сухой старичок в потасканном мундире. Новым сукном зеленеют те места на плечах, где когда-то нашиты были погоны. Он торопится дрожащими руками достать удостоверение — служит в военкомате...

Вот жена его, красивая, высокая дама с бледным лицом и такими же, как у Нади, глазами; когда-то она так благоволила к Мартынову... Не поднимая глаз, продолжает она перетирать стаканы.

А там, в самом углу, Надя... Так давно не видел он ее в простом домашнем платье! Вот она встала со стула. Она взволнована и рассержена, — ведь Мартынов знает каждую черточку этого лица, навсегда дорогого.

Она из-за лампы старается рассмотреть вошедших, всматривается в него. Узнала, побледнела...

Он кланяется ей... «Зачем?» — что-то спрашивает из глубины его души, но он уже поклонился.

А кто это рядом с ней, молодой, высокий, с дерзким взглядом? Стальмахов внимательно рассматривает его документы. Может быть, это жених?

— Что же, Владимир Сергеевич, разве вы никого не узнаете? — раздается надменный, слегка пришепетываю-

щий голос ее матери. — Смотри, Андрюша, ведь это Владимир Сергеевич! — обращается она к мужу.

Насмешку чувствует Мартынов в этих словах. Смесь негодования и страха на лице у Ростовцева. Удивлены и насмешливы товарищи...

Но он жмет сухую, горячую руку старика Ростовцева, брезгливые пальцы Ростовцевой и на вопрос ее отвечает, что от родных из Сибири нет никаких вестей, и уже Наде протягивает он руку, поднимает глаза, встречает ее горячий взгляд... На лице ее мимолетную улыбку быстро сменяет гримаса плача. Надя отворачивается и убегает из комнаты.

А Мартынов слышит над своим ухом настойчивый голос Стальмахова:

— Кончайте скорей, мы уходим уже...

И уже за дверью сбивчиво объясняет Мартынов, что это его давнишние знакомые... Очень реакционная семья...

— Да, я знаю, — перебивает Стальмахов, — прошлой весной у них сына расстреляли — поручика Ростовцева. Подозрительная публика. Вот и теперь военспец какой-то у них сидел, Репин фамилия. Но бумаги в порядке, есть отметка коменданта города. А у вас родственники с Колчаком бежали?

И Мартынов объясняет смущенно... Ведь он из буржуазной семьи. Семья его теперь в Харбине, но он, конечно, порвал с ней всякую связь.

Стальмахов молчит и курит. Они входят в следующий дом, и их снова встречает испуганный вопрос: «Что нужно?». И, машинально проверяя засаленные документы, думает Мартынов о том, что все уже кончено с Надей. Но испытание свое он вынес! За что же его презирает Стальмахов?

А в квартире Ростовцевых все попрежнему сидят за чайным столом, нет только Нади, и Репин, передавая хозяйке пустой стакан, спрашивает:

— Этот коммунист, который здесь был, он ваш знакомый?

— Да, — ответила она, — из хорошей семьи, окончил гимназию, часто бывал у нас раньше, но теперь, конечно...

— Самонадеянным и дерзким мальчишкой был он всегда, — резко обрывает Ростовцев. — И понятно — свя-

зался с большевиками. И ведь хватило нахальства явиться... Да он как будто неравнодушен был к Наде... То-то она убежала. Надежда! — зовет он начальственно.

— Андрюша! — с упреком говорит Ростовцева. — Не тронь ее сейчас.

Перед сном Надя жарче, чем всегда, молилась за Володю, — не за того Володю, письма которого и сейчас еще лежат у нее в шкатулке, не за того безвозвратно исчезнувшего юношу с синими глазами, здоровым румянцем и веселым, громким смехом, а за теперешнего, какого-то нового, похудевшего, большеглазого, такого, каким она запомнила его, встретив белоснежным зимним днем у входа в одно из советских учреждений и заметила тогда, что у него разорвана обувь и подошвы подвязаны к ботинкам новыми бечевочками.

Вспоминала и плакала. Оттого плакала, что любила его и не понимала странной силы, которая, заколдовав, увела его от нее. Плакала оттого, что хотелось его любви и настоящей, молодой, радостной жизни. Но не могла она вступить на тот непонятный путь, по которому он ушел, и с отчаянием просила она бога сохранить ему жизнь.

А в спящем городе шла воодушевленная работа нескольких сотен коммунистов. Пикеты стояли посреди пустых улиц, стук подков раздавался по городу: руководители облавы объезжали районы, и повсюду то и дело выводили из ворот испуганных и заспанных мужчин, передавали их пикетам, а те препровождали в центральный штаб облавы, где регистрировал, допрашивал, выяснял личность молчаливый Горных, который не спал уже третьи сутки.

Всходило молодое, веселое солнце, когда Мартынов, усталый, шел к себе на квартиру. Болела голова. В утомленных глазах его мелькал калейдоскоп посещенных за ночь комнат.

Глава четвертая

В доме Р. А. Сенатора, в длинной и узкой комнате, похожей своей формой на спичечную коробку, живет Лиза Грачева, красноармейская учительница. В комнате мебели нет, только кровать (доски, покрытые одеялом) да еще стоит большая туя — странное растение, похожее

на сказочную елку. Эту комнату не топят. Когда Лиза утром просыпается, она никогда не знает, который час: сквозь единственное замерзшее окно свет проникает очень тускло. Туя от мороза вянет, мадам Сенатор пробовала и ее вытащить из комнаты, но ящик, в котором посажено деревцо, застревает в дверях, и туя — оставлена Лизе...

Обычно Лиза дома не пьет чай: горячую воду с черным хлебом можно получить в красноармейской казарме. Но красноармейцы ушли из города рубить дрова, и Лизе нужно сейчас идти на субботник. А на кухне хозяева ставят самовар... Там гремит труба, там шипит на сковородке масло, кухонные ароматы заливают Лизину комнату. И Лизе захотелось свою утреннюю порцию черного хлеба запить горячим... Нужно попросить немного воды, маленький чайник. Но как попросить? Ведь всю свою ненависть к непонятной силе, к красным флагам, плакатам и новым названиям учреждений, всю свою злобу, которую нужно за вежливыми словами таить от беспощадного и презрительного Робейко, занявшего комнату в их доме, господа Сенатор могут высказать только Лизе, беззащитной и жалкой, возбуждающей презрение своей нищетой...

— Богу все молится, а тоже... Учит этих самых красноармейцев, а чему учит? Грабежу?

И мадам Сенатор поддакивает мужу, — так беседуют они на кухне. И когда Лиза неслышно открыла дверь и, показав веснушчатое, робкое лицо, просит: «Кипяточку немного нельзя ли?» — и чайник маленький дрожит у нее в руке, разом взвизгивают в ответ господа Сенатор:

— И вы просите у буржуев? Зачем просить? Грабьте нас... Грабьте!

Плача от обиды, Лиза торопливо сбегает по лестнице вниз: скорее на улицу, туда, к далеким звукам оркестра, и уже не думает о Сенаторах, не разбирая луж, бежит, боится опоздать на субботник и радуется, увидав из-за угла черную, шумливую толпу работников политотдела. Ей улыбнулась Симкова, покровительственно пожал руку Матусенко... Значит, правда: пойдя на субботник, она сделала какой-то решительный шаг в своей жизни.

Роста она маленького, худенькая, всегда грустная и молчаливая, а если веснушчатое лицо иногда и озарится

улыбкой, точно солнечным лучом, пробежавшим по траве, то на минуту только. Она преподает красноармейцам арифметику, и звонкий ее голосок, когда-то украшавший хор гимназии, звучит теперь каждый день из-за больших зеркальных стекол магазина на главной улице. Там находится ее школа.

Всего на свете боится она. Родители умерли рано, выросла у богатых, где попрекали хлебом. Боязнь стала привычкой: она перехватывала Лизе горло при разговоре с людьми, и она же каждый вечер бросала ее на колени — молиться неведомому, тоже страшному, но всевидящему, всепрощающему, доброму...

Красноармейцев она вначале тоже боялась, на уроках краснела перед ними, молчаливыми и внимательными, но будто затаившими что-то, и каждый раз ждала с их стороны какой-то выходки. Голос ее дрожал и прерывался, она боялась спрашивать своих учеников и с тоскливым нетерпением ждала конца урока.

Но однажды, когда она замерзающими на февральском ветре руками тащила домой свой паек, к ней подошли два красноармейца, — это были ее ученики. Она, как всегда, испугалась, покраснела. Но один из них, голубоглазый великан, приветливо предложил ей помочь. Она растерялась почти до слез, и он, тоже смутившись и не дождавшись ее позволения, легко взметнул на плечо ее ношу.

С тех пор она начала разглядывать каждого из своих учеников, и преподавать стало ей легче и уроки ее стали понятнее.

Она посещала теперь общие собрания красноармейской части и, хотя многого не понимала, внимательно слушала доклады и речи.

Раньше боялась она революции, всего этого огромного, сильного, переливающегося яркими красками любви и ненависти. Постепенно эта боязнь прошла. Она выдумала свою революцию и свой коммунизм. Христос, которому она молилась раньше как небесному царю, приобрел для нее новое значение: он спустился на землю и стал покровителем коммунистов — людей, борющихся за счастье человечества.

Она преисполнилась благоговейного почтения к ним. Но, стараясь чаще бывать в их обществе, она попрежнему не понимала их. Особенно смущал ее Данилов,

военком того батальона, в школе которого она занималась. Это был человек, прославленный геройством: шахтер, партизан, простреленный и порубанный. Какая-то особая крылатая сила была в его голосе, когда он митинговал или делал доклад красноармейцам, и Лиза в его словах всегда необыкновенно близким ощущала то, о чем он говорил: коммунизм, мировую революцию. Но одет он был всегда с яркой франтоватой воинственностью: синяя приплюснутая фуражка, зеленая гимнастерка, красные галифе, хромовые, зеркально начищенные сапоги... Со своими красноармейцами говорил он просто и задушевно. Но стоило ему увидеть Лизу, и нахальство записного волокиты появлялось на его красивом и сильном лице и его хриповатый голос начинал источать приторно-медовые слова.

Едва Лиза встала в ряды, как нестройно пошли. Смеясь и разговаривая, вышли на главную улицу, — и вот ячейка политотдела вплела свое алое знамя в шествие знамен. Вон рабочие депо несут свое, от тысяча девятьсот семнадцатого года сохранившееся знамя: «Мир хижинам, война дворцам!» Идут печатники — серые лица, сгорбленные спины... А там вон Союз коммунистической молодежи — шумная кучка подростков под огромным знаменем, на котором рабочий ударяет по наковальне неправдоподобным большим молотом...

Где-то впереди весело и недружно запели «Интернационал». Сзади на высоких, пронзительных голосах работницы коммунальной столовой подняли «Варшавянку».

А солнце то покажется, то скроется, и пилы и топоры в руках людей то засверкают, то погаснут... Все ближе городской сад, по-весеннему прозрачный; встревоженные грачи кричат с высоких деревьев...

Эту беспорядочную, прекрасную в своем разнообразии, безлистую массу деревьев предстояло превратить в стройные поленницы дров.

Когда-то вон там, в задних тенистых аллеях, Мартынов июльскими вечерами гулял с Надей. Поискал и глазами нашел дерево, на коре которого еще гимназистом шестого класса ножиком вырезал ее инициалы. Теперь он срубит это дерево и превратит его в дрова. Что же, так надо!

Звенели пилы, и деревья содрогались. Когда их под-

рубалн, они тяжело падали, ломая ветвн свон н соседей; их тела распиливали и легко, смаху раскалывали круглые чурбаны. Пеиьки покрыты были душистой слезой; умирая, дерево благоухало, н горький запах осииы сливался со свежим и сладким ароматом березового сока...

— Закуривай! — раздался громкий голос Стальмахова. — За полдеиь перевалило.

Одна тройка за другой коичали работу, н сад иаполнился смехом и шутками.

Мартыиов, утирая пот со лба, оглянулся кругом. Сквозиая завеса весеинего сада упала. Горячее солице искрилось иа сугробах, тень деревьев уже ие сохраияла их. Где-то в чериой куче дворов н домов заливались петухи, и волиы их гомоиа неясно плескались на другом, далеком коице города.

И, оглядев весь сад, запечатлев в своем мозгу белеющие срезом полеиницы и оживленные кучки товарищей, опять, как утром, почувствовал себя Мартыиов участником огромной борьбы и работы, иашел себя «в ритме великой симфоиии», как иазывал он субботиик.

Стальмахов с сажеиью в руках, которую он сам вырубил из стройиой, молодой березкн, ходнт от полеииицы к полеииице н на бумажке запнсывает проделанную работу.

— Стальмахов, иди сюда, погляди: мы куб сложили. Мартыиов говорит — нет, а я говорю — есть. — Симкова за рукав тащила Стальмахова в ту староиу, где кучка работииц быстро складывала длииную, узенькую поленницу.

Симкова раскрасиелась от работы, нз-под сбившегося иабок платка на лицо ее упали короткие кудрявые прядн волос. Трудио в ней было узиать обычно сдержаииую и строгую Симкову, члеиа укома и иачальиика культпросвета политотдела.

— Куба нет, — сказал Стальмахов, произведя расчет, — две с половиной сажеии... Все равно молодцы! В общей сложиости девятнадцать кубов заготовили... — он опустился на пеиек и вытащил из кармана баночку с махоркой н тонкую папнросную бумагу.

— Кури, Симкова, — предложил он, — да расскажи-ка, что ты в Москве хорошего видела.

— Опять... — Симкова рассмеялась. — Я сегодня раз пять уже рассказывала. В субботу на партийном собрании буду доклад делать.

— Ну, все-таки расскажи... Впечатления твои...

— Впечатление... — Пальцы ее мяли папиросную бумагу и осторожно сыпали в нее махорку; тонко провела языком по бумажке, склеила папироску. — Мне здесь у нас больше нравится: ведь мы, в провинциальных городах, живем на фронте. Фронт борьбы проходит у нас.

И она, оглядев внимательные лица товарищей, перевела взгляд в далекие весенние поля, видные из-за ограды сада.

Лиза слушала, не пропуская ни одного слова. Ее взволновала страстная серьезность в голосе Симковой, хотя многого она не понимала. Почему здесь, в этом мирном, тихом городе, фронт?

Задумавшись, Лиза нечаянно уронила полено, и Матусенко сердито шикнул на нее.

Он приложил ладонь к уху. Звезда на шинели, пуговицы — все блестело. Не знал Матусенко, к чему субботник, зачем умные, просвещенные люди, вроде Симковой и Мартынова, добровольно занимаются черной работой, зачем и ему, Матусенко, тоже приходится (иначе нельзя!) ходить на субботники, но работал все время честно, пришел аккуратно к девяти часам. Он весь превратился во внимание. Разговор, который вели Симкова и Стальмахов, волновал и его. Он чувствовал, что это имело отношение к тому тревожному, что происходило в городе...

— Вон Климин идет, а за ним Зиман, — сказал Стальмахов.

— Ну, организатор городского района, как дела? — издали крикнул Климин.

Стальмахов взял на караул своей саженью:

— Девятнадцать кубов поставили, ваше превосходительство. А как в других районах?

Климин улыбнулся, и, как всегда, когда он улыбался, его лицо помолодело на несколько лет.

— Красноармейцы в монастырском саду за сегодня поставили тридцать четыре куба. Молодцы! Виноват, забыл похвалить: ведь с ними наша плененная буржуазия работает. — Он рассмеялся. — Да и субботник поможет

сильно. Если так пойдет, через три дня пустим эшелоны.

И у него дрогнул голос. Победа давалась так легко, что не верилось в близость ее.

— Даже хладнокровный Зиман сегодня в повышенном настроении, — сказала Симкова, засмеявшись.

Зиман стоял на пеньке, протирал пенсне и скрипучим голоском своим рассказывал окружавшим его товарищам, что хозяйственные перспективы края блестящи.

— Вы это сами увидите — не сейчас, лет через десять, конечно, — добавил он. — Ведь у нас здесь залежи торфа. И когда я хлопочу теперь из-за нескольких десятков кубов дров, которые, к тому же не знаю, будут ли гореть, так как они сырые... да, да, Климин, сырые... я все время помню, что здесь, под землей, дремлет такое количество тепловой энергии... Всего пять верст от города, разведка уже сделана... Только бы собрать в этом году урожай — и начнем торфяные разработки. Экскаваторы у нас уже есть, я их раздобыл в Нижне-Еланске. Мы их отремонтируем, мы будем ставить электростанцию, — с хитро-таинственным видом обращался он в сторону Лизы Грачевой, своими без пенсне слепыми глазами видя не ее, а только белое пятно ее лица и синее платье.

Субботник окончился. Опять построились в ряды, опять шли по улице и пели. У Лизы Грачевой промокли ботинки, но она все-таки шла в рядах, а не по сухому тротуару, и тоже пела: «Смело, товарищи, в ногу...» Рядом с ней, взяв ее крепко под руку, шла Симкова. Лиза раньше знала Симкову только как свое начальство, раза два робко «по делу» заходила она к ней в кабинет, и за широким письменным столом казалась Симкова неприступной и строгой. А теперь Лиза видела рядом с собой однолетку-девушку с выбившимися из-под платка русыми кудрявыми волосами, с алым и свежим румянцем на щеках.

И Лиза долго рассказывала о своих заботах, о школе, об учениках...

Лиза через площадь возвращалась домой. Издали увидела она, как из большого дома Р. А. Сенатора, высящегося среди серенькой кучи домишек, вышел военный с большой красной звездой на шлеме, и сразу узнала Репина.

Познакомилась с ним в первый день его появления в доме Сенатора. Сенатор ругал при Лизе советскую власть. Лиза, готовая заплакать, растерявшая все слова, стояла, красная и смущенная, как вдруг дверь открылась и в сопровождении большого рыжего мужика явился Репин. Засуетился Сенатор.

— Комната для вас, товарищ Репин, готова, — говорил он угодливо. — Желаете сейчас пройти?

Но Репин решил вмешаться в разговор, последние слова которого он застал.

— Советская власть хочет всему народу добра? — опять кричал Сенатор. — Но разве я не народ, разве он не народ? — и пальцем указал Сенатор в сторону рыжего, который одобрительно мычал. — Какое ж они нам добро сделали? Ободрали, как липку...

Репин в ответ говорил очень долго и скучно о том, что коммунисты все-таки... «за идею». И он поглядывал при этом на Лизу, как бы говоря: «Ведь мы с вами единомышленники!» Он красивый и, кажется, добрый. Вот и сейчас он крепко жмет Лизину руку, а в его густом, сильном голосе переливается ласка.

— Здравствуйте, товарищ Грачева... Я хотел вас спросить, как пройти в городской сад.

— В городской сад? Я только что оттуда, — там ведь субботник был... по заготовке дров.

— Вы разве партийная?

— Нет, но на субботник можно ходить и беспартийным. Нужно ведь помогать коммунистам, правда?

— Конечно, конечно... Я бы тоже пошел, если бы заранее знал об этом... субботнике. Ну, и много вы нарубили?

— Да, много, очень много... Я забыла, сколько кубов. Даже самые ответственные товарищи работали, и я пилила вместе с товарищем Матусенко. И Климин был, председатель Чека.

Глава пятая

С утра подул морозный ветер, но небо осталось голубым, а цвета всех предметов яркими. Порой в высоте проплывали бело-синие облака, ветер быстро проносил их по небу: они закрывали солнце, и тогда все стано-

вилось сумрачным и уиылым. Стальмахов, возвращаясь с работы, шел через большую площадь, на которой широко раскинулся рынок; с интересом разглядывал Стальмахов людей, подводы... Внимание его остановил молодой парень, зябко ежившийся в дырявом пиджачке. Стальмахов видел темиобурые от холода и грязи сильные руки, мешок за плечами, — может, рабочий из депо: украл инструмеиты и меняет их иа хлеб. Но этот лоб и мохнатые волосы, выбивающиеся из-под кепки, — все это показалось Стальмахову смутио знакомым. Он быстро нагнал парня, положил ему руку на плечо и спросил:

— Товарищ! Что продаешь?

Тот обернулся, сощурив глаза, оглянулся кругом, и вдруг раздался глухой знакомый голос:

— Здравствуй, товарищ Стальмахов!

— Горных, ты? Что ты делаешь здесь?

Но Горных уже за рукав тянул Стальмахова из толпы.

— Я... я... Да ты не кричи громко. Отойдем в сторонку.

Оии прошли к деревяниым заколоченным лавочкам, к остаткам старого базара и, оглянувшись вокруг, Горных забасил громким шепотом:

— А ты что тут делаешь, а? Ходишь? Наблюдаешь? То-то. Нам всем здесь найдется на что поглядеть. Скверио, что ты меня приметил, сегодня я торопился, — иебрежно над костюмом и физиоиомией работал. А вот зимой меня никто ие узиавал. Мы встретились кстати... Найди сейчас же Климина и передай ему...

Горных оглянулся. Оглядывался он одними глазами, не поворачивая головы.

— Скажи, что я его часа два ждал сегодня в Чека. И ты его там не иайдешь. Ои сейчас по вечерам у нас не бывает. Навериое, в укоме. С тех пор, как иачалась заготовка дров, ои работу в Чека забросил. Организатор он замечательиый, да и эиергичней всех. А все-таки напрасно он в Чека теперь редко бывает. Так ты его разыщи; ои или в исполкоме, или в укоме, или в военкомате у Караулова. Ищи по всему городу...

— Да что тебе так загорелось? — перебил его Стальмахов. — Завтра утром он будет у вас иепремеиио.

Горных крепко схватил Стальмахова за руку. Непривычно было видеть возбужденным его обычно спокойное лицо.

— Слушай меня, Стальмахов, и делай... Боюсь, завтра поздно будет. Сегодня бандиты ворвутся в город... Это почти наверняка.

— Бандиты? — переспросил Стальмахов встревоженно и удивленно. — Но какие у тебя данные?

— Данные? Они и есть, и их нету. Подвод много на базаре, кулацких. Вон видишь проехали, фургон большой. Крестьяне победней ездят на телегах. А в этаком фургоне хоть пулемет спрячь.

— Надо бы рынок оцепить, — продолжал Горных. — А ведь батальон-то наш в монастырском лесу дрова рубит. Комроту собрать? Но поскорей бы, боюсь, что поздно будет. А каких я разговоров наслушался... Здесь уже ждут нашего конца... И сегодня бабы-торговки с такой уверенностью говорят, что именно сегодня, а не завтра, «антихристовым слугам» — это нам, стало быть, — конец...

Стальмахов усмехнулся.

— Тебе смешно? Горных, мол, бабью брехню слушает? А я знаю: чекисту иногда не мешает к бабьей брехне прислушиваться. Всегда можно уловить, есть ли за этой брехней зерно заговора или просто так, душу отводят. В крае прячется много разбежавшихся белогвардейцев, и раз мы стремимся провести посевную, то им нужно ее сорвать, а сейчас для этого единственно подходящий момент: батальон-то ведь за городом. Так вот, найди Климина, расскажи ему, встревожь его... и пусть он хоть какие-нибудь меры примет! Остальные наши ребята ничего не понимают, я сегодня со всеми поругался. Говорю им, что настороже надо быть, а они... Правда, нитей у меня никаких нет, но чувствую по всему — по последним сводкам, по допросам арестованных, по таким мелочам, которые уликами назвать нельзя... Убили одного тут чекиста, и кажется мне, что все это связано вместе и говорит об одном...

— Убили? Как его фамилия? — встревоженно переспросил Стальмахов. — Не Суриков ли?

— Он... Нервничал, верно. Провалил работу и себя засыпал. Парень хороший, но чекист плохой. А ты его знаешь разве?

— Вместе жили... Ты расскажи подробнее... Может быть, только слухи?

— Агентурные сведения... Живьем в землю закопали... Не в этом дело: ты вот Климина найди, непременно найди, слышишь? Военное положение теперь уже объявить поздно будет, но пусть хоть коммунистическую роту под ружье соберут... Ну, иди скорее. — Он крепко пожал руку Стальмахову.

— А Суриков...

— Ничего не сделаешь, работа наша такая.

И Горных, сутулый, оборванный, с мешком за плечами, пошел прочь и скрылся в толпе.

Стальмахов по кочкам замерзшей дороги возвращался домой.

Убили Сережу Сурикова. Сейчас он придет домой, и прямо с порога у входной двери осиротевшая мать спросит о нем, о Сергее. И хоть тяжело будет, но придется солгать. Придется. Ведь в кармане его лежит записка Сережи, написанная на последней станции, перед отбытием туда, в синие степи:

«Дорогой Стальмахов! Если мне не суждено остаться в живых, скажи тогда матери, что уехал я в продолжительную командировку, на несколько лет. Это будет моя последняя просьба. В память нашей дружбы возьми мою фотографическую карточку. Она приклеена к старому удостоверению, которое лежит на верхней полке этажерки. Живи и работай хорошо.

Сергей Суриков».

И когда на первый стук Стальмахова открылась входная дверь, он увидел мать Сурикова такой, какой ожидал увидеть: низенькая, худенькая старушка; с морщинистого лица, поверх очков в почерневшей медной оправе, пытливо смотрят добрые голубые глаза:

— От Сережи нет ли чего?

И представил Стальмахов ужасную и одинокую смерть в беспредельных степях, там, на юго-востоке, и жалость к ней колебнула его сердце. Сергей, кудрявый, любимый Сережа, связывавший ее безотрадную старость с радостной жизнью...

— Ничего нового не знаю, Анна Петровна, — ответил он, не глядя ей в глаза.

Она посторонилась, пропустила его мимо себя, и он прошел в комнату, где стояли две постели — его и Сережи.

— Самовара не нужно ли вам, Андрей Васильевич? — спросила она, входя за ним в комнату, вздохнула и села на стул подле двери.

Сережа Суриков... высокий и стройный, чуть-чуть сутулый, темнорусые, золотом отливающие волосы, а лицо... как будто бы самое обыкновенное лицо молодого красноармейца, красивого деревенского парня, но изнутри этого лица точно зажжен какой-то огонь, делающий прекрасной каждую черточку. Толстый нос, голубые глаза, мягкий, улыбчивый рот, золотистые волосы на щеках, на верхней губе и на подбородке...

Спокойный, неразговорчивый, как будто таящий что-то, приходит он после целого дня работы в Чека. Неторопливы его движения, его умные, не многие слова, а мать следит нежно-заботливым взглядом за каждым движением своего Сережи, слушает каждое его слово и избыток своей любви дарит Стальмахову, совсем не избалованному любовью.

А ведь не так давно была у Стальмахова женщина, которая его любила. Расставаясь с ним, подарила она на память ему вазочку. На ней нарисованы были тонким старинным рисунком чьи-то любовные мечты... Крутозобые голуби развевали облачно-лазурные крылья над голубками... Рассыпаны были голые пухлые амуры. А посредине, на облаке, сидели пастух и пастушка: он играл на лютне и, наверно, хорошо играл, потому что нежно-задумчивая улыбка бродила на ее лице. Беленький ягненок ел цветы из букета, который она держала на коленях. Горлышко вазочки было сделано в форме чашечки цветка, и по голубому рассыпаны были там звезды, золотые и серебряные, а некоторые были из пестрых стекол и искрились маленькими огоньками. Неловкими руками взял он вазочку.

— Вот, даже и поставить мне некуда эту баночку, — сказал он с усмешкой.

Обвел глазами комнату и поставил вазочку на верхнюю полку этажерки.

И каждое утро, проснувшись, он сразу видел вазочку и вспоминал эту женщину, так и оставшуюся чужой и по мыслям, и по манерам, и по одежде, красивую и

непонятно почему-то полюбившую его, — она даже плакала, когда вместе с театром уезжала из города: она была артистка. А вскоре он тоже уехал на продработу в деревню. И когда после долгого отсутствия вошел в свою комнату и стал искать глазами вазочку, увидал он, что стоит она на столе, что часть горлышка у нее отбита и что покрыта она чернильными пятнами. Это сделал Сережа Суриков, конечно не подозревавший, чем была для Стальмахова эта вазочка. Ни слова не сказав Сереже, Стальмахов вылил из нее чернила и поставил ее так, чтобы потемневшая, грязная, с тонкой трещиной, искажающей нежную улыбку пастушки, она не бросалась бы в глаза.

И с тех пор, когда ему что-либо дарили на память — фотографию или безделушку, вспоминал о вазочке и неохотно брал памятки. Даже письма, которые он получал от товарищей, терялись в той беспокойной, наполненной постоянными разъездами жизни, которую он вел. Но дружба с Сережей, долгие ночные часы, наполненные разговорами, это непрестанное горение, чистое и светлое...

И сразу проснулась ненависть. Гады! Этого кудрявого мальчика, такого умного, совестливого и безмерно преданного коммунистическому делу, живьем зарыли в землю; сожрали, как свиньи, кулачье, звери...

И, вспомнив, о чем просил его Горных, Стальмахов сразу вскочил с постели, на которую было прилег. Он отыщет Климина и передаст ему слова Горных. Он будет просить уком, чтобы ему дали отряд, и пойдет громить бандитов. А пока — во что бы то ни стало отыскать Климина! С этой мыслью он вышел из квартиры.

В дверях укома Климин лицом к лицу столкнулся со Стальмаховым и сразу поразился возбуждению и злости, которые играли на лице Стальмахова.

— Что с тобой? — спросил Климин, здороваясь.

Стальмахов рассказал о своей встрече с Горных и передал все его опасения. Они тихо шли по улице, которая казалась особенно мирной: дети и собаки... куры копошаться в подворотнях.

— Откровенно скажу, Стальмахов, не знаю я, чего от меня хочет Горных, — раздраженно сказал Климин. — Все предварительные, от меня зависящие меры приняты, наряд комроты усилен... А держать комроту под ружьем

несколько дней у меня нет оснований. Караулов дал знать батальону, чтобы были настороже... А ведь у Горных фактов никаких нет, и то, о чем ты говоришь, — это тоже догадки, предчувствия... Но я не могу из-за нервозности одного чекиста останавливать важнейшую хозяйственную работу, от которой зависит посевная кампания. А положение у нас такое, что каждую минуту нужно ценить и использовать. С Зиманом работать — мучение, его никак не раскачаешь. А тут еще Горных со своими опасениями и подозрениями... Вообще тошно мне сегодня, Стальмахов... Послал я чекиста одного в степи с важным поручением, а его бандиты убили, и вот не могу простить себе: зачем послал? Не годился он для такой работы: слишком уж нервный, да и молодой очень.

— Я знаю его. Он мой товарищ был. На одной квартире жили. У него ведь мать осталась, — голос Стальмахова звучал все глуше и глуше.

Прошло несколько тихих секунд.

— Слушай, Климин... Я буду проситься в укоме против бандитов. Ту сволочь, которая убила его... Я с нее шкуру сдеру!..

Климин опустил голову на руки.

— Чувствую я себя виновным в его смерти. Я всегда очень ценил его... В армии это был прекрасный политработник... Ходил в штыковой бой, в момент паники умел образумить людей. Но вот нервный был чересчур для чекистской работы. Дело наше — тяжелое дело... Буржуазия изображает Климина людоедом. Да, скажу прямо: каждый расстрел дается мне нелегко... А раз этого требует борьба за наше дело, за коммунизм — значит совершай... И не отводи глаз от того, что делаешь, — твердой рукой делай. Нелегко дается, конечно...

Наступило долгое молчание.

— Коммунизм... — раздельно выговорил Стальмахов. — Это главное, это самое теплое слово в жизни — коммунизм. Теплых слов у меня в жизни немного. Вот «няня», сестру я свою так звал. Родителей не помню: знаю только, что отец сапожник был, а со мной сестра осталась, старше меня лет на двенадцать. Любила она меня, ласкала, лучшие кусочки отдавала... Лицо у нее было некрасивое, морщинистое и желтое, как у

старухи, но для меня она краше всех была. Мне только четырнадцать исполнилось, как померла она во время холерной эпидемии, и с тех пор не стало для меня теплого слова, как не стало и родного угла... До самой революции, десять лет, рос я на улице. Сапоги чистил. Газеты продавал... Работал подмастерьем у портного, у переплетчика, в типографии работал. По всей России мыкался. Как это я выжил и не сдох с голоду? Почему не спился и не превратился в босяка? Что-то у меня было такое... И только свергли царя, так словно сказал мне кто-то: «Ну, Стальмахов, жизнь твоя начинается». Я тогда почтальоном служил в городе на Кавказе, и вот, знаешь, хожу по этим уютным домикам, слушаю, как обывательская нечисть радуется по случаю приобретенной революции, и хочется им крикнуть всем: «Революция не ваша! Вы дождались ее с сытым брюхом, а меня, Стальмахова, она застала на мостовой, в холоде и голоде. Она мне несет избавление! И не только избавление, но и возможность своей ненавистью, которую за прошлую жизнь скопил в душе, ошпарить всех сытых — буржуев, купцов, царское офицерство. Возненавидел я в революции раньше, чем полюбил... Но с тех пор, — хотя меня жестоко избили за большевистскую агитацию в армии, а потом я в Москве в октябре штурмовал Кремль и расстреливал юнкеров, а потом сам попал под расстрел у Каледина, — все равно то, что ожило у меня в сердце, то во мне жило. И в минуты крайней усталости стало мерещиться мне впереди что-то радостное, далекое... может, и не мне, так завтрашним людям... коммунизм... Какой он, в подробности не знаю. Недавно взял книжку одну, Беллами, — там коммунизм вроде как сказка, и не дочитал даже до конца; так она мне не понравилась — сладенькая какая-то. Мне кажется, что тогда будет все по-другому, так, что мы представить не можем. И когда голову мутит от усталости или работа плохо идет, тогда я в уме скажу сам себе это мое самое теплое слово «коммунизм», и ровно кто красным платком мне махнет... А в политотделе есть один... Мартынов... Слышал я его лекции — умный, толково и понятно так рассказывает. А уж о коммунистическом обществе — так точно он там был! А вот видел его на деле, на облаве, и... рассказывать противно.

Стальмахов замолчал.

— А все-таки жалко, очень жалко Сергея, — сказал Климин.

— Ты думаешь, я к Сурикову клоню? — быстро переспросил Стальмахов. — Нет, Суриков не то, что Мартынов. Совсем не то, что все эти лекторы... Он жизнь свою положил за революцию. Я к тому, что в подробностях рассуждать о коммунизме не надо... Ты научи, как добиться его, а что оно такое — коммунизм, так это я без тебя чувствую.

Стальмахов ушел. И тут же с обостренной радостью подумал Климин о том, что увидит Анюту Симкову, радость эта пробивалась сквозь раздражение, печаль и заботу так же ощутимо, как весенняя трава сквозь последнюю тонкую корочку льда.

Симкова встретила его на террасе. Он шел через маленький садик. Солнце окрасило запад, туман поднимался от протаявшей черной земли; деревья были похожи на выздоравливающих.

Он зашел на террасу, ласково провел рукой по пушистым ее волосам. Поднялась она со стула, перехватила его руку, и во время крепкого рукопожатия мягкий, родной голос спрашивал:

— Что с тобой? Ты расстроен?

Шла за ним в комнату, села против него на стул, а он, как был в шинели, полулег на диван, закинув руки за голову.

— Ничего, — ответил он отрывисто.

Впервые видела она его расстроенным. В работе знавала она его иногда озабоченным и суровым, порой злым, но не грустным.

Она видела, что ему тяжело, но не знала, как помочь. Они сидели молча.

— Слушай, Анюта, — первый раз он назвал ее по имени, и она покраснела от радости и смущения. — Ты не спрашивай меня, не обращай внимания... Глупо. Но сейчас у меня такое чувство, точно над всеми нами что-то нависло. Это у меня не то что предчувствие, а чекист один, очень умный чуткий парень, всю эту неделю твердит, что в городе и в крае есть какой-то еще не открытый заговор. И, знаешь, я, правда, опасаюсь.

А она уже села рядом с ним.

— Заработался ты, Климин, просто заработался и устал. Тебе проветриться нужно. Кончится эта заготовка

топлива — поезжай в Москву. Вернешься — и с новыми силами за работу. Я по себе сужу: провела около двух месяцев в Москве, была на двух съездах, говорила с товарищами из-за границы, слышала Ильича и, знаешь, по нашему маленькому городку, по маленькой нашей работе соскучилась и теперь с удовольствием берусь за нее опять... Ведь нашу работу в один присест не сделаешь, и минуты отдыха неизбежны.

Он взял ее за руку и без слов погладил, а она словно вся собралась там, где коснулась его рука, и ответила на ласку: щекой склонилась к его горячей руке. Он впервые обнял ее, целовал ее руки, щеки и губы. Вдруг в дверь постучались, и они услышали слащавый голос хозяйки:

—Товарищи, тут к вам мужик какой-то пришел. Спрашивает товарища Климина. Говорит — по важному делу...

— Зовите сюда, — сказала Симкова.

Дверь отворилась, и в темную комнату вошла неясная фигура. Климин щелкнул бензиновой зажигалкой, и неверный свет ее осветил перед ним совершенно чужого бородатого мужика. Но не успел Климин удивиться незнакомому, как вдруг столько раз слышанный глухой голос сказал тихо и торопливо:

— Товарищ Климин, едва нашел тебя. В город вошли бандиты...

Симкова сняла со стены маузер, быстро зарядила, надела на пояс.

Климин схватил мужика за руку.

— Горных? В чем дело?

— Долго рассказывать. Случайно удалось выследить... Я хотел звонить по телефону, но даже полевой провод перерезан... О городском и говорить нечего...

Симкова накинула шаль и жакетку. Вышли на улицу. Мягкий, теплый ветер. Земля радуется весне. В темноте журчат ручьи. Климин сказал:

— Нас трое. Сделаем, что можем. Я пойду в Чека, соберу наших ребят, и будем держаться до последнего. Симкова, иди в комроту. Горных, постарайся пробраться на станцию поднять железнодорожников и сообщить о восстании всюду, куда можно. Главное — в Чека и в комроте есть оружие. Чтобы бандитам оно не досталось! Стан-

цию нужно удержать до подхода наших. Скорее! — он говорил по-командирски, приказывая.

Климин крепко пожал руку Горных. И вот он уже уходил, не Горных — сутулый крестьянин, с большой бородой. Симкова тоже прощалась, пожала руку, пошла, потом бегом вернулась и поцеловала.

Климин шел быстрым, легким шагом, сжимая рукой наган, и, как всегда во время опасности, был спокоен, сосредоточен, зорко оглядывал все, чутко прислушивался ко всему.

Он не думал сейчас об Анюте, но было у него такое чувство, точно из его тела только что вырвали кусок с нервами и кровью.

Глава шестая

Четыре часа пробыл Мартынов на дневальстве в коммунистической роте: ходил с винтовкой по большому пустому двору, охранял склад с оружием. Слегка приморозило, но холодно не стало; где-то выше крыш веял ветер, и в воздухе растворена была весенняя, свежая сладость. Мартынов первые два часа вспоминал свою жизнь, казнил и миловал себя за тысячи мелких поступков, думал о революции, о партии, о своей работе. А последний час он ни о чем не думал. Ждал смены; пальцы на ногах замерзли, холодок забегал под воротник шинели, в рукава; и, чтобы согреться, Мартынов делал упражнения винтовкой: «Коли вперед! Назад прикладом бей! От кавалерии закройся!»

Прокатилось с колокольни двенадцать ударов. Теперь часом казалась каждая минута ожидания. Хотел он уже засвистеть, вызывая разводящего, и потребовать смену, но смена шла уже: со стороны караульного помещения показались две фигуры. Проверили печати на дверях склада. Мартынов сдал дневальство и не вошел, а вбежал в теплое караульное помещение. От весеннего воздуха он словно опьянел, лицо его раскраснелось; как всегда после смены, было весело, беззаботно, и ничего из широкого мира за стенами комроты не тревожило его.

Все было ясно и просто. Все продумано на большом и темном дворе. Он пил горячий чай, кусал сахар, ломал руками хлеб и слушал разговор товарищей.

— Да ни в жисть не поверю, — говорил разводящий, старый унтер с реденькими, щеголевато подкрученными усиками. — Мыслимо ли дело, чтобы человек от рыбы или лягушки произошел? Чудно. От обезьяны — это я не против... Но от рыбы? Побаска одна.

— Зачем, товарищ, от рыбы? Не от рыбы вовсе, а от созданий таких... очень просто устроенных. Они жили в воде, и тогда строение их тела было одинаковое. Но когда сильно размножились, стали некоторые в мелководье уходить... А оттуда — на сушу. Тут у некоторых стал организм к новой жизни применяться, легкие появились. Да не сразу это, а постепенно, за тысячи тысяч лет. Которые посильнее, те выживали и оставляли потомство. Так и происходил отбор, вроде как породу домашней скотины выводят... Вот это и есть борьба за существование. Ее Дарвин открыл, и вот...

Мартынов слушал эту тяжелую речь, любовался игрой широкого, грубого лица и вспоминал: где же он видел это лицо, где он мог слышать эту медленную речь?

А тот говорил и все поглядывал на Мартынова, как будто бы тоже узнавал... И вдруг прервал речь восклицанием:

— Товарищ! Вы не сын ли Сергея Захарыча будете? Мартынова?

— Я, — ответил Мартынов и покраснел.

— Так неужто меня не узнаете? Ведь я с кожевенных заводов вашего батюшки... Неужто Андреева не помните? Меня еще в слободке химиком звали...

И Мартынов узнал это лицо, широкий лоб, загрубевшие приятные черты лица, глаза с маленькими, четкими, пристальными зрачками. Правда, постарел Андреев сильно, поседели виски, набежали морщины на лоб, стал он выше, и шрам пересек все лицо, от глаза до рта... Девять лет. И Мартынов вспомнил тесную хибарку, убогий свет керосиновой лампы, и Андреев молодой, в черной косоворотке, склонившись над столом, нагревает какие-то пробирки, зеленую пахучую жидкость льет он на темный кусок неровной, еще не выработанной кожи. А отец Мартынова, толстый старик, с кровью налитым лицом и злыми глазами, в серой диагоналевой тройке, с цепочкой через живот, смирненько сидит на скамейке, улыбается ласково, вытягивает любопытно шею в сто-

рону рук Аидреева н порой быстро записывает что-то в свою запнсную кннжку.

Старик Мартынов иногда брал с собой иа завод сына, но ие позволял ему разговаривать с рабочимн. В глаза и за глаза иазывал ои их пьяинцамн, ворами н рваиью, н только к Андрееву, к «дешевому хнмику», как его насмешливо называли в слободке, он заходнл сам н брал с собой сыиа.

— Башковнтый пареиь, — говорнл старнк Мартынов про Аидреева. — Горд, как Бельзевул, ио соображает, как Эднсон. Это верио!

И вндел Володя, что отец его, суровый и властиый даже в семье, даже с домашнимн, порой выноснт действнтельио как будто бы иесколько надменное обращенне Аидреева, вннмательио выслушнвает его объясиеиня, пересыпаемые назваииямн хнмнческнх реактнвов и специальнымн термннамн, вндел, что этому молодому рабочему разрешается называть хозяина по нмеин-отчеству, — право, которого ие нмели даже самые старшие рабочие. И не поннмал Володя нх странных отношений.

А потом Аидреев нсчез. Не поладнл с ннм снльио отец; нз-за чего, Мартыиов ие знал, но отец несколько дией был злой, ругал всех служащих «последннмн словами», как делнкатно говорил кучер. В хнбарке поселилн кого-то другого... Мартынов вырос, стал увлекаться философней, нсторней культуры... Потом пришла любовь... Потом революция и партнйная работа. Андреев совсем забылся. Теперь ои сндит здесь, жнвой, набнвает трубку, говорнт медлеино н с расстановкой:

— А ведь я, товарнщ Мартынов, слышал, что вы в партни состонте. Ехал сюда — так заранее решил: прнеду н вышнбу нз партнн буржуйского сынка. Думал, что примазалнсь. Приехал, справкн навел о вас, где н как вы работаете, но все говорят: хороший н честиый коммуннст. Так что ж, думаю, значнт, работает...

От похвалы Мартынов густо покраснел.

— Я со свонмн с иачала революцни разошелся. Всякую связь порвал. С отцом не поладил. Деспот он... Слово сказать против иельзя.

— Да, уж словом его ие проймешь, кремень был человек, н жалостн к людям ннкакой. А иашему брату, рабочему, до чего от иего туго прнходнлось.

— Но лично к вам он как будто бы хорошо относился? — спросил Мартынов.

Андреев улыбнулся:

— Конечно, хорошо, дорогими папиросами даже угощал. Вы простите, товарищ Мартынов, но жулик он был, ваш папаша, очень ловкий жулик... Помните, меня «химиком» в слободке звали? Я ведь нашел очень выгодный способ кожу дубить. Но глуп был. Патента на изобретение не взял, и ваш папаша его даром променял, а мне пожаловал трешницу. Я себе книжек тогда купил... Вы помните, конечно, рабочих нашей слободки? Народ был озорной. Работа ужасно тяжелая, жалованье маленькое, одна утеха — пьянство. Я не пьянствовал и вообще до сих пор водки не люблю, от ребят в стороне держался, все химией занимался да книжки читал. Поговорить не с кем, вот с вашим папашей и разговаривали. Поговорим, поговорим, смотришь, он что-нибудь новое на заводе вводит. Рабочих почти вдвое сократил. Выходит, я у него вроде был инженер-конструктор, а получал пятнадцать копеек в день да еще подачками сверх этого... Когда полтину, а когда рубль, когда трешку. Меня на заводе стали «дешевый химик» звать... И правда, что дешевый. На что я был дурак, а все-таки стал кое-что понимать. «Так и так, говорю, господин Мартынов, на свои изобретения я желаю взять патент. Вы их у меня купите, а я учиться начну...» Мечтал инженером стать. В политике совсем не понимал тогда, и никакой сознательности классовой у меня не было. Только бы учиться да читать. Ему бы со мной сговориться, и, может, я бы ему громадную пользу принес и был бы сейчас инженером. Но скуп был ваш папаша, и скупость заела его, начал он меня ругать. А я не выношу, чтобы меня ругали. Слово за слово, круто поговорили. Он меня и выгнал. Бедовал я сильно тогда. Мать, можно считать, с голоду померла. А потом поехал в Иваново-Вознесенск, познакомился с хорошими ребятами, стали мне «Правду» давать, открыли глаза... Тут я и поумнел. Ну, однако, теперь конец. Старому больше не бывать. Сергей Захарыч теперь, может, в Японию, а может, и в Америку забежал. А на заводе я хозяин.

— А вы разве там же работаете? — спросил Мартынов.

— Как же, председатель завкома. Два месяца уже.

— Ну, а что с химией вашей?

Лицо Андреева стало мрачно.

— Женился я да политикой занялся. Тут уж не до химии... Сердце болит — нельзя рабочим делом не заняться. Если мы зевать будем, нас буржуазия живьем заглотит. Так-то, значит, химии моей конец.

Он задумался. Было тихо. Разводящий громко храпел — заснул, прислонившись к косяку окна.

— Давайте спите, товарищ Мартынов, а не то, вижу, разморило вас. Мне скоро смену заступать. Посижу, почитаю...

Мартынов погрузился в тишину и дремоту. Но вдруг громкий стук в сенях пробудил его.

— Кто-то там есть, — услышал Мартынов встревоженный голос Андреева. — Товарищ Мартынов, вставай!

— Вестовой, верно, — пробормотал Мартынов, готовый снова нырнуть в чуткую дремоту.

— Нет, тут что-то неладно! — крикнул Андреев, щелкая затвором.

Мартынов вскочил и увидел злобные лица, взлохмаченные бороды, в руках берданки и топоры.

«Бандиты, — мелькнуло в его голове. — Часового, верно, убили... и нас тоже!..»

Но не успел он додумать, как раздался тяжелый и глухой в комнате звук выстрела. Дым наполнил комнату, и толстой рыжий мужик, первый вбежавший в караульное помещение, тяжело сел на землю, выронив изящный кавалерийский карабин.

— Стреляй, товарищ Мартынов, чего смотришь? — раздался отчаянный крик, и, воспользовавшись замешательством толпы, Андреев выстрелил второй раз.

— Сволочи... Бей их! Бей...

«Стрелять нужно, — мелькнуло в голове. — Все равно конец, стрелять».

Но выстрелить ему не пришлось, — тяжелый удар по затылку свалил его на пол. Падал и, уже не сознавая, слышал третий выстрел Андреева, тяжелый гулкий звук, покрытый ревом и ругательством толпы.

И он уже не чувствовал второго удара бандитского топора, которым ему раздробили череп.

Глава седьмая

Три дня Робейко не выходит из дому. Простудился на облаве, видно продуло. До вечера крепился, а ночью стало совсем плохо. Утром пробовал встать, но закружилась голова, он опять лег и, не вставая, лежал в большой комнате с зелеными бархатными шторами, которая раньше была кабинетом господина Сенатора.

Хотелось есть, но некому было сходить в столовую за обедом. Хозяева по условию ставили два самовара в день. Поэтому он пил горячий чай и ел ржаной хлеб.

Хлеба у него было много, целый каравай лежал на столе. Робейко обломал с него всю корочку и раскрошил по столу много крошек. Очень скучно было ему. Товарищей он не винил за то, что к нему не заходят, знал — сейчас не до него, а все же было тоскливо. Темнело, но огня он не зажег, читать не хотелось. Проплывали воспоминания о молодости, о делах прошедшего. Все вспоминалась весна тысяча девятьсот пятого года на Екатеринославщине и какая-то, наверно первая, сходка в молодом березовом лесу, под прохладным пологом звездной ночи, и первое, совсем неумелое, но такое горячее выступление, — теперь так, пожалуй, не скажешь. И девушка вспоминалась в коричневом скромном платье, она не спускала с него глаз, блестящих карих глаз под черными бровями, а потом сама подошла к нему. Как звали ее, Оля или Леля, — какое-то весеннее и любовное имя...

Время от времени на него нападали приступы кашля, тогда в глазах зеленело, мысли и образы разбегались. Устав от кашля, лежал с закрытыми глазами и незаметно опять начинал думать, грезить, почти засыпая. Сегодня особенно тихо в квартире. На кухне не гремит сковородками мадам Сенатор, не слышно в коридоре осторожной и скрипучей поступи Рафаила Антоновича.

Но время от времени из-за запертых дверей до слуха Робейко доносился шепот, какие-то приглушенные разговоры, и он безотчетно прислушивался к ним.

Вдруг раздался стук в дверь, и робкий женский голос спросил:

— Товарищ Робейко, к вам можно?

— Войдите, — ответил он, и на пороге комнаты увидел тоненькую девушку.

Это была Лиза Грачева.

— Вы так сильно кашляете, товарищ Робейко,— мне в моей комнате слышно. Я ведь тут рядом живу, за стеной. Я вам молока принесла... кружечку. Может, еще чем могу вам помочь?

Из коридора через полуоткрытую дверь падала в комнату полоса света. Сейчас эта девушка уйдет, закроет дверь — и опять в комнате будет темно и безмолвно.

Молока ему, конечно, не нужно, но остаться опять в одиночестве не хотелось.

— Спасибо за участие, — сказал он приветливо. — Зажгите электричество, будем пить чай.

Она щелкнула кнопкой выключателя и ахнула: наволочка его подушки была вся в крови, которая шла изо рта во время кашля. Он сам только теперь увидел...

— Господи! — сказала Лиза. — Вам, верно, очень плохо... да? И наволочку я вам переменю, — сказала она, заметив, что он с выражением брезгливости на лице перелег на чистый край подушки. — И ведь у вас за эти два дня никто не был, — говорила она, роясь в его сундуке. — Я хотела несколько раз войти, но боялась.

Он улыбнулся:

— Неужто я такой страшный?

— Нет, теперь вы не страшный, но вот когда вы в вашем пальто и воротник поднят... Вы такой тогда гордый и неприступный.

Ему приятны были ее заботы... А она, увидев его улыбку, его тонкую, худую шею с напрягшимися жилами, жалела его и нисколько уже не боялась.

— Вы где работаете? — спросил он.

— Я учу красноармейцев. Но уже три дня не работаю — батальон наш ушел к монастырю на заготовку дров.

— Ушли все-таки? — переспросил Робейко оживленно. — Караулов был против... Значит, дрова заготовим во-время.

Она стала рассказывать все, что узнала из разговоров на субботнике, и почувствовала по оживлению, охватившему его, как важны ему эти вести.

Робейко казался ей умнее Мартынова, которого она

считала очень умным, потому что ничего не понимала на его лекциях. Видела, как просто, безбоязненно Робейко относится к своей страшной болезни, и удивлялась этому, — ведь он не верил, как верила она, в бессмертие души.

Поздно вечером ушла Лиза в свою комнату. Робейко, прощаясь, просил ее еще заходить...

На улице и в комнате был еще предрассветный сумрак, когда ее разбудил стук сапог и громкий говор, раздававшийся в коридоре.

Лиза сразу встревожилась. Из-за тяжелой двери она не различала слов, но слышала грубые голоса, громкие восклицания и топот многих ног. Дрожащими руками она тихо приоткрыла дверь и увидела, что коридор и кухня заполнены какими-то мужиками в солдатских шинелях и полушубках. Со страхом заметила она у некоторых ружья, топоры... И среди этих обветренных, грубых лиц, грязных и заросших волосами, внимание ее сразу приковали три человека: Робейко, Репин, Сенатор!

Робейко, в одном окровавленном белье, с багровым шрамом, пересекавшим лицо, босой, на холодном полу коридора, стоял со связанными руками прямо перед Репиным. Вместо обычного шлема Репин был в черной папахе с голубой лентой. Он курил, щурил глаза на Робейко и похлестывал нагайкой по своим лакированным сапогам. Лиза поняла, откуда этот вздувшийся шрам на лице у Робейко... и тут же, от Репина к Робейко, от Робейко к Репину, тряся кулаками перед лицом Робейко, громко кричал Сенатор, маленький, толстенький, в черном жилете без сюртука.

— А, товарищ Робейко! Теперь-то я могу поговорить с вами... Слышишь, каторжник, могу! Реквизировали аптеку — я молчал. Обыскивали, арестовывали — молчал. Насильно вселился в мой дом и не платишь за комнату — я тоже молчал. Как же, ведь вы зам... зампредисполкома или совета, забери вас сатана вместе с вашими названиями... Целый губернатор!

Рафаила Антоновича даже одышка взяла. Он набрал воздуху и завизжал еще выше:

— Теперь конец вам. Вас всех постреляют, как бешеных собак, а я вывеску вашу паршивую сниму со своей аптеки. Слышишь ты, с моей аптеки! Да, я богатый... Слышишь, я буржуй... Я был буржуем и всегда буду

буржуем... Ты был шпаной голопузой и всегда ею останешься... Молчишь? Говорите же, товарищ Робейко, ведь вы такой знаменитый оратор! Поговорите, пожалуйста, в последний раз. Посмотрите, какие люди собрались вас послушать.

Сенатор издевательски поклонился Робейко. Репин улыбнулся. Бандиты громко захохотали. Лиза услыхала злобное хихиканье и в дверях кухни увидела смеющееся лицо мадам Сенатор, ее оскаленные зубы, скверные морщинки у глаз и на щеках и желтый капот с лиловыми цветами.

— Молчишь? Молчишь? — визжал Сенатор. — На же тебе!.. — И он плюнул в лицо Робейко.

Робейко рванулся, но какой-то чернобородый схватил его за плечи, и беспомощно бился Робейко в его железных руках. Даже ядовитого плевка не мог вытереть Робейко — были связаны руки. С презрением обвел он взглядом торжествующих врагов и вдруг увидел в дверях бледное лицо Лизы. Их взгляды на секунду встретились, и вдруг Робейко улыбнулся. И поняла Лиза, что Робейко хоть и страдает от побоев и оскорблений, но своих врагов не боится и презирает их. И показалось Лизе, что Робейко улыбнулся оттого, что вспомнил их вечерний, такой хороший разговор.

Сразу, словно ее кто толкнул, Лиза вышла из оцепенения, с воплем кинулась к Репину, схватила его за руку:

— Товарищ Репин, зачем вы мучаете его? Ведь он столько добра сделал людям... И вы все, — кричала она, обращаясь к бандитам, — он за правду, за крестьян и рабочих...

Хохот и ругательства покрыли ее слова.

А Репин, этот изящный Репин, такой красивый и ласковый, со всего размаху толкнул ее, и она ударилась о стену головой. А он выругал ее длинно и грязно...

— К черту эти комедии! Веди его, ребята, на улицу, и немедленно расшить! Живо...

Толпа вывалилась за дверь. Лиза, держась за голову, вставала с полу.

— Тоже лезет, а? Ведь она, господин офицер, большевичка! — визжала мадам Сенатор.

Со двора раздался выстрел, и Лиза так пронзительно вскрикнула, что даже Репин вздрогнул и отшатнулся.

Вырвавшись из цепких рук Сенатора, Лиза по лестнице выбежала на темный двор. У крыльца она наткнулась на что-то, нагнулась и разглядела лицо Робейко, залитое кровью. Закричав еще сильнее, кинулась она со двора на улицу. Ей вдогонку прогрохотали выстрелы.

Лиза добежала до конца квартала, свернула в тихую поперечную улицу и бежала до середины длинного квартала. Запыхавшись, она остановилась. Прислушалась: никто не гнался за ней. Тихи и темны были маленькие домики, и только откуда-то издалека четко слышались звуки ружейной стрельбы. Порой мерно стучал пулемет. Время от времени порывами начинал дуть ветер. Лизе в одной гимнастерке стало холодно, дрожь пробегала по спине и рукам.

Стало уже светать. Она шла вперед и тихо плакала, шла в оцепенении, совсем забыв о себе, шла очень долго возле серых заборов, из-за которых свисли голые ветки деревьев. Вложив пальцы в рукава, сцепив руки калачиком, сильно промерзнув, она вся съежилась...

Вдруг она остановилась, увидев на голубом снегу, возле самого забора, бесформенную кучу. Ей показалось, что перед ней опять страшные очертания человеческих тел.

Хотелось закричать и убежать. Но она превозмогла себя и боязливо стала подходить к забору, силясь разгадать пока еще неясные очертания темной кучи. Она подходила все ближе, ноги тонули в глубоком сугробе, и вдруг как-то сразу увидела, узнала и, тихо вскрикнув, села на снег.

Изодранная одежда, сквозь которую синеет нагое тело — женская одежда, женское тело; темная рана выше обнаженной левой груди; разметавшиеся голые руки и лицо... Зажмуренные крепко глаза, закушенные губы, распущенные, втоптанные в снег кудрявые волосы... Анюта Симкова.

Не кричала теперь Лиза и не плакала. По влажному снегу подползла она к трупу, приподняла мертвую голову, коснулась ладонями холодных щек.

А небо голубело, все в мире наливалось красками: маленькие домики окраины, бурая дорога, голые деревья. Край неба алел все ярче и ярче, как будто там разгорался костер. Оттуда должно было встать солнце, и

сугробы и крыши домов к бело-голубому прибавили чистый и почти иеуловимый розовый отсвет.

Лиза все ясиее видела гримасу отвращения и муки на лице Симковой, иа бледиом лице с мертвыми, зажмуреиными глазами, которые оиа иедавио видела прекрасными и иалитыми радостью жизии.

И она с недоумеиием смотрела на простую и радостную красоту весениего восхода... Кому нужиа эта чудесная прозрачность воздуха, эти живые, веселые краски? Ей казалось, что жизнь человеческая пришла к коицу. Остались пустые, мертвые домишки, назойливо-мерный и тоже точио мертвый стук пулемета. И зачем так радостио звоият в церкви?

Она оглянулась... Малеиькие домишки с закрытыми ставнями, сииие сугробы, белесое небо. И этот труп — все, что осталось от красивой, радостиой, живой девушки... Ведь великий пост ие кончился, значит священиики пасхальным звоиом колоколов приветствуют этот деиь иасилия и смерти? Но теперь уже с двух сторон слышен был стук пулеметов. И когда вдруг совсем близко за этими малеиькими домиками и серыми заборами вспыхнула и разгорелась перестрелка, Лиза обрадовалась и сама себе удивилась. Коммуиисты... оиа где-то здесь, близко. И оии продолжают бороться.

Лиза приподиялась со сиега. Стала на колеии. Прикрыла тело Симковой, поцеловала ее холодиый лоб. Бог, где же ои? Ступии у Лизы окочеиели так сильно, что она с трудом привстала и, как могла, быстро побежала в ту стороиу, откуда все ближе и ближе беспорядочио сыпались выстрелы...

Глава восьмая

Дверь на несколько секунд открылась... В темноту и сырость подвала упал колеблющийся луч электрического фонаря. Несколько ругательств, ударов — и Климина втолкнули в подвал. Опять темиота, стук удаляющихся по лестиице шагов, неясиый переплет подвальиого окна.

От удара Климин упал... Приподиялся и прислушался. Ему казалось, что он слышит какой-то шорох.

— Кто здесь?

— Климин!

— Стальмахов?

По голосам узнали друг друга, и руки наощупь сошлись в темноте. Вдруг Климин застонал.

— Осторожней, Стальмахов, у меня плечо прострелено. — И сразу вспомнили, где они и что с ними.

— В один мы капкан попали, Климин... И все же я рад, что именно с тобой проведу последнюю ночь моей жизни...

— Ну, ничего, может, фартанет еще, а? Ты Караулова нашел?

— Нет, он куда-то уехал. Может, в монастырь... Эх, Климин, был бы ты там с товарищами, мне было бы спокойней. И все-таки я рад! Как ты попал, Климин?

— Меня нашел Горних. Я направил его на станцию, а сам скорей в Чека. Но чекисты меня не дождались и, отстреливаясь, отошли к вокзалу. Оттого я, верно, стрельбу слышал не со стороны Чека, а как будто бы левее, в стороне... Около самой Чека я попал в засаду. Мне прострелили правое плечо. Ну и сразу правая рука выбыла. А то я б живьем в руки не дался. Узнали они меня, конечно, сразу,— кто из этой сволочи Климина не знает! Но теперь им, Стальмахов, не до нас, пожалуй. Со стороны вокзала такая стрельба поднялась, видно, жарко им стало; они даже меня в покое оставили.

— Меня тоже из засады взяли. Одного я все-таки уложил. Третьим выстрелом себя хотел — осечка. Убьют — это ничего. Ведь я разверстку собирал во всех волостях, и крепко от меня кулакам досталось. Мучить будут. Но пока еще не узнали. А до чего мне, Климин, курить охота — сил нету терпеть. И еще больше, чем курить, хочется жить. — Он попробовал засмеяться, но только прерывисто вздохнул. — Климин, ты здесь, и я уже надеюсь на спасение. Это оттого, что один раз ты меня спас от смерти. Помнишь?

— Помню. Пустяки.

— Нет, брат, не пустяки: ведь у меня петля на шее была, когда ты прискакал со своими чекистами; ты принес мне спасение. Может, и сейчас так будет?

— Я хорошо запомнил тебя, когда тебе веревку на руках шашкой резали. Тогда ведь мы и познакомились...

— Да, правильно, полтора года. Знаешь, что я тебе скажу, Климин: всегда я радовался, когда тебя видел...

А ведь при встрече всегда: «здравствуй», «прощай», «дай закурить», — конец разговору.

Оба замолчали. Стрельба уходила в сторону железной дороги, становилась все глуше и глуше. От побоев, от потери крови, от перенесенного волнения Климиным овладела усталость. Он лег на пол и лбом коснулся холодных каменных плит. Подумал о Сурикове... Что ж, такова борьба, и он ко всему готов.

Но вдруг вспомнил он об Анюте Симковой. Анюта! Он больше ее не увидит... Нет, этого быть не может. Он жадно огляделся. Мысленно он цеплялся за крепкие дубовые затворы дверей, рвался в маленькое подвальное окошечко... Но, как председатель Чека, слишком хорошо знал он, что за все время его работы не было ни одного случая бегства из этого подвала. Становилось ясно: спасения нет...

А стрельба стала слышнее и ближе.

— Наши подходят, — сказал Климин.

Стальмахов выругался, но ругань эта звучала нотами горячей надежды.

За дверью раздался стук шагов и щелкание замка.

— За нами, — сказал Стальмахов.

И не успел еще Климин ответить, как их уже подхватили, толкали, били...

Климин пробовал отбиваться, но его ударили дубинкой по голове. Он потерял сознание, и, как тяжелый мешок, тащили его вверх по узенькой лестнице с деревянными прогнившими ступенями. Стальмахов шел сам, и, как всегда, спокойно было его залитое кровью рябое лицо.

Ночь совсем рассеялась. Раннее утро, далекий розовый восток. Стальмахов искоса взглянул на бледное лицо Климина, которого тащили под руки, и жадно оглядел весь большой внутренний двор Чека, окруженный двухэтажными зданиями и высоким каменным забором. Голубое знамя бандитов прислонено к стене маленького домика, в котором раньше помещалась столовая сотрудников Чека. Навалена куча винтовок, и парнишка с голубой кокардой на кубанке подбирает к ним затворы. У Стальмахова от свежего ветерка засаднила разорванная кожа на лбу.

— Ах, кого мы видим... Товарищ Стальмахов! Ну как, аккуратно собрали разверстку с Дмитровской

волости? Вот, оказывается, какую мы птичку поймали! — услышал Стальмахов злобно-насмешливые слова.

Из-под мохнатой папахи с чисто выбритого лица глядели на него серые дерзкие, ненавидящие глаза. Стройная фигура, перехваченная в талии широким офицерским ремнем.

— Не узнаете? А ведь старые знакомые! Неужто не припомнлаете? Да и виделись недавно: военспец Репин; помните, документы во время облавы просматривали на квартире у полковника Ростовцева? За аккуратный сбор разверстки отблагодарить вас тогда не пришлось. Но мы теперь сквитаемся.

После ведра холодной воды Климин пришел в себя и сразу, шатаясь, встал на ноги. Его трясло от холода, и голова, казалось, разлеталась на части.

И только встал, увидал он Стальмахова, — его держали за руки два молодых парня. Третий, в одной синей исподней рубахе, наотмашь стегал Стальмахова по спине, и удовольствие сияло на его скуластом, безбровом лице. Стальмахов порой стонал, и вместе со стоном каждый раз вылетала злая ругань. Репин стоял на крыльце. Потом повернулся к Климину, улыбнулся злобно и нагло, хотел что-то сказать, но в этот момент его окликнули из дома, и он нехотя ушел. Через двор пронесли на руках раненого. Его бледное лицо корчилось от боли, но он, с трудом приподняв голову с плеча товарища, крикнул тем, что избивали Стальмахова:

— Так его, братцы, так... Давай наяривай, Васька!

Не далее как в полуверсте трещали ружейные выстрелы, и порой над двором рикошетом пролетала пуля, ведя за собой звенящую, рыдающую струну. И вдруг, прорвав однообразную трескотню перестрелки, хлынула могучая волна криков торжества и злобы, пронизанная воплями и стонами... Стрельба сразу приблизилась. Пули все чаще летели над двором, поминутно разбивая окна в верхнем этаже здания. На двор вбежал Репин и с ним еще один офицер.

— Запрягай лошадей! — крикнул Репин, и оба торопливо вышли за ворота.

Избиение Стальмахова прекратилось, бандиты кинулись запрягать лошадей, и Стальмахов, не поддерживаемый никем, зашатался, упал на снег, и со спины его потекли тоненькие струйки крови.

Климин подбежал и, пачкая руки в липкой крови, стал помогать ему встать на ноги. Стальмахов стонал, дрожал и ругался и все же, шатаясь, вставал. С тоской смотрел в глаза Климину и шептал серыми губами:

— Холодно... Вот и смерть, видно, пришла... Товарищ мой, товарищ... товарищ... — твердил он, и видно, что дороже этого слова не было у него никакого другого.

Климин обнял его за плечи и, напрягая последние силы, тащил к маленькому сарайчику, в дальний конец двора...

— Идем, спрячемся. Может, забудут...

В полутьме сарая, уткнувшись затылком в конский навоз, лежало обезображенное тело Зимана... В распоротый, выпотрошенный живот его была засыпана рожь, и разорванный мешок с рожью лежал возле. Ужасное страдание написано было на маленьком, худом, остроносом лице Зимана.

А стрельба все приближалась. Один из бандитов с воплем сел в сугроб... Выносили раненых и клали в телегу; в другую валили груду винтовок. Еще один бандит молча кувыркнулся на снег. Из дверей здания Чека выбежали несколько офицеров с наганами и винтовками в руках и штатский в богатой новой шубе. Весь раскрасневшийся, в очках, скрывающих своим блеском глаза, он, запыхавшись, тащил огромную связку папок с бумагами. Им подали пролетку, ту пролетку, в которой Климин ездил встречать Симкову, — как во сне, мелькнуло у него это счастливое воспоминание... Стальмахов и Климин с надеждой переглянулись: им показалось, что о них совсем забыли. Вдруг во двор верхом на взмыленной лошади прискакал Репин. Его лицо бледно, взволнованно и зло.

— Тащи сюда пленных! — крикнул он. — А ну, поскорей!

С криком и ругательствами нашли Климина и Стальмахова и вытащили их. Стальмахов посмотрел в светлые злые глаза Репина, и такая ненависть охватила его, что он забыл обо всем и хотел его обругать... Но раздался выстрел, и, дергая руками и ногами, упало в снег тело Стальмахова.

Второй выстрел — и второе тело билось на снегу рядом с замирающим первым.

Репин хлестнул коня, и двор опустел. А стрельба слышалась все ближе.

На двор с револьвером в руках вбежал Горных. За ним следом трое в черных полушубках, с красными звездами на черных папахах, с винтовками в темных цепких руках. Это — коммунисты из железнодорожного депо. Они кинулись осматривать сараи, и Горных сразу очутился у страшной кучи, темнеющей на сугробах... Увидел знакомое лицо, мертвые глаза, спокойные, полуоткрытые губы, из-под которых вот-вот выбежит белозубая усмешка, и станет оно совсем молодым, хотя по серой коже лица легла сеть морщинок...

Приподняв голову Климина на свое колено, нагнулся Горных и, не отрываясь, смотрел в это неподвижное лицо. И вдруг почувствовал: из глуби его существа, из такой глубины, о которой сам он не ведал, встает рыданье, поднимается все выше и выше... Горных беззвучно и сухо рыдал, и тяжело ему было, точно в груди билось не одно, а несколько переболевших, переволновавшихся сердец.

Глава девятая

Черная, протаявшая земля и сугробы последнего снега сплетались в прихотливый узор, уходивший в далекую степь, и чередование разнообразных, каждый раз новых очертаний этого узора все же было монотонно.

Караулов зорко всматривался, чутко слушал темноту и особенным приемом держал уздечку, заставляя своего выученного коня ступать осторожно и бесшумно.

Впереди, широким двухверстным полукольцом охватив пустые овраги, канавы и пригорки, шли по направлению к городу, одна за другой, три цепи красноармейцев. Был отдан приказ не шуметь. Но шуршание земли под сотнями ног казалось Караулову громким гулом, чуткие полевые звери — лисы, зайцы и полевые мыши — за много верст слышали его издалека, о н о было, как монотонный плеск степного наводнения, и о н и бесшумно убегали от него. А несколько часов тому назад Караулов по этим же местам гнал свою маленькую шуструю лошадку, скакал из города в сторону монастыря, где находился батальон.

Ехал как будто бы только для того, чтобы проверить, как идет заготовка дров, исполнена ли его телефонограмма о мерах предосторожности. Но какой-то смутный инстинкт уводил его из города и велел находиться возможно ближе к батальону, и тот же смутный инстинкт заставлял его порой останавливать лошадь и прислушиваться к оставшемуся позади городу.

Но под вечерним гаснущим небом все было спокойно, и попрежнему над землей царила пахучая, сладостная, прохладная тишина вечера ранней весны... Только когда совсем стемнело и алый след солнца растворился в темносинем небе и замерцали первые, робкие звезды, чуткое ухо Караулова вдруг уловило со стороны города один за другим несколько далеких выстрелов. Караулов остановил лошадь. Тишина. Пролетая, крикнула ворона. И снова он услыхал далекую-далекую стрельбу, беспорядочной кучей наваленные трескучие выстрелы...

Он пришпорил лошадь, изо всей силы ударил ее нагайкой, и она побежала скорей, ровной иноходью, обегая невидимые в темноте глубокие ямы и рвы.

Приехав, проверил, исполнена ли его телефонограмма, и убедился, что все исполнено. Объяснил комбату Селецкому характер операции и через пятнадцать минут перед тихими рядами красноармейцев сказал краткое и сильное слово о белобандитах, наемниках Антанты, захвативших город и поставивших целью сорвать посевную кампанию. Когда выехали в поле, любимцу своему, военкому батальона Данилову он подробно растолковал все политическое значение операции, а тот в ответ кивал красивой головой, ловко посаженной на сильных плечах. Данилов читал плохо, даже газету не всегда одолевал, но красноармейцы его любили «за простую душу», как они говорили, за добрую заботу о них. А Караулов благоволил к Данилову за удаль, за честную прямоту да еще и потому, что иногда вместе с ним выпивал.

А комбат Селецкий все ездит из конца в конец батальона, опять и опять проверяет, все ли сделано, как надо... Цепи расставлены правильно. Пулеметы в центре и на правом фланге. Дозоры высланы. Конная разведка тоже...

Полученная утром телефонограмма была для Селецкого точно легкий нажим уздечки для хорошей, нервной лошади: он сразу весь подобрался, принял все

меры предосторожности и целый день ждал. Он ждал тревоги и нисколько потому не удивился приезду Караулова.

И теперь через каждые полчаса он подъезжал к Караулову, коротко докладывал о ходе операции, излагал свои предположения и почтительно спрашивал:

— Не будет ли каких приказаний, товарищ начальник?

И все менее подозрителен к нему становился Караулов.

«Нет, пожалуй, не изменит...» — думал он.

Нет, Селецкий не изменит. Недаром «честным ландскнехтом» назвал его Климин...

Первая рота шла с левого фланга.

Двигалась вереница темных силуэтов. В ней была своя система и внутренняя связь: каждый знал своего соседа, своего начальника. Каждый слушал тихую команду.

Политрук Спицын шел в строю, крепко прижимая винтовку к плечу. Порой своими мыслями шепотом делился он с соседом Федеиным — курносым, низкорослым парнем со светлоголубым и умным взглядом.

Ум у Федеина был жаден к знанию, как сухой песок к воде. Спицын всегда гордился своим учеником, который теперь был кандидатом РКП. Но когда из ближайшей деревни к Федеину приезжали родные — отец, с испугом и хитростью в глазах, или молчаливые, грустные, такие же, как брат, голубоглазые сестры — и начинались длинные разговоры шепотком где-нибудь в углу казармы, — темнел и мрачнел Федеин, замыкался в себе и не разговаривал больше с политруком... А тот заранее знал: придет минута, прорвет парня, и он, покраснев, блестя глазами, однообразно и сильно жестикулируя, начнет говорить о неправильной разверстке, о злоупотреблениях милиции и райпродкомиссара, о всей неразберихе деревенской жизни.

Не перебивая, слушает Спицын, а потом начинает разъяснять. Он долго рассказывает о том, что крестьяне «выберут подкулачника председателем сельсовета и сами же страдают от его злоупотреблений», о том, что, конечно, «примазалась к нам всякая шваль и сознательно нам тормозит». И о том, как трудна социалистическая революция в России, но как много хорошего сулит она крестьянству.

В анкете, на вопрос о социальном происхождении, пишет Спицын: «Деревенский обыватель». Он сельский портной и не знает, как себя назвать — крестьянином или ремесленником. Высокого роста, узкогрудый, сутулый и лысый; лицо у него бледное и веснушчатое, походка ровная и легкая, маленькие глаза всегда смотрят прямо и открыто.

Красноармейцы любят его беседы, только голос у него хриплый, и ему всегда кричат: «Громче!» Но громко не может он говорить — сразу теряет нить беседы и начинает употреблять иностранные слова, которых красноармейцы не понимают, а сам он толкует по-своему, туманно и приблизительно. Но сейчас, в цепи, в эти тихие и грозные минуты ожидания, то один, то другой подходил и, осторожно прикуривая, заговаривал, просил рассказать поподробнее:

— На кого же мы идем? Зачем?

И, чувствуя смятение в крестьянской душе, Спицын осторожными, но резкими и острыми словами говорил о восставших кулаках и напоминал о том, что испытали крестьяне при Деникине, Юдениче, Колчаке...

С каждой верстой все громче и громче слышна перестрелка со стороны города. И вот по цепи, от бойца к бойцу, из отделения в отделение, из взвода во взвод, от роты к роте пробежало приказание:

— Стой на месте...

Впереди уже мелькали редкие огоньки города. Сбоку неясно белела река. И лошадь Караулова, что несла его, сонного, на своей спине, в полверсте позади цепи, тоже остановилась.

Схватил ее под уздцы ехавший рядом военком батальона, осторожно остановил, — пусть, мол, вздремнет старик.

Но Караулов сразу чутко вздрогнул, проснулся и, поднявшись на стремени, остро огляделся, настороженно прислушался... Сразу узнал местность, редкие огни города, речку, овраг...

Подъехал Селецкий и доложил шепотом, почтительно приложив руку к козырьку:

— Разведка вернулась. Сообщают: на окраине города накапливается большая шайка, — очевидно, собираются уходить из города. Считаю, что нам следует дать им выйти из города и дождаться их здесь, на удобной

позиции, с охватом их флангов, чтоб не дать разбежаться.

— Так, так, — одобрил Караулов.

— Слышна стрельба со стороны станции, — продолжал комбат, — значит, там наши дерутся. Я туда послал для связи. Но пока еще никто не вернулся...

— Правильно действуете, товарищ комбат, — сказал Караулов. — Ты, Данилов, оставайся здесь, а мы поглядим позиции.

Но не отъехали они и нескольких шагов, как впереди увидали быстро растущий силуэт всадника и услышали гулкий топот лошади.

— Опять разведчик, — сказал комбат.

Съехались три всадника. Красноармейцы, оглядываясь назад, видели фантастическое, многоголовое существо... Вдруг три головы исчезли, остались видны только силуэты лошадей. Всадники быстро спешились.

— Ложись, — пробежало по цепи, — к бою готовьсь.

И не дошло еще приказание до левого, осторожно продвигающегося вперед фланга, как на правом застучал пулемет, и один за другим, словно перебивая и обгоняя друг друга, полетели легкие выстрелы.

Караулову почти не пришлось вмешиваться в ход операции. Он одобрительно кивал головой на все распоряжения комбата. В скудном свете занимавшегося утра видел Караулов густо отросшую после вчерашнего бритья рыжую щетину на лице Селецкого, его плотно сжатые губы и все внимательнее и доверчивее становился к нему.

Первая рота перебежками подвигалась к городу. Место было открытое и низкое. Разрыхленный снег проваливался под тяжелыми шагами красноармейцев. Бандиты отходили к городу и, отстреливаясь, прятались за строениями и заборами.

Двигались медленно, много теряя убитыми и ранеными. Край неба уже ярко порозовел, и солнце вот-вот должно было выкатиться из-за волнистого горизонта. Спицын, обвязав себя патронташем так, чтобы удобно и скоро вынимались обоймы, быстро целился, спускал курок, близко гремела винтовка и, как живая, вздрагивала в руках. Потом, нагнувшись, он, кряхтя, перебегал к следующему бугорку, опять падал на колено, быстро целился, и снова гремела винтовка. Феденна легко

ранили в левое плечо, но кости не задело, и он остался в строю. Спицын сделал ему перевязку, и они опять перебегали один рядом с другим и посылали в сторону домишек и заборов окраины невидимые разящие пули.

Как только кончилась гражданская, Данилов о битвах, похоже, забыл, жил в свое удовольствие, выступал на митингах, ездил в политотдел ругаться с Мартыновым, подразнить его; не прочь был выпить и «покрутить» с хорошенькой девчонкой. Снова сражение — и сразу оно захватило Данилова, но совсем не так, как Селецкого. Данилов в бою был первым и самым отважным бойцом. Все время он шел в первой цепи, и красноармейцы отовсюду видели блестящую кожаную куртку и красные галифе комиссара.

Данилов всегда рвался вперед и сейчас тоже несколько раз предлагал Караулову и Селецкому: «Дайте роту, пойдем в штыки — и сразу их кончим...» Комбат недоуменно пожал плечами и отвернулся. Караулов коротко, но сильно обругал Данилова, — то, что он предлагал, шло в разрез с глубоко продуманной и правильно развивающейся операцией — не дать бандитам вновь разбежаться по краю.

Данилов обиделся и пошел в первую роту искать своего приятеля Спицына, которого он уважал за сознательность, хотя порой и посмеивался над ним, и с ним поделиться обидой. Шел сзади цепи, и порой, когда из-за забора или дома мелькала темная фигура врага, он быстро, почти не целясь, стрелял из нагана. Ласково здоровался с красноармейцами, чем ободрял заробевших и поощрял отважных. Добравшись до фланга первой роты, он уже узнал сутулую спину Спицына, хотел окликнуть его, как вдруг, взглянув в сторону окраинных домов, здесь совсем близких, увидел среди сугробов быстро приближающееся черное пятно. Остановился на месте, огляделся зорким, острым взглядом; несколько пуль просвистело над его головой. А он все вглядывался и вдруг крикнул зычно:

— Товарищи, баба какая-то бежит! Осторожней стреляй!

Ее волосы развевались по ветру. Она порой проваливалась в снег, пронзительно вскрикивала и опять бежала. Вдогонку ей со стороны неприятельской цепи сыпались выстрелы. И вдруг звонкий, молодой голос

Федеина крикнул громко, и далеко по цепи пронеслись его слова:

— Ребята, ведь это учительница наша! Ведь это товарищ Грачева!

Другие поддержали:

— Она, она самая и есть!

Данилов с наганом выбежал вперед.

— Товарищи, а ну-ка, выручим свою учительницу. Айда ей навстречу! Вперед!

— Ложитесь, товарищ Грачева! Ложитесь на снег! — кричал ей Федеин.

Лиза вначале не понимала, что ей кричат эти люди. Но красноармейская цепь все приближалась к ней, и, наконец, страх перестал ей мешать узнавать знакомые лица.

Вот они, все дорогие, родные, больше, чем родные. Те, которых она в школе учила таблице умножения, учила писать свою фамилию. Но теперь, вооруженные страшными винтовками, они воплощали могучую, карающую силу, силу торжествующей справедливости. Они пробежали мимо, и она сразу, точно истратив все силы, упала на снег.

— Как вы сюда попали? — услышала она резкий голос.

Приподняв голову, увидела она сверху суровое, чуть-чуть голубеющее небо; неясное солнце лежало на холмах, рядом с ним громоздилась серая масса домишек; услышала стрельбу, прошитую монотонным стуком пулемета. Прямо над собой видела она темное, в суровых морщинах, лицо, мохнатые брови, редкую бородку... Узнала военкомбрига Караулова, но не испугалась его, как раньше, а плача, стала рассказывать ему обо всем.

Караулов, не переспрашивая, выслушал подробности смерти Робейко. Лиза рассказала и о Симковой, которая и теперь еще лежит там, у забора; неподвижно было лицо Караулова, только на щеке все бегал какой-то юркий мускул. И когда комбат перебил ее несвязный рассказ коротким донесением, что связь с вокзалом установлена, что там товарищ Горных, чекист, поднял железнодорожников из коммунистической роты и с ними наступает, весь распрямился Караулов и отрывисто скомандовал:

— Данилов, иди в штыки. Теперь разрешаю. Круши их, сукиных сынов. Начинать с левого фланга... Селецкий,

бей по улицам пулеметом... Пленных не брать... — Обрадованного и рванувшегося с места Данилова, он схватил за руку, удержал на минуту и прошептал ему: — Слышал? Робейко убили... Такого человека!

Глава десятая

Над бурой далью полей, цепляясь за серые крыши города, медленно и низко проплывали сеющие мелкий дождь, тяжелые, мокрые тихие громады облаков. Гор не видно — туманная сетка дождя закрыла их, и под низким облачным пологом мир мал и тесен, а воздух тепел и насыщен влагой, словно под стеклянной рамой парника, затуманенной матовой пленкой мельчайших водяных капель.

Ветер, медленный, ленивый и капризно меняющий направление, нес из полей в город бодрый запах оттаявшей земли, а из города к полям — шумы, стуки, гудки и благовест. И то и другое всем существом своим воспринимает Константин Петрович Стахов. На песчаном пригорке, где врос в землю одинокий, обветренный камень, стоит этот высокого роста, сутуловатый человек в потертой фуражке министерства народного просвещения, преподаватель словесности в обеих гимназиях города. Он смотрит на знакомые дома и заборы, на церкви, поднимающиеся над городом, и эта надоевшая, в мелочах знакомая картина тихого городка кажется ему призрачной, блеклыми нитками вышитой на старинной полинявшей занавеси.

Кто-то молодой и сильный хочет сорвать ее навсегда, и под ней обнаружатся многоцветные краски новой жизни. Родина в муках и страданиях сбрасывает с себя старую, поблекшую и ставшую тесной одежду, и под ней обнаруживаются яркие пятна невиданного и нового. Не оно ли просвечивает сейчас сквозь дымку дождя алым флагом на здании цирка да красной вывеской аптеки на площади?

А Константину Петровичу вспоминается прошлая жизнь русских людей, проходившая среди этих бурых, туманных полей, в сереньких городишках, в незаметных бесчисленных деревнях. Два десятка лет преподавал Константин Петрович словесность, два десятка лет из года в год перечитывал изящно переплетенные книжки,

занимавшие два шкафа в его маленьком кабинете. За революцию поредели сильно их ряды, — на мясо, крупу, муку и яйца выменивает их Маргарита Семеновна, женщина, заменяющая ему и жену и прислугу.

Что же, жить нужно... В советскую школу работать он не пошел «принципиально», ремесла не знал, а запасы и сбережения скоро оказались проеденными. Из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, всю революцию прожил в надежде, что вот-вот падет власть большевиков и вернется старая, настоящая жизнь. С первых же грозных раскатов Октябрьской революции возненавидел он большевиков. Откуда они взялись? Их как будто бы не было в прошлой жизни, вернее — он их не учитывал, они брезжили где-то на самом краю его политического сознания, фанатики и фантазеры. Но вот они стали вдруг непобедимой силой, и весь русский народ, отшвырнув со своего пути вождей других партий, перед которыми преклонялся Константин Петрович, пошел за большевиками. Константин Петрович не мог равнодушно видеть советские вывески и совсем почти не выходил из дому, даже днем не отворял ставней, совсем обрюзг, опустился, стал пить самогонку, мелочно ругался с Маргаритой Семеновной и целыми днями или раскладывал пасьянс, или валялся на диване и перечитывал свою редеющую библиотеку.

Белогвардейский переворот окончательно уничтожил его надежду на возвращение старого строя жизни. Нагляделся он тогда на злоупотребления, воровство и взяточничество, на невежество, глупость и бессмысленную жестокость белого офицерства, а ведь он многих белогвардейцев-офицеров знал мальчиками, они учились у него в гимназии. Белых он жалел и презирал. Это было чувство отца к сыну — пьянице и бездельнику, не оправдавшему возлагавшихся на него надежд. Жизнь людей на земле стала ему казаться чудовищной нелепостью; его посещали мизантропические мечты о гибели всего человечества.

Константин Петрович был мобилизован на заготовку дров и находился в той группе, которая была послана рубить монастырский лес.

В день восстания среди мобилизованных бродили с утра неясные слухи; когда же вечером всех, предварительно пересчитав, заперли в большую темную комнату

моиастыря н со двора донеслась до ннх тревожная дробь барабаиа, тогда злоба и страх, радость и тревога наполнили комиату, где помещались мобилизоваиные.

В эту темиую, тревожную ночь в большой душной комиате никто ие спал: шептались, перебирали имеиа коммуиистов со злорадством, вспоминали об их промахах и надеялись, иадеялись, иадеялись...

И Коистаитин Петрович тоже не спал, лежал иа твердой и узкой скамейке, покрывшись своей шииелью, переворачивался с боку иа бок и думал. Не верил ои в успех восстаиия и не сочувствовал ему, — помиил опыт чехословацкого мятежа и колчаковщиины. Коммуиисты оставались ему чужды, и не верил ои тому, что оии пишут иа своих красиых зиамеиах и за что самоотверженио умирают. Но если народ, рабочие, красиоармейцы — эти крестьянские парни в солдатских шинелях — столько лет идут за иими, то, может быть, какую-то жизненную правду оии иесут с собой? Может быть, иадо было попробовать работать с большевиками, и тогда он иашел бы их правду, — а он лежал на диваие, читал книжки в изящиых переплетах и... проедал их.

И как только вериулась одиа рота в моиастырь и стало известио, что восстаиие подавлено, Коистаитин Петрович отпросился иа деиь в город, чтобы перемеиить износившуюся обувь, а кстати про себя решил ои зайти в наробраз, спросить: может, работа для него какая найдется? Да н хотелось иовыми глазамн посмотреть иа опостылевший городишко, съевший всю его жизиь, иа иелюбимую, ио привычиую Маргариту Семеиовиу, ближе которой все же нет у иего иикого.

Медленио движется обоз, и видит Константнн Петровнч: по шнрокой площади со всех концов города к зданию цирка собнраются люди, идут кучками и поодииочке, молодые и старые, мужчииы и жеищнны; разиообразиы нх лица, улыбки, жесты, походка, и все же во всех что-то есть сходиое точио все оин идут навстречу далекому утреинему солнцу. Это коммуиисты собираются на партийиое собраиие.

После восстания это первое партийное собрание, и для коммуиистов благовест церковиый звучит, как иапомииание о том, что борьба не кончеиа, что враг отступил, ио не сломлен. Каждый слушает, хмурнтся, но потом вспомниает, что победа одержана, что восстанне все-такн

подавлено, и делится радостным чувством с товарищами. И Лиза Грачева вместе с другими тоже робко идет на собрание. Тщетно ищет она в толпе знакомых. Похоже, что всех убили во время восстания. Но вот в аккуратной шинели с блещущими золотом пуговицами, с коммунистической звездой на груди сам товарищ Матусенко, секретарь политотдела, вытаскивает из кармана свой аккуратненький партийный билет и показывает его молодому и хмурому секретарю райкома, что сидит у входа в цирк и регистрирует собравшихся.

— Товарищ Матусенко, товарищ Матусенко... Хоть вы-то живы, товарищ Матусенко... Хоть вас-то не убили...

А товарищ Матусенко в ответ самодовольно улыбается Лизе:

— За что же меня убивать? В соседях и меня врагов нет. Мы с женой и не слышали ни стрельбы, ничего... Спокойнехонько спали, хе-хе! Ночью она проснулась и говорит: «Илюша, ровно стреляют...» — «Полно, Груша, говорю, спи, приблазнилось это тебе, хе-хе!» А утром слышу: вправду стреляют. Я дома дождался, как стрелять перестали, и на службу пошел. Кроме как я, в политотдел никто не пришел, — горделиво и укоризненно говорит он. — Но мне моими обязанностями манкировать нельзя...

— Как же теперь, товарищ Матусенко? И товарищ Симкова и товарищ Мартынов убиты!

Скорбь и горесть на лице Матусенко.

— Осиротел я, совсем осиротел... Вот оно, народное невежество и дикость... А вы что? Разве к нам в партию записаться хотите? — покровительственно спрашивает он Лизу. — К нам на собрание пришли?

И, слушая звон колокольный, зовущий к субботней вечерне, думает Лиза о том, что вот не в церковь пошла она сегодня, не к вечерне, а на партийное собрание... И вообще... в церковь она не пойдет... Даже... на пасху, потому что... бога нет... хотя это страшно и не хочется думать об этом... И, занятая новыми мыслями, рассеянно отвечает она Матусенко:

— Дело есть у меня к товарищу Караулову... Я здесь условилась встретиться с ним.

А вот и Караулов. Он верхом подъехал к зданию цирка, легко соскочил с лошади и, привязывая ее к коновязи, сам, не отрываясь, смотрел на дорогу и видел вдали мед-

ленно ползущую черную ленту обоза. Кто-то положил ему на плечо тяжелую руку; оглянувшись, увидел он Горных, — широкое, спокойное лицо, легкий налет усталости в глазах...

— Везут? — коротко спросил Горных, указывая на дорогу.

— Везут... — так же ответил Караулов.

И оба замолчали. Оба вспомнили о товарищах, что лежат теперь в гробах под красными знаменами во дворе Чрезвычайной комиссии и ждут торжественного погребения.

Долго молчали.

И вот Горных заговорил. Говорил, словно укладывая тяжелые, ровные камни в плотную стену:

— Да, Караулов, ошиблись мы оба. Видишь, вон дрова! — И с редким для него оживлением добавил: — Эти дрова дадут нам зерно! А для таких вот мятежей зерно — что вода для огня! Недаром погибли наши товарищи... Вот я теперь следствие веду... — и Горных стал коротко рассказывать о результатах следствия.

Вчера утром заняли город, только вчера на улицах гремели выстрелы, а теперь у всех этих домишек, видных с пригорка, такой спокойный и мирный вид. Но Горных знает: здесь, среди них, где-то прятались враги и, может, прячутся вновь. Это сознание заставило его разом подавить слезы над трупом Климина и взять руководство следствием. И хотя по должности он не был старшим из уцелевших чекистов, но вся работа Чека как-то само собой очутилась в его руках. Караулов и Селецкий блестяще провели операцию. Не много кулаков ушло из города. «Рыжий», раненный во время захвата коммунистической роты, попал в плен, и Горных ставил его на очную ставку с другими бандитами, захваченными в городе, теперь смиренными, робкими и понурыми, словно после похмелья, и легко обнаружил в нем одного из главарей восстания.

Если Горных не допрашивал сам, то ходил по кабинетам следователей и, не вмешиваясь, наблюдал за следствием, прочитывал протоколы дознания... А порой уходил он к себе в кабинет, запирался и долго сидел один, подперев мохнатую голову руками, и казалось, без всякой мысли глядел на лист бумаги, лежавший перед ним на столе, и порой осторожно и скупо записывал слово, дру-

гое. Это была кропотливая, долгая работа, но ход заговора становился ему все яснее. Вскоре и господин Сенатор проследовал в тюрьму, ему тоже предстояло отвечать на неумолимые вопросы Горных.

Теперь Горных в пяти фразах пересказал Караулову весь результат многочасовой и кропотливой следственной работы.

Вдруг Караулов перебил его:

— Вон видишь, там девушка стоит? Это учительница одна, она может еще кое-что показать об убийстве Робейко. Я ей сказал, чтобы она пришла на собрание, нарочно, чтобы ты мог с ней поговорить. Вон видишь, стоит у входа? Товарищ Грачева, сюда!

И Горных увидел бледное лицо девушки, длинные прямые пряди светлорусых волос, упавших на лоб и на щеки, голубые испуганные глаза и услышал дрожащий голос:

— Хочу показания дать... По поводу убийства товарища Робейко... Я при этом присутствовала. Я на одной квартире жила с ним и вот...

Она стала рассказывать о появлении Репина, такого красивого, ласкового и коварного, о господах Сенаторах, о своих отношениях с ними, о своих блужданиях по городу в ночь восстания. Порой она отвлекалась ненужными подробностями, и тогда Горных мягко и уверенно ставил вопросы и направлял ее рассказ туда, куда ему было нужно. Вначале смущение мешало ей говорить и речь ее была несвязна, но потом все увереннее становился ее голос, она даже стала робко жестикулировать. Когда же рассказывала об убийстве Робейко, то слезами залились ее глаза.

— Слушай, Горных, — заговорил Караулов, когда тот отошел от Лизы, — смотрел я сейчас на тебя и удивлялся: до чего ты деловой парень. Вот, к примеру, как ты хорошо и спокойно допросил эту барышню. А потом... Знаешь ли ты, что если бы не твои пятьдесят железнодорожников, то ведь станцию взяли бы, и тогда... плохо было бы. Я б тогда со своим батальоном ничем помочь не мог. Ликвидация восстания затянулась бы на месяц! Это факт. А сколько еще товарищей легло б...

Потом Караулов дрогнувшим голосом сказал:

— Ты вот сейчас как лошадь работаешь, везде поспеваешь — и в Чека, и за заготовкой дров следишь, и даже

в газету статью дал... А я... ничего не могу. Как услышал от этой барышни, что Робейко убили, так света не взвидел, озверел и собственной рукой бандитам головы рубил. А потом узнал, что и Зиман, и Стальмахов, и Климин. Ведь с Климиным я всю гражданскую войну вместе провел... И теперь вот ничего я не могу делать. Город для меня ровно пустой стал. Ругай старика, но помни, я на тридцать лет старше тебя... И напился же я вчера от тоски! Главное, когда я трезвый, слез у меня не бывает. А вот налакаешься — так ровно кто душу отворит, и ревешь. Потом совестно, конечно. Подожди, и ты испытаешь! Вспомнишь старика Караулова... Так-то.

Уже дребезжал звонок, затихали ряды, и вот со средины арены секретарь горрайкома предложил выбрать председателя... Тяжелый, недоуменный гул прокатился по рядам. Кого выбирать, когда самые лучшие, самые стойкие лежат в гробах, покрытых красными знаменами? Кто-то крикнул фамилию Климина, кто-то неуверенно назвал Симкову... секретарь не записал этих фамилий.

— Товарища Караулова! — послышался слащавый голос Матусенко.

Но Караулов отказался... Не умеет он председательствовать. Об этом ведь товарищи знают. К тому же сегодня он болен...

И вдруг откуда-то сверху, с галерки, сильный голос назвал:

— Горных... Товарища Горных!

И сразу в ответ с разных сторон поддержали его:

— Правильно!.. Горных!.. Товарища Горных!..

— Что за Горных? — спрашивали громко некоторые.

— Какой он?

И опять с галерки тот же голос зычно возгласил на весь цирк:

— Горных... чекист... В депо к нам пришел, всех поднял. Боевой парень!

Первый раз в жизни пришлось председательствовать Горных на таком большом собрании... Он растерялся немного, не знал, что ему делать, но собрание само затихло и устремило на него многоглазый взгляд. И вдруг вместо общей фразы: «Объявляю собрание открытым» — и вместо оглашения повестки дня Горных заговорил о том, что было главным, о том, что волновало всех... Тяжелые и острые слова входили в сознание слушавших, как гвоздь

в дерево под тяжелым ударом молотка; они были выплавлены и выкованы рассудком, волей Горных за эту роковую неделю.

Говорил он о том, как громадна была опасность уже прошедшего восстания, говорил об организации социалистического продуктообмена города и деревни...

— Теперь нам, товарищи, будет труднее... В исполкоме осталось девять, в укоме — четыре работника. В политотделе погибли начальники двух самых главных отделов, в Чека — председатель, заместитель и трое работников. Работа стала сложнее, товарищи. Ведь нужно зерно доставить, нужно к посевной кампании приготовиться, нужно провести ее по всему нашему бездорожному краю. Бандиты окончательно не ликвидированы, нет... Выходит, товарищи, что нам нагрузки больше придется. Взять хотя, к примеру, меня, — я сейчас председательствую. А это оттого, что нет с нами ни Климина, ни Робейко, ни Симковой, которые с этой обязанностью справлялись лучше... Так будет всюду. Работу убитых примут наши плечи. Тяжело будет, но пример их мы запомним, и мы с работой справимся!..

А когда «Интернационал» был спет и собрание перешло к деловым вопросам, Горных повел его спокойно, уверенно, зорко. Так молодой рулевой ведет тяжело нагруженный баркас по горной, быстрой, бурливой реке.

1922 г.

КОМИССАРЫ

Глава первая

Разговор этот произошел в кабинете командующего округом Гордеева, в кабинете, где высокие стены и белые окна, где за креслом командующего, ниспадая с потолка до пола, висела карта всего раздольного края. И на фоне белых и зеленых пятен карты, на фоне мелкой ряби названий и путаной сети речных систем были особенно выразительны бородатое и веселое лицо командующего и его широкие плечи.

— С переходом к мирным формам агитпропработы политсостав наш не очень справляется... — монотонно и быстро говорил начпуокр Розов, и его беспокойные, ловкие пальцы шелестели в бумагах, и он близоруко наклонялся к ним.

— Вот Васильев пишет, — и Розов протянул командующему письмо.— Васильев, вы же его знаете. Комиссар полка в Татарске, московский металлист. Переверните страницу; вот здесь у меня отчеркнуто: «Все время чувствую, что слабо подготовлен...» Просится учиться. Да не он один. Вот Лобачев, начпогарн из Вилюя, — то же самое. Вот Шалавин, комбриг седьмой трудовой...

Письмо за письмом появлялось в руках Розова.

— Шалавин? — оживившись, переспросил Гордеев. — Он мне писал. С прибаутками. Умный старик. Да разве дело в тех, кто тревожится и пишет? А вот кто не пишет...

Розов кивнул головой и стал с готовностью ждать слов командующего. Но командующий вдруг оглянулся на карту округа, северным краем упершегося в льды Арктики, а южным ушедшего в среднеазиатские степи; сверху вниз — коричневой полосой, скрепляя весь округ, идет

горный хребет, окруженный зелеными хлебородными просторами. И всюду флажками обозначены гарнизоны округа. И по горным заводам, в которых еле теплится жизнь машин, и по степным торговым городишкам, где большевистские укомы с натугой тяжелые тянут крестьянские уезды.

Карта была как бы окном, в которое с громадной высоты видны эти пространства. И опять, обернувшись к Розову, командующий вздохнул и, разгладив пышную бороду, прикрывающую орден Красного Знамени, непонятно усмехнулся, и его маленькие яркой синевы глаза вдруг похитрели... Ловко свертывая цыгарку своими толстыми, сильными пальцами, он сказал:

— Ну, и волка же я уложил на охоте под Змеиногорском! Полковник-зверь, во-о-о... Зайди, шкуру покажу.

Розов поморщился. Переход от серьезного разговора к охоте огорчил его. Но командующий, как бы не замечая, продолжал:

— Двадцать четыре волка... И думаешь — трущоба? Какое! Шесть верст от Змеиногорска, рядом мельница, поселок... Это Смирнов Никола, он в Змеиногорске увоенком и уже давно меня этой охотой манил... Да чего волки! А поискать, так и медведя и лося можно выгнать. А ты бы самого нашего Смирнова поглядел. Думаешь, что это тот Николка в залатанных подшитых пимишках, которого мы знали? Гм... пимишки! Говорит — голоса не поднимет, головы не повернет. Зазнался! Еле губами шевелит да шпорами позванивает. Забавно...

Розов монотонно кивал головой. Он был доволен. Разговор, казалось уводивший в сторону, неожиданно привел к цели.

— В бригаде моей там,— и командующий указал в окно на сине-зеленые хвойные предгорья, обступавшие город, — он командовал полком, лихо командовал, особенно пока партизанили. Ну, а как в регулярную влились, сразу стал спотыкаться. Тут война кончилась, я перевел его военкомом в уезд. Советовал самообразованием подзаняться. Конечно, внешнюю сторону армейского порядка он усвоил, форму, субординацию. Для армии и эта сторона дела немаловажное значение имеет. Но забаловался, зазнался. Таких удальцов распускать не след. Есть у нас такие голубчики, не много, а есть... — Он опять замолчал, погрузившись в раздумье.

Розов тоже молчал. Его тонкие беспокойные пальцы то поправляли очки, то взволнованно приглаживали редкие волосы, мыском выбежавшие на высокий и чистый лоб, то быстро перелистывали сводки, словно отыскивая в них решение.

Занавеси окна шевельнул ветер. И оттуда, из-за пестроты городских крыш, чуть слышно потянуло дымной хвоей и гарью.

— Что-то рано нынче леса горят, — сказал Гордеев. — Лето будет засушливое. Тяжелое будет лето, — добавил он и сразу весь зашевелился. — И... конечно, что-то такое надо нам сделать, Ефим. Понимаешь, вроде вызвать сюда, к глазам поближе, вроде на съезд, — прощупаем, придумаем, поучим...

Сразу перестало шуршать под пальцами Розова, они остановились, застыли над бумагами, словно делая стойку. Вызвать всех сюда — вот это верное, это — нужное, а говорить о лесных пожарах, о засушливом лете — это опять неуместно, это — ни к чему.

Розов не понимал страшного значения этого запаха лесного пожара, сухого и легкого, как хвоя прошлогоднего лета. В детстве не собирал он лето за летом землянику, настоенную на зимнем хвойном насту, не бродяжничал среди лесных озер и не партизанил в тылу у Колчака. Из южных приморских губерний закинула его сюда гражданская война, и не похож он на здешний неторопливый народ. Сухонький, маленький, Розов поворачивался быстро, резко, но без лишней суеты, как ножик в руках у ловкого в резьбе человека. Гордеев любил и ценил его.

Ведь когда за последние эти недели подымал тревогу Розов, как хорошо понимал Гордеев это его беспокойство, это желание пересмотреть комиссаров, словно побывавшее в бою оружие, не зазубрились, не дали ли трещин, не проржавели ль? И еще раз отточить и откалить для той битвы, которая будет.

Гордеев, если судить по внешним чертам его образа жизни, был всегда беззаботен, ездил на охоту, любил веселую компанию, и было совсем не заметно, что он постоянно полон зоркой тревоги. Но как вся партия слушала движение сил огромной страны, так и он чутко прислушивался ко всему — к сводкам и отчетам, к шутке товарища, к письму красноармейца, который просит заступиться за старуху мать в далекой деревне. Отгремела

гражданская, отшумела в Крыму и у польской границы, всколыхнула Сибирь, забурлила в Кронштадте. И вот затвердели рубежи победоносного Советского Союза... и страна перешла к решению мирных задач.

— Так, — сказал Розов, — курсы нам созвать надо. Со всего края собираем — и тех, кто сами просятся на учебу, и таких, которым необходимо подковаться. Военная дисциплина — раз, учеба и политическая, и общеобразовательная, и военная — два. Такова будет задача этих курсов.

Гордеев, прищурившись, слушал. На него торжествующе посматривал Розов и поправлял очки.

— Верно, Ефим! Но только если уж поднимать такое дело, так нужно взять шире размах. Ведь нам надо пополнить ряды политработников, а потому возьмем из частей округа не только комиссаров, но и рядовых красноармейцев-коммунистов, растущих ребят, и воспитаем из них будущих политруков и комиссаров для армии. Начальника надо, который бы с этой задачей, очень ответственной, справился.

Розов кивнул головой, сморщился, и командующий замолчал, стал терпеливо ждать. Он знал своего помощника, знал, что, подталкивая и расспрашивая, можно лишь помешать организаторскому вдохновению Розова, когда совершенно неожиданные сочетания людей и должностей легко и свободно рождались в его квадратной голове.

— Начальником кого? — медленно переспросил он. — А если Арефьева?

— Арефьева? Я хочу его отпустить в академию генштаба... Гм... А ведь рука у него, пожалуй, крепкая... Он царского времени офицер. Ну, это ничего, строевую часть поставит...

Розов молчал. Вопрос настолько важен, что решить его может только сам командующий.

— Ладно! — помолчав, сказал Гордеев. — Быть Арефьеву начальником. Теперь надо ему помощника подобрать — живого пропагандиста, теоретически грамотного...

— Есть! — торжествующе воскликнул Розов.— Миндлова Иосифа. Они, кстати, с Арефьевым всю войну были вместе.

— Миндлова? — переспросил командующий и задумался. — Верно. Лучшего нам не подобрать. Только не

выйдет это дело, — с сожалением сказал командующий.— Болен.

— Да. Болен, — сказал Розов, и в тоне его голоса слышалось невольное осуждение.

Хрупкость людей, их разнообразие, несовершенство, были постоянным препятствием в организаторской деятельности Розова. «Право, похоже, что нас всех смастерил какой-то бестолковый кустарь»,— не раз, посмеиваясь, говорил Розов. Люди не во-время болели, умирали, женились, рожали детей...

— Болен... — раздумывая, повторил Розов. И вдруг решительно сказал: — Я это улажу. — Он приподнялся.— Завтра я средактирую приказ. Арефьев и Миндлов — оба здесь. Послезавтра совещаньице... Так... — Он помолчал. — На следующей неделе начнут съезжаться...

— Вали... Вали... — дружественно сказал Гордеев. — Так волка-то придешь поглядеть?

Розов сквозь очки взглянул своими светлыми глазами и, как бы согласившись ненужный разговор о волке считать шуткой, скупо усмехнулся, кивнул головой, повернулся и четко зашагал к двери, маленький, сутулый, почти уже седой и прежде времени лысеющий.

Гордеев долго еще просидел в кабинете, покуривая цыгарку и щурясь на дальние сине-зеленые горные цепи, со всех сторон обступившие разноцветный каменный ковер города. Думал командующий, что если бы два года назад, когда в тылу у белых он начал собирать рабочих в свою партизанскую бригаду и когда не хватало винтовок, патронов и совсем не было артиллерии, ему сказали бы, что будет он командовать округом и вся Россия будет очищена от белых, он посчитал бы это высшей победой революции. А теперь эта победа достигнута, но впереди открылись новые задачи, новые опасности. И, покачивая головой, раздумывал он о недавнем кулацком восстании.

Он сам разбросал и затоптал это восстание, как разбрасывают и топчут занявшуюся быстрым пламенем сухую поленницу. Но в юго-восточных ветреных степях еще тлеют головни этого пожара.

— Нет, Ефим. Этого нельзя. Ведь он болен,— упрямо сказала Таня.

Розов видел перед собой большелобое лицо жены с яр-

кими, чуть вывернутыми губами, ее удлиненные, выпуклые глаза.

Нельзя было ответить Тане: «Я это улажу», как он только что ответил командующему. Иосиф Миндлов, старый друг по армии, тяжело болен, и от этого ничем не заслонишься.

И Розов сказал Тане то, чего никогда не сказал бы командующему:

— Есть люди, такие же больные... — начал он.

Но оборвал речь, и его сутулое плечо ушло из-под заботливой руки Тани, а она сразу с тревогой подумала, что сегодня Ефим особенно бледен.

— А ты, правда, плохо выглядишь... — виновато сказала она. — И так поздно всегда задерживаешься. Ты ляг, ляг.

Рядом с ним она казалась большой, как будто была его матерью. Уложила его в постель, принесла кринку молока. И, глядя, как он пьет маленькими глотками и как молоко окрашивает его бледные, такие знакомые и милые губы, она рассказывала ему о своей красноармейской школе.

Так всегда, вечерами, вернувшись домой, они делились тем, что осталось от прошедшего рабочего дня. Работа никогда не покидала их.

— Ты знаешь, Таня, какое у нас безлюдье, — говорил он, — я перебрал весь политсостав округа, — некого. Да еще эта волна демобилизации.

— Ведь он болен, — тихо и упрямо сказала Таня. — Если бы ты видел, Фима, как у него лицо дергается!

Но Ефим опять осторожно высвободился из-под руки Тани, встал с кровати и ушел к столу. Раздражение против ее упрямых слов подавил легко и привычно.

Розов мальчишкой обучался часовому делу в большой мастерской южного города. Склонившись над столиком, часами собирал он колесики и винтики, золотые шурупчики и звонкие пружинки, — и в лупе они были мелки. Синие круги плывут в глазах, от напряжения мельчайшей дрожью дрожат обученные, тонкие пальцы, и когда вспомнишь, что часы эти будут в золотом кольце или в брошке, или в ожерелье, и ради этого губишь глаза, хочется, сведя зубы, озлившись, плеснуть эту золотую безделицу в пылающую печь.

И лишь в марте семнадцатого последний раз вошел

Розов в мастерскую, оглянул ее, посмотрел на свой табурет, на склонившиеся неподвижные фигуры, получил расчет и больше не возвращался.

Но терпеливая и осторожная сноровка часовщика на всю жизнь въелась и пригодилась для борьбы и работы.

Таня в полудремоте. Сощурив глаза, глядит она туда, где над письменным столом упрямо склонилась его спина. Думает о его суровости и о том, что он тоже больной, глухо кашляет, не спит по ночам, но даже ей не жалуется и продолжает свое дело.

Иосиф Миндлов шел по старинным кривым переулкам города, и солнце весеннего утра теплой ладонью гладило его черные пушистые волосы и радужные струйки зажигало в расколотом пенсне.

Хорошо Иосифу Миндлову оттого, что знает он — пройдет месяц и теплая ладонь жены будет гладить его лицо. Миндлов ласково улыбнулся и даже забормотал что-то. Переулки пусты, зелены кусты сирени и акации за заборами, гулок шаг по деревянным тротуарам.

Доктор сказал, что нужен отпуск на четыре месяца. Это слишком много. За это время может мировая революция начаться. И вообще доктор чудак. Спрашивает: «Каковы конкретно ваши обязанности?»

Обязанности! Обязанности — это, самое маленькое, восемь часов отбыть в политотделе, — пустяки. Но разве по обязанности посещал он заседания всех партийных ячеек гарнизона? Разве обязанность гонит в каждую красноармейскую часть громадной губернии еще и еще раз проверить политшколы? Разве по обязанности часы сна отдаешь чтению Маркса?

В кармане у Миндлова две бумажки. На одной грозной латынью поименованы шесть болезней Миндлова и мотивирована необходимость четырехмесячного отпуска.

Передавая эту бумажку, доктор сказал:

— Удивляюсь, как это вы еще до сих пор держитесь.

А вторая бумажка — рапорт на имя начальника Политуправления округа о предоставлении двухмесячного отпуска. Два месяца ему хватит. Конечно, рапорт — пустая формальность. В округе знают: раз Миндлов просится в отпуск — значит, ему нужен отпуск. К тому же на-

чальник политуправления Ефим, друг и товарищ по деникинскому подполью, по армейской работе.

Два месяца! Он поправится через месяц, он это чувствует сам! Отдых... И он снова влюбленно вспоминал жену, быстро появляющийся и исчезающий румянец на ее щеках, пепельные волосы, такие же глаза — все точно едва намеченное нежной акварелью.

Они встретились в девятнадцатом году.

Фронт ушел вперед, а комиссара полка Миндлова Иосифа, раненого и в тифу, оставили в маленьком сибирском городке. Тиф громоздил тогда десятки тысяч трупов. Миндлов, узнав, что заболел тифом, последней горячечной мыслью простился с революцией и погрузился в долгий бред. Очнулся он в чистой комнате, в белых простынях, в необыкновенной, снежной тишине. На стенах портреты еврейских стариков в смешных шапочках, и время от времени такой же, как и на портретах, бородатый, сутулый старик показывался в комнате и опасливо поглядывал на него. И девушка, неотделимая от чистоты, белизны и тишины вокруг. Ласковая забота, теплая рука, за которую он цеплялся, когда впервые рискнул поднять от подушки свою трясущуюся от слабости голову...

Впоследствии все объяснилось просто. Еврейская община согласилась распределить больных и раненых евреев-красноармейцев по еврейским семьям, — так комиссар Миндлов попал к Якову Соркину, богобоязненному портному. Так нашла своего возлюбленного Лия Соркина, ученица модного магазина, и, после слез, проклятий и благословений, уехала вместе с ним догонять фронт. Она уверена была, что сумеет быть полезной тому делу, о котором Иосиф заговорил, как только стал шевелить языком.

Она стала библиотекаршей. На таратайке, в зной и под дождем, на розвальнях в сибирский недвижный мороз, бывало даже и верхом, с вьючными мешками, везла Лия Соркина из подива [1] в полк новые брошюры, газеты, речи Ленина, Сталина, Свердлова, Калинина, последние сводки со всех фронтов, вести о восстающих на западе и востоке народах. Она любила свою работу. Она легко отбросила перегруженную утомительной обрядностью, опостылевшую и непонятную религию дедов. Воинствую-

[1] **Подив** — политотдел дивизии.

щая справедливость коммунизма — убеждения ее мужа — стали ее убеждениями, и она вступила в партию. На фронте она простудилась. После плеврита началось воспаление легких, которое оставило злой, сотрясающий все тело кашель. Ее отправили в Крым, в санаторий. Сейчас он, получив отпуск, тоже поедет лечиться в Крым. И он даже ускорил шаг, подходя к белому зданию Пуокра[1].

Высокая лестница. Знакомые плакаты, знакомый коридор. В кабинете начальника политуправления шло совещание. Увидев Миндлова в дверях, Розов как будто хотел отвернуться, потом, не глядя в его сторону, быстро кивнул ему и продолжал говорить. Миндлов сел поодаль на диван и стал слушать.

Очевидно, здесь совещание начотделов.

Размеренно, мелочь за мелочью, критиковал Розов работу информационного отдела. Миндлов соглашался с каждым его словом, сам он не раз ругал присылаемые из округа непонятно составленные и путающие военкомов формы отчетности. Надо упростить, Ефим прав.

Это все так. Но почему, когда Миндлов вошел, Розов как будто резко отвернулся от двери? И кивнул боком как-то. Не рассказать ли подробно о болезни и потом уже подать рапорт?

«Нет. Официально. Сразу подам рапорт».

Как долго длится совещание!..

— Вот прочти! Здесь обо всем. Политотдел я, согласно приказу, ликвидировал и... прошу на два месяца.

Розов прочел рапорт и, не поднимая глаз от письменного стола, начал рыться в бумагах. У него чуть-чуть дрожат губы и веки опущенных глаз. Нашел и протянул Иосифу лист бумаги.

— Прочти внизу, пункт четвертый, — сказал он.

Теперь лицо его застыло, глаза смотрят, будто сквозь Иосифа.

— Что это? — и тревожный холод прошел по плечам и коленям Миндлова.

— Конец смотри.

«Товарища Миндлова Иосифа начальником учебно-политической части и заместителем...»

Миндлов непроизвольно встал и еще раз перечел весь приказ.

---

[1] Пуокр — политуправление округа.

— Возьми свой рапорт обратно, Иосиф. Мне не хочется писать на нем резолюцию отказа. Кроме тебя, назначить некого...

Глух и невнятен голос Розова, и опять у него задрожали веки и губы. Конечно, ему трудно. Но взять рапорт назад? Признать, что не надо было его подавать?

— Ты знаешь, Ефим, что, если я подаю такой рапорт, значит я иначе не могу.

— Сядь, Иосиф. Сядь. Я не хочу говорить официально. Ведь мы друзья... Коммунисты... И я знаю: была бы война — ты не подал бы рапорта, никогда бы не подал. Умирал бы — не подал. Но если кончилась война, значит мы, коммунисты, можем распустить нервы?.. Ты должен меня понять: такое большое дело. И я... иначе... поступить не могу. Возьми, Иосиф, обратно рапорт, прошу тебя. Обещаю тебе: осенью, после выпуска, мы тебя пошлем лечиться.

— Товарищ Розов, в официальном порядке я требую резолюции на свой рапорт. Официально.

— Официально? Ты требуешь, чтобы я с тобой говорил официально?!

И Розов так повторил это слово, что оно стеклянной стеной стало между ними. Розов перечел рапорт, и лицо его непреклонно застыло, и он перевел свой взгляд на лицо Миндлова.

— Официально? А ты... разве ты не знаешь меня? Думаешь, меня на это не хватит и я из-за дружбы сделаю тебе поблажку?

И, разбрызгивая по рапорту мелкие капли красных чернил, он написал: «Отказать».

— Завтра, товарищ Миндлов, приступайте к вашим обязанностям.

Миндлов одну-другую секунду стоял неподвижно. А когда почувствовал, что лопнули живые нити дружбы, скрепляющие их до этого, и осталась только щемящая, обидная боль, он запотевшими пальцами взял рапорт и вышел из кабинета.

Из-за забора виден трехэтажный дом, здание гимназии. Здесь предполагаются курсы. Иосиф открыл калитку, увидел зеленый двор и бледно улыбнулся оттого, что рядом с бурыми, состарившимися бревнами, под трепе-

щущей зеленью тополей, стоит канцелярский стол, а за столом — Арефьев.

За столом — Арефьев, и, как всегда, спокойно его продолговатое, без румянца лицо. Вокруг могут быть стены, диваны и портреты барской квартиры. Галицийская поляна, сибирская степь, белорусская халупа или казачья пыльная станица! Но если за столом сидит Арефьев, значит здесь штаб, где-то люди ждут его приказов...

А сбоку связист ведет провод полевого телефона.

— Готово, товарищ Арефьев, можете говорить!

Арефьев поднял свои холодные серые глаза. Чуть удивились они Миндлову, и, пожимая его холодную руку, спросил Арефьев:

— Вы здесь?

— Вот... Прислали в ваше распоряжение.

Арефьев неторопливо прочел рапорт Миндлова, резолюцию Розова, покачал головой и взял трубку полевого телефона.

— Ну, зачем, Георгий Павлович, не надо...

Но Арефьев уже вызвал номер.

— Алло! Кабинет начпо... Товарищ Розов? Да, Арефьев. Относительно Миндлова. Этак можно заездить лучших работников... Да, но я не согласен.

Долго и громко стрекотала телефонная трубка.

— Найдите, — настойчиво и спокойно ответил Арефьев. — Я могу подождать. Во всяком случае я не согласен.

Размеренную речь его прерывает короткий и резко слышный стрекот. Арефьев, быстро встав, вынул руку из кармана и вытянул ее по шву.

— Слушаю, — проговорил он и положил трубку. — Все, что мог, сделал, — сказал он, обернувшись к Миндлову. — Но Розова вы знаете. «Приказываю», — тут возражения, понятно, кончаются. Я тоже собирался в академию. Однако, как видите, вышло иначе...

Он коротко вздохнул. В глазах его еще теплело сочувствие, но руки уже стали ворошить бумаги, и через секунду глаза его, как всегда, холодны и зорки.

— Ну, сегодня начнут съезжаться. А нет ни помещения, ни кроватей, ни обеда. Придется вам сейчас же принять учполитчасть. Вот это — схема или там... план. Вон в том сарае можете выбрать себе стол, нужен также примерный список штата учебной части.

Арефьев склонился над столом. То, что Миндлов болен, что он сам только что хлопотал за него, сейчас для Арефьева уже не существовало. Нет ни слушателей, ни помещения, ни канцелярии, ни лекторов. Но приказ по округу есть. Но начкурсов Арефьев есть, он — точка приложения сил, он — важная пружина грандиозной армейской машины, и надо собирать вокруг себя людей, командовать ими, строить еще одну новую часть армейского здания.

Миндлов еще раз перечел пункт приказа об организации курсов:

«Укрепить военную дисциплину... Заложить фундамент политического и военного образования. За шесть месяцев определить ценность каждого политработника, переквалифицировать всех в соответствии с новыми задачами».

Коротко и сухо, но отчетливо и ясно.

Розов составлял.

Стол качается, корень дерева попал под ножку, около возятся куры и квохчут, но Миндлову уже ничто не может помешать. Он зарыл одну руку в волосы, а другой быстро пишет:

«Истмат — 48 часов.

Политэкономия — 40 часов».

А над столом Арефьева навис длинным туловищем понурый человек в поношенной синей форме Министерства народного просвещения и монотонно бубнит свое.

— Вот что, дорогой товарищ, — прерывает его Арефьев. — Вы... вы бросьте со мной заводить тяжбу. Здание это передано военному ведомству. Вот уже два года, как занятий вы не ведете.

— А музей... гм, гм... посещаемый экскурсиями... гм... являющийся некоторым образом... гм, гм... культурным центром края... гм!

— Музей мы перевезем, и... вы бросьте мне глаза отводить: у вас даже объявления не повешено, когда он открыт.

Арефьев на секунду смолк, как бы для того, чтобы дать ответить учителю. Тот медленно задвигал губами, точно пережевывал собиравшиеся слова возражения. И Арефьев, не дождавшись ответа, заговорил, словно нажимал каждым своим словом какую-то невидимую педаль:

— Товарищ! В двенадцать часов придут... красноармейцы. Они поступят в ваше... распоряжение! Они вынесут

все эти музейные коллекции, куда вы укажете! За сегодня очищена будет половина помещения!

— Я не могу, — забормотал преподаватель.— Говорите с наробразом... И притом здесь... гм... находится библиотека.

— Библиотека?.. Ее перевозить не надо. А с наробразом я буду говорить завтра. Сегодня слушатели курсов должны спать под крышей. В двенадцать придут красноармейцы... и раз вы не хотите принимать участия в переноске ваших музейных ценностей... мы перенесем их сами... но можем ' ›рушить вашу классификацию...

Задребезжал тел‹ фон.

— Да, Арефьев слушает. В двенадцать, как вчера условлено. Очень хорошо. А в четыре — кровати. Как не дают? Напишите мандат на мое имя, и я сам достану. Заеду через час. Желаю здравствовать.

Педагог повернулся и понуро пошел к зданию, в запаутиненные комнаты музея, дожидаться красноармейцев.

Глава вторая

«Село Брынское.

Матушка и Груня!

Я еду учиться. Писать мне погодите до нового адреса. Спасибо за вашу заботу обо мне. Но только больше не присылайте, потому что вам, верно, труднее, чем мне. Напишите, как засеяли и была ли помощь как семье красноармейца. А приехать я не могу, хотя и надо бы. Осенью, может, приеду.

Дяде Трофиму — зачем он, старый черт, тебя мутит всякими вредными разговорами? Ты покажи письмо, что я его понимаю, старого черта! И зачем ты ему веришь? Его побои мне нипочем, прошли, но я не забыл его тиранства над тетей Машей и ребятами. Видел Яшку. Он у нас в гарнизоне хороший красноармеец и подал в партию. Про старого черта поминает только недобрым словом.

Можешь, матушка, судить, когда родной сын об отце отзывается самым скверным словом, то какая цена словам такого человека? А ты слушаешь его мутные сплетни...

Еще, дядя Трофим, я тебе скажу, что как мы в Октябре вашу эсеровскую шайку на заводе разогнали, то не думай, что в деревне уцелеете. Доберемся и выловим.

Яшка говорит, что завод пустнлн, вернулся бы ты с повиниой; по твоей квалификации, как мастера, тебя бы взялн. Лучше, чем баб да мужиков путать.

А Груне — ты замуж не иди, матушку не слушай, поступай по своей воле. Тебе восемнадцать, пойдут ребята да хозяйство, и прощай тогда ученье и вообще жизнь...

А матушке — ты ее не уговаривай. Сама мытарилась с семнадцати, и дочке того ж? Я зиаю, ты не по злу, а по неразуменню.

Но ты, Груша, не слушай. Подожди лета — осенью поедешь ко мне в город. Ты себя цени, что ты свободиая граждаика. Свободиая граждаика! Это значит, что ежели у крестьянки (которую, заметь, ие так давно земский начальник мог выпороть) есть воля и ум, то ей полный свободный ход к учению и ко всякой работе и ко всему, что женщина иикогда не имела.

Этого еще на свете не было, чтобы была такая свобода. Это ты все пойми. Ты думай об этом. В церкву не ходи, читай кидопи, которые я послал. Верно, иа школу или исполком у вас газета идет. Ты ходи, читай и поинмай, разъясняй матушке и другнм, от этого сама лучше поймешь...

Еще иапишите мне, есть ли в волости комсомол (это обозиачает: коммуиистнческий союз молодежи). Если есть, то напишите: кто известный мне туда входит? И ты, Груня, попроснсь на их заседания. А замуж не ходн. Матушку не слушай. Это успеется, когда поучишься, найдешь сама свое дело и, как самостоятельная, полюбишь кого захочешь.

Вот мой наказ. Остаюсь ваш сын

Григорий Лобачев».

Кончил и вздохнул.

Разве письмом научишь? Надо съездить туда, вмешаться во все это н переделать, примером показать.

И какое это иеразбери-поймешь... дядя Трофим...

Все-таки большое счастье, что двенадцати лет взял его этот дядя Трофим на завод. Пусть учил он и боем и крнком, пусть десятичасовая работа иаливала тело усталостью, пусть и много еще было плохого, но ведь завод — завод, сплетающий воедино тридцать тысяч рабочих, служащих и инженеров и создавший хотя жесткий и несправедлнвый, но стройный порядок, в котором каждая маши-

на и человек делали свою работу, ведь этот громкоголосый завод очистил и обработал его, как первый жесткий резец обдирает покрытый дикой окалиной металл.

Однако пора. Перед тем как уйти, он оглядел комнату. По полу разбросаны старые газеты, тезисы и черновики его приказов по посевной — шелуха остывшей работы... Он ворошил этот хлам, на котором остались следы его почерка, нервного почерка бессонных ночей. Ему стало приятно и немного грустно. Вдруг он нагнулся и поднял одну из старых газет, всю испещренную яркокрасными расплывающимися чернильными подчеркиваниями, прорвавшуюся и залохматившуюся на сгибах, — номер «Правды» времен Десятого съезда с докладом Ленина о продналоге.

Да, посевную провел он хорошо. Соответствующее постановление записано в протоколах укома. А все потому, что на трезвый, но узкий расчет крестьян сумел он ответить не менее трезвым, но всемирно широким расчетом, выраженным на этом вот газетном листе. Ленин указал ему путь в крестьянскую душу.

Гвоздей! Лопат! Сох! В деревнях был голод на железо, — это здесь, у хребта, где целые горы железной руды! И Лобачев чертыхался и злился, злился и недоумевал, припоминая громыхающие металлом стихи поэтов Пролеткульта, которые еще недавно так ему нравились. Сейчас бы настоящего железа в деревню! Лобачев брал тем, что обещал железо, и ему, победителю в шлеме с красной звездой, верили, но верили, запоминая каждое его слово, верили потому, что чувствовали в словах его трезвый и честный практический расчет. Он почувствовал, как его точно берут на зуб, — нет, он был свой, и его слушали, даже когда, совсем осмелев, он рассказывал о замечательной машине, работающей на бензине, он-де сам видел, как здорово она работает (врал, — он никогда не видел трактора, а только читал о нем). Крестьяне слушали, скептически посмеиваясь, но крепко запоминали.

— Мы тебя любим, Григорий Игнатьевич. Главное, что полуграмоты от тебя не слышно, — сказал Лобачеву один из многочисленных его деревенских новых приятелей.

— Какой полуграмоты? — удивился Лобачев.

Собеседник в ответ засмеялся, увел разговор в сторону, и только позже сообразил Лобачев, что речь шла о политграмоте.

Это смешно, это было очень забавно и зло и точно

выражало мысли самого Лобачева, когда он, вернувшись в колею традиционной политпросветработы, почувствовал недостаточность своих пропагандистских знаний. Именно — полуграмота!

В гарнизоне шли митинги по текущему моменту, в красноармейских школах проходили строение вселенной, происхождение видов по Дарвину, смену экономических форм от первобытного коммунизма до коммунизма научного. История революционного движения, большевизм и Ленин — все это красноармейцы воспринимали с жадностью и верой.

Молодые крестьянские парни в шинелях различных цветов и фасонов, отбитых у десятка вражеских армий, нахлынувших на страну, отвоеванных так же, как отвоевана была вся земля, они жадно слушали каждого мечтателя. Воздух новой революционной справедливости хлынул по стране, люди впервые глянули вперед, туда, куда идет человечество, и старыми словами, старыми понятиями даже трудно стало измерить это наступающее счастье. Но ведь кончится срок службы, крестьянские парни вернутся домой. Слов нет, они узнали много. Их научили грамоте. Им показали вселенную. Им внушили идеи нового справедливого порядка.

Но в армейской политграмоте,— это чувствовал Лобачев, — после конца гражданской войны появилось что-то усыпительное, не зацепляющее самого главного, жизненного в сознании красноармейца. И Лобачев готов был хоть сейчас ломать и перестраивать существующую систему политработы. Но как приступить к этому делу? Он знал, что надо все приблизить к жизни. Но когда он садился за письменный стол с целью переработать программу школ политграмоты, он через некоторое время с грохотом отодвигал стул и уходил куда глаза глядят.

Однажды на губернском политсовещании он выступил и рассказал шутку крестьян о полуграмоте, раскритиковал существующую программу политшкол и выдвинул свою программу: изучать Ленина и читать газеты. Но на него в защиту программы навалили кучу цитат из циркуляров ПУРа, привели многоречивые методические разработки Главполитпросвета, а он-де «из ванны хочет выплеснуть ребенка»...

— Ребенок из нашей ванны уже вырос, — сказал Лобачев.

Его не поняли. Он не сумел выразить то, что думал И он по-новому разграфил свой день. Вставал в раннюю летнюю зарю и садился за «Капитал». Красный от смущения, пришел к преподавателю русского языка в школе второй ступени, и мелкоглазый, сухонький старик очень испугался. Он с трудом понял, чего от него хочет начальник политотдела, но, поняв, воззрился с изумлением. Лобачев отрывал полпуда муки в месяц от своего пайка, и учитель поправлял ему правописание... Все это было трудно... И вдруг телеграмма Розова, вызывающая на курсы; впервые фамилия Розова, придирчивого и властного Розова, вызвала у Лобачева чувство, похожее на любовную нежность... Он, признаться, меньше всего надеялся на свое маленькое, официальное, скорее похожее на рапорт письмо, несколько недель тому назад направленное начпуокру...

И хотя чистый, вполне пригодный для чтения экземпляр этого номера «Правды» уже запакован в связку книг, Лобачев, бережно разгладив старый газетный лист, завернул его в чистую бумагу и сунул за пазуху.

Руки его споро сложили брошюры в аккуратную стопку и накрест перевязали ее бечевкой. Передать в гарнизонную библиотеку. Только что выстиранное белье — в вещевой мешок. Поверх—одеяло с подушкой. Котелок, чайник и мыло — сверху. Браунинг — в кармане.

Вскинув вещевой мешок на плечи, он взял в руки портфель, окинул прощальным взглядом горницу, голые доски кровати, стол, с которого снята узорчатая скатертка. Да еще на стене осталась маленькая карточка Ленина. Хозяйка просила оставить. Все-таки споры-разговоры не прошли без следа.

Ухмыльнулся, закурил; и вот он быстро идет по широкой, накатанной, но еще не пыльной улице и затем по пустырю меж городом и станцией.

Вечерело. Весна растопила воздух, и сквозь его ласковую мягкость просачивались запахи лиственного тепла и травяной свежести; с зеленеющих безлесных предгорий слышен был заливистый петушиный крик и рев скотины.

Удивительно погожи были эти весенние дни. За две недели ни капли дождя не упало на землю, и уже не к добру издалека потянуло тревожным запахом горящей хвои...

Только сел Лобачев в штабной вагон, занял место и вышел покурить в коридор, как кто-то добродушно и начальственно окликнул его из соседнего купе. Он оглянулся и поднял руку к шлему: Смирнов Николай Иванович, увоенком, снисходительно и весело поглядывал карими глазами, маленькими и бойкими.

— В округ? — густо спросил он. — А зачем? А-а! Учиться! Ну что ж, это доброе дело. Ученье — свет, неученье — тьма...

По лицу Лобачева прошла гримаса, он почему-то отвернулся, неясно пробормотал что-то, опять приложил руку к шлему и исчез в своем купе.

Николай Иванович несколько смущен... Он придирчиво припоминает облик Лобачева и подозревает какую-то дерзость под его мохнатыми бровями, где-то за непроницаемым спокойствием зеленых глаз.

Поезд тронулся, подушки успокоительно и мягко качали Николая Ивановича.

Покачиваясь на мягком диване, он думал, зачем его вызывает телеграммой Гордеев. «Командировка? Или, может, повышение? — думал Смирнов и щурился в пыльное стекло вагона, мимо которого бежали какие-то пашни и березы.

Да, трудно было в девятнадцатом, когда белые совсем сжали в кольцо.

Но ничего, славно отбились. Не на чужом, на своем, кровью своей завоеванном, расположился Николай Иванович, словно, как сейчас вот, по тряской ненастной дороге доехал до спокойной станции, взял билет в скором поезде и, убаюканный рессорами и пружинами дивана, покатил полным ходом в будущее. И так же не хотелось получать новое назначение, как менять купе. Может, в другом еще лучше, но ничего, я и в этом доеду...

А приехать в округ все же было приятно. И приятна была даже легкая жуть от того, что ждет его там, за высокой дверью, в кабинете командующего.

Шагал по приемной, позвякивал шпорами, каждый раз при повороте видел себя в зеркале и улыбался. Ладного роста, широкий в плечах, в небольших карих глазах что-то мужественно-военное. Услышав свою фамилию, попра-

вил орден Красного Знамени, одернул френч и вошёл в кабинет.

Пробыл там недолго. Вышел, в зеркале опять увидел себя, но такая растерянная улыбка бродила по лицу, что в сердцах плюнул и побежал вниз по лестнице.

Вот так повышение! На курсы учиться! И сообщил это командующий, словно поздравил с днем ангела. Смирнов от неожиданности так растерялся, что позабыл воспротивиться. И, получив на документе отметку командующего: «Розов, посылаю тебе тов. Смирнова. Ему полезно будет пройти курсы», — Смирнов пошел в Пуокр.

Но по пути ярость разобрала вовсю.

— Это что, товарищ Розов, а? — спросил он, положив на стол документы.

Розов, не отвечая, писал резолюцию на его документе.

«Чертушка!» — с неприязнью и уважением думал Смирнов, шагая по кабинету и поглядывая искоса на быстрый бег пера в руке Розова.

Кончив писать, Розов через очки внимательно и даже не без интереса осмотрел Смирнова.

— По-моему, вы должны радоваться данной вам возможности учиться. Многие просятся, и я принужден отказывать. Благодаря учению вы станете более полезны партии.

— Стало быть, я мало пользы принес?

— Нет, но еще более...

— Вот. Три года с фронта на фронт. Чуть где плохо, давай Смирнова Николая. Вали на него. Добрая лошадка, вывезет!

— Ваши заслуги останутся при вас! Именно потому партия и посылает вас учиться, что рассчитывает вас сделать еще более полезным. Отправляйтесь в здание бывшей гимназии к начкурсов товарищу Арефьеву.

Смирнов с изумлением смотрит на Розова.

— Это какой же Арефьев? Губвоенком?

Смирнов прошел по кабинету.

— Так. Царскому офицеру в подчинение. Оч-чень хорошо. Мало, что всю солдатчину перед ним тянулся и опять?

— Товарищ Смирнов, Арефьев теперь не царский офицер, а коммунист, ваш товарищ. Вам у него есть чему поучиться. Через шесть месяцев вы опять пойдете на работу. А сейчас берите документы и отправляйтесь.

По пути в гимназию купил Смирнов газету.

Вошел на широкий двор курсов. Один стол пуст, за другим — Миндлов.

— Вот учиться к вам прислали, товарищ Миндлов...— медово-ехидным голосом сказал он. — Где прикажете поместиться?

Миндлов поднял на него отсутствующий, затуманенный взгляд, его мысли поглощены разработкой программы, учебного плана...

— А... здравствуйте, Николай Иванович! Вы, значит, первый? Пока подождите здесь, на дворе. К вечеру комнаты вымоют, и вы поставите себе койку.

— Гм... На траве? Так что же, можно и на траве.

И Смирнов сел на бревна, на самый солнцепек, как бы поджаривая свою ярость.

Засаленный и мятый бродяжка неопределенных лет, из тех, что слоняются по вокзалам, донес зеленый сундучок Кононова до ворот курсов.

Кононов, приподнял левой рукой сундучок, поморщился; правый, пустой рукав заткнут за пояс.

На зеленом дворе курсов сновали тусклые, защитного цвета френчи и травянистые гимнастерки. У Кононова болезненно-темное, длинное лицо, на желтых щеках темные точки, точно металл на всю жизнь въелся в кожу. Тих и неприметен Кононов в своей серой шинели и в кепи английского образца, на котором едва заметна маленькая звездочка, проржавевшая, бурая. Миндлов обратил внимание на то, что этот сутулый человек как-то неуклюже, неловко показывает свои документы, но не поднял на него глаз. Отметив Кононова, Миндлов снова погрузился в разработку программы. Через минуту он почувствовал, что этот сутулый не уходит, и вдруг услышал глуховатый голос:

— Значит, не признаешь?

Миндлов поднял глаза.

— Ты!.. — воскликнул он, вскакивая и опрокидывая стул. — Ты!.. Откуда? Ну и перевернуло тебя!

— А все же признал, — ответил Кононов.

Улыбаясь, Миндлов протянул ему руку. Кононов снова как-то неловко протянул свою, левую, и Миндлов

понял, почему так неловко Кононов показывал свои бумаги, — правый рукав его был пуст.

— Ах, Кононов, Кононов... — с нежной жалостью сказал Миндлов.

Миндлов жалел его, а Кононов посмеивался, пошучивал, как бы давая понять, что на этот тон жалости переходить не намерен. При всех тех разрушениях, которые на облике его оставила война, он был прежний, каким его помнил Миндлов, и, несмотря на то, что потерял руку, он возмужал и определился.

В Петербурге встретиться им пришлось только один раз. Но им обоим очень запомнился этот вечер, перешедший в прохладную белую ночь, когда они вместе выступали в железнодорожном депо. Миндлова прислали из городского комитета партии, а Кононов случился здесь же, потому что работал на соседнем заводе. Они вдвоем здорово «расклевали» меньшевиков, как тогда выразился один из железнодорожников, и провели на митинге большевистскую резолюцию. Митинг кончился поздно, трамвай уже не работал, и они пешком возвращались через весь город. Они шли мимо многоэтажных кварталов, молчаливых и загадочных; ни души не было на улицах! А потом вдруг услышали пение; звук доносился как будто из-под земли, и они даже свернули в сторону, чтобы пройти мимо этих открытых окон подвального этажа.

С улицы казалось, что там, в подвале, темно, но там, как всегда в белые ночи, наверное, господствовал белесый, бессильный, рассеянный свет. По голосам было слышно, что собралась там молодежь, и пели они новые, революционные песни. Миндлов сказал тогда, что молчащие, точно что-то затаившие, кварталы города как будто бы высказали вдруг этими песнями свою заветную мысль... и Кононов согласился с Миндловым. Тогда они с полуслова понимали друг друга и о чем только не переговорили в ту ночь! Ленин незадолго перед тем вернулся в Россию, и слова его сразу осветили всю огромную страну.

Кононову хотелось поговорить сейчас с Миндловым о том незабываемом времени. Но Миндлов торопливо склонился над своими бумагами, и Кононов отошел прочь.

А на зеленом дворе то и дело вспыхивали встречи соседей по полкам, бригадам и дивизиям, участников

одиих и тех же боевых операций, зиакомцев по армейским съездам. Коионов ходил и покуривал. Во время граждаиской был ои в другой армии, а когда из-за тяжелого раиеиия отстал от своей армии, то после госпиталя получил в округе иазиачеиие комиссаром полка в дальиий глухой уезд. Неловко левой рукой держать папиросу, за год не привык еще обходиться без правой. Слушал Коионов разговоры, порой улыбался, а порой хмурился. Рассматривал лица: под мягким и ласковым светом майского солица движеиия морщии, блеск глаз и улыбки внятио говорили о мыслях и чувствах, пожалуй, правдивей слов.

Самая большая и шумиая группа собралась иа бревнах. Коиоиов подошел туда, и в одио время с иим, только что приехавший кореиастый, с большим лбом и мохиатыми бровями, крепыш, тоже поздоровался, приложил руку к шлему. Коиоиов подошел тихо, сзади, и его иикто ие увидел, а крепыша заметили сразу; говор замолк, и иесколько пар глаз стали с иитересом рассматривать его. А он скинул с плеч вещевой мешок и рядом с иим повалился иа теплую землю сам. Около, сидя на земле, переобувался белоголовый человек. Ои поднял пухлое и бледиое лицо. Пристальио вглядываясь, они враз протянули руки друг другу.

— Второй дивизии? — высоким и звоиким, как у девушки, голосом спросил переобувавшийся.

— Мгм... Вы в иашем отделе снабжения служили. Ваша фамилия?..

— Поиюшков. А вы будете Лобачев, из третьей. Особого батальоиа.

— Мгм...

— Вот, товарищ Лобачев, вместе учиться будем, — сказал Смириов.

Сидит Николай Иваиович на бревиах, ворот расстегнут, в малеиьких смышлеиых глазах обида: «Колчака били, иеучеиы были...»

Осаиистый, крупный человек, с ордеиом Красного Знамеии иа вылиивявшей от частой стирки, но еще чуть зелеиой гимиастерке, услышав эти слова, укоризненио покачал круглой головой и, нагиувшись, подиял с земли большую щепу. Это был комиссар партизанской бригады Шалавии. Его поросшее щетиной лицо, с крупиым носом, большими губами и выпуклыми, блестящими глазами иапомииало морду доброго и настороженного лося.

Продолжая слушать раздраженную речь Смирнова и неодобрительно покачивая головой, он не спеша вынул из вместительного кармана финский нож и стал быстро и ловко стругать щепу.

Кононов с удовольствием рассматривал его.

— ...Задумано ловко, что и говорить. Курсы! Нет, товарищи, не курсами здесь пахнет... Хотят в какую-то дальнюю окраину перекинуть... в Туркестан. Так просто им труднее — каждого вытягивай...

Черноусый, уже пожилой человек негромко и медленно произнес эти слова.

Кононов быстро повернулся к нему. Он не любил спорить, но сейчас готов был вмешаться, однако Шалавин, большой, похожий на лося человек, отложил недоструганную щепу, окинул сказавшего эти слова зорким и молодым взглядом серых, с синевой глаз и спросил тихим и как бы ласковым голосом:

— Задержись, Дегтярев... Кому это — им?

Дегтярев замолчал и сразу опустил темные глаза. Кононов так и не успел поймать их выражение. Очевидно, подыскивая ответ Шалавину, Дегтярев стоял, не поднимая глаз, и ни одно живое движение не проходило по его пожухлому, тускложелтому лицу. Лицо Дегтярева было бы даже красиво — черные усы и брови, нос с маленькой горбинкой, — если бы не какая-то пленка прозрачного льда, как бы заморозившая лицо; рот прямой, тонкогубый; что-то нечеловеческое было в его скаредном складе... Кононов не сводил с него взгляда. Видел ли он этого человека ранее? Или он с кем-то схож? С кем-то чужим и враждебным?

— Да ты сам посуди, Дмитрий Лукич, — глядя снизу вверх на Шалавина, сказал Смирнов, — ведь это же срам... Ну, взять тебя: человек ты пожилой, почтенный, заслуженный... кто в армии Шалавина не знает... Или же меня, — он скромно откашлялся. — И вот снимают... Зачем? Куда?

— Я сам сюда просился и рад, что меня взяли... — ответил Шалавин.

— Опять же, собрали, как на пожар, а ничего не готово. Курсы, курсы... А где спать сегодня будем? — Понюшков обращался к Лобачеву. Его глаза тонули в припухлых впадинах и из-за широких скул поглядывали хитро и бойко, как лавочники из-за прилавка.

Лобачев отвел от него взгляд; неприятно было смотреть на это въедливое лицо. Сам подумал, что, верно, получилась неувязка: собрали, как на пожар, а ничего не готово. Но соглашаться с Понюшковым не хотелось, и он возразил насмешливо и грубо:

— Где спать? А где сидишь, там и ляжешь.

— Все-таки мы на фронте страдали...

Лобачев недовольно поморщился. Едва ли этому пухлявому Понюшкову приходилось, как однажды пришлось Лобачеву, после трехсуточного бессонного перехода под дождем и без шинели свалиться в холодную ноябрьскую грязь и проснуться в хрустящей льдинке и отдирать от земли налитый тяжестью, пробитый плевритом, бок... Лобачев кашлянул, пробурчал что-то и круто повернулся спиной к Понюшкову. Люди почувствовали, что не сходятся между собой в чем-то самом главном, и разговор разом потух.

Говорить больше не хотелось, и люди разошлись. Последним отошел Кононов — курить и раздумывать о слышанном и о людях, спорививших между собою.

Кононов приметил Лобачева и Шалавина, — эти люди ему понравились. Еще находясь в госпитале, он слышал о Смирнове, — это был герой здешних мест, партизан. Но Смирнов сейчас не понравился Кононову. Понюшков — так, ерунда человечишко. Но вот Дегтярев... Как он сказал это «им», выговорил, как чужой...

Кононов ходил по двору, курил и раздумывал.

Лобачев, прищурившись в полудремоте, следил за жизнью двора. Калитка поминутно хлопала, прибывали все новые комиссары... Красноармейцы с веселым грохотом таскали из здания какие-то ящики. Ворота отворились. Человек высокого роста, в летней военной форме и с командирскими значками различия на рукаве, нагнулся и поднял подворотню. На заросший двор неказистая лошаденка втянула походную кухню. За ней показалась подвода с провиантом.

— Это и есть сам Арефьев, — почтительно и недоброжелательно сказал Понюшков, показывая на высокого человека, который сам сейчас закладывал подворотню и притворял ворота; проделывал он все это неторопливо, основательно, и в каждом его движении сказывалась военная выправка.

«Пожалуй, с таким начальником курсов не пропадешь», — подумал Лобачев.

— А ну, глянь-ка, друг, на мою работу... — сказал Лобачеву Шалавин, который остался сидеть на бревнах, — он протягивал Лобачеву грубую, но ладную, только что выстроганную ложку. — Какова работа? Как из машины? А?

Лобачев посмотрел в синие глаза Шалавина, — они искрились наивным и веселым самодовольством. Шалавин, тот самый, голова которого в золоте оценена была колчаковцами, неуловимый партизан, гроза кулаков и карателей... этот простой и ласковый старик...

А Шалавин словоохотливо рассказывал, что ложки научился он делать, когда был в лесорубах на быстрых сплавных речках, сбегающих с хребта.

— Громов! Захарка!

— Гриша!

— Вот это да! Хо-хо!

Поцеловались. И потом, во время крепкого и долгого рукопожатия, бегло оглядывали друг друга, и радость свидания мешала заметить перемены. Не виделись с восемнадцатого, когда московские заводы послали отборных людей на фронт, чтобы откаленная рабочая воля выправила дыбящиеся крестьянские полки.

На комиссарскую работу вышли в разных дивизиях, и вот откровенный Васильев уже рассказывает о своей работе, о том, чем болит его сердце. Звонок и чист его московский широкий говор.

— В полку, считай, две тысячи. Все крестьяне. Коммунистов по пальцам — десять, только вступили. Учить их надо, верно? Я так радовался, когда сюда прислали... верно.

Он, правда, радовался. Но было и другое, о чем не хотелось говорить. Жалко все-таки было отдавать в чужие руки какую ни есть, пусть с ошибками, но свою работу. И эта жалость сказывалась в голосе, она как бы стояла за словами и бросала на них свою тень.

Громов молчал. Васильев ждал его слов. Но, когда молчание затянулось, почувствовал Васильев, что этим молчанием Громов точно спорит с ним. Васильев оглядел лицо товарища: оно большое, все в крупных рябинах и

точно налито темной, тяжелой силой. И, помолчав, Громов сказал:

— А я смотрю, извелся ты, Гриша. Тебе бы полечиться.

— Не выходит, — вздохнул Васильев. — Надо бы, а не выходит. У меня ранение здесь, пуля чуть пониже сердца прошла... Сверху глядеть — ничего, целый, а трещина есть.

Стройный и тонкий, как лозина, он чуть сутулится, ласковая и дрожащая, точно извиняющаяся, улыбка пробежала по лицу, а на щеках расцвели пятна багрового румянца. Но еще улыбка на лице, а синие глаза его уже опять с интересом, настороженным и умным, оглядели Громова.

— На кумыс бы тебе надо, Гриша. У меня там, — и Громов махнул на юг, — инжбат[1] мой в Степном уезде, целое лето простояли. Щеки вот — нагуляли.

— Да ты что думаешь, что я уже совсем инвалид?.. Учиться надо. А вот после учения возьму отпуск и... в Москву мечтаю съездить....

У Громова лицо еще больше потяжелело, и он опустил его ниже.

— Ездил я прошлую осень... — сказал он глухо.

— Ездил? — быстро переспросил Васильев. — Ну и как?

— Стариков твоих видел, о тебе спрашивали, но я им ничего подробно рассказать не мог. Ты что ж им не пишешь? Загордился, как в комиссары вышел?

Можно было подумать, что это шутка... Но почему тогда так печальны глаза Громова и так глух его голос?

— Как не пишу? Я пишу. Да ты скажи...

— А что ж говорить, — глядя в землю, ответил Громов. — Что здесь, то и там — везде все одинаковое.

Непонятное, унылое злорадство слышно в его голосе, и вдруг Васильеву вспомнился какой-то митинг среди замолкших машин и такое же злорадство в словах врага меньшевика... Но это ведь Громов Захар, кузнец, старый друг, это он сейчас стоит перед ним, бессильно опустив свои тяжелые, с надувшимися жилами руки, а кругом говор и шум зеленого двора, грохот перетаскиваемых ящиков, и дымком первого курсового обеда потянуло от

[1] Инжбат — инженерный батальон.

походной кухни... Курсы, учение, — из всего, что дала революцня, это благо было самым радостным.

— Ты что же, разочаровался? — осторожио спросил Васнльев.

Громов тяжело и медлеино повел головой, потом вдруг, в первый раз за все время разговора, подиял ее и показал глаза, налнтые тусклой тоской.

— Эх, Грнша! — сказал ои с снлой. — Отчего мы все делаем так леннво? И почему бы не иавалнться нам всем разом, как в Октябре, всей громадой пролетарской, ведь все бы переделалн! Но иет...

Он передохнул, и румяиец вспыхнул иа его щеках, как яркое пламя в углях. Он как бы нскал слов и не находил, нскал слов, чтоб выразить эту мысль, которую вот уже несколько месяцев носнл в себе, — это желанне свою жнзнь, как полено, бросить в огонь революцни, лншь бы горел ои дольше. Искал ои слов, чтобы сказать об этом, но ие иашел. И вот как бы упал вспыхнувшнй в нем пламень, и, когда нашел слова, были это другне слова, гасиущне н горькне, как углн в выстывающем горне.

Васнльев начал было возражать, но Громов круто прервал его:

— Ну, мамаша твоя, как полагается, всплакнула. Но старнк — орел. Все выспрашивал, как, мол, белые н Антаита. Попрежнему ои защнтннк Советов, но н выпнвает попрежнему... И мнлку твою вндел, — с лукавым смешком добавил Громов, — помннщь, как ехалн на фронт, ты ей все пнсьма розовые опускал в каждый ящик? Теперь, верно, не пншешь?

— Разошлнсь как-то... — краснея, сказал Васильев. — Ну, а она-то что? Верио, замуж вышла?

— Как я там был, так сватал ее подмастер...

— Это какой же? Архнпов?

— Не... Новый. Из Пнтера приехал. Ничего, парень толковый, хвалят его.

— Ну-ну...

И начался легкнй разговор о заводской жнзни, о гуляиках, на которых веселилнсь вместе, о девушках н ребятах, н прнятио было ворошнть тот сложиый узел человеческнх жнзией, который завязывает вокруг себя безостаиовочная работа быстрых заводских машии.

Бывает так: усталый боец не может подняться после отдыха, — стонут ступни, ломит колени... Встать невозможно.

Но в ротах бьют барабаны, вокруг снимают палатки, едкий дым плывет по траве от гаснущих, залитых водою костров, и звонок приказ командира.

Встать надо.

Встаешь, завертываешь ногу в обмотку, берешь винтовку, идешь дальше. Длится поход, размяты опухшие ступни, идешь уже в ногу. Далеко впереди то покажется, то снова скроется за головами и спинами товарищей красное знамя; оттуда взвивается песня, ты подхватываешь ее напев, такой знакомый, много раз слышанный, ее кумачовые слова всегда будят самое лучшее, что есть в душе.

Так и Миндлов. Казалось ему, упадет в первый час, а вот миновал уже день, первый день работы, и только к полночи, сдав Арефьеву готовую программу и досказав ему то, что не умещали рамки официального стиля программы, он вышел во двор. Ветер шел по вершинам тополей, они шелестели, словно прерывисто вздыхая,—так вздыхают от радости. И Миндлов впервые за весь день вспомнил, что произошло с ним сегодня: свидание с женой отодвинулось в далекое будущее. Обида на друга встала перед ним, заслоняя жизнь. Но ни о том, ни о другом он не хотел сейчас думать и направился в синюю тень тополей, туда, где видны огоньки папирос, где слышен смех, шутки и говор. Никому не видимый в темноте, он с облегчением, забыв о себе, погрузился в эту бурную жизнь и с интересом слушал сразу несколько разговоров. Боевые воспоминания, политработа в полку, опасенье за урожай, незамысловатая шутка... Вдруг он услышал твердый, видимо привыкший к выступлениям на собраниях, ласково-насмешливый голос:

— И как это у тебя, товарищ Коваль, все быстро! А ты возьми хотя бы инструмент: ведь он разный, даже для выделки одной вещи. Ну, вот столяр. Сначала топором рубит, обчищает. Потом топор отложил, отмерил до миллиметра точно, отпилил. Видишь, пила — уже другой инструмент. Потом и пилу отложил, рубанком прошел, опять отмерь, разочти. А потом уже самая тонкость — и стамеска, и долото, и все примеряй, отсчитывай. Так и

здесь. Сначала топором. Руби по-старому со всего размаху, да так, чтобы щепки летели. И вот оно рухнуло, — срубили. Теперь топор отложи, настало время для других инструментов, потоньше. Дело от войны перешло к хозяйству. От войны — к хозяйству.

Спокойную речь его прервал быстрый украинский говор Коваля:

— Э, товарищ Лобачев, ты не уклоняй в сторону, я ж не спорю, что к хозяйству, но ты же сам трудовой армии. Вот и выходит...

— Мы теперь точно знаем, что из трудовой армии выходит, — вставил слово со стороны дребезжащий, старческий голос, и Миндлов узнал знаменитого комиссара бригады, впоследствии назначенного председателем ревтрибунала армии, а последнее время — по старости и болезни — комиссара эвакопункта, старого большевика Злыднева. — Что ты — трудовая да трудовая! Трудовой дров нарубить, пути очистить, зерно нагрузить — это можно, но металлургического завода военной силой не пустить.

— Правильно, — поддержал Лобачев. — Опять же ты о мужике не забывай. «Если бы не он...» Зачем нам придумывать фантазии? Вот, когда восстание подавляли, у них обозначился лозунг: «Да здравствует Ленин и свободная торговля!»

В кучке, слушавшей разговор, засмеялись.

— Это ихняя глупость и темнота, — сказал писклявый и сладкий голос Понюшкова.

— То-то вы светлые какие, — волнуясь и злобясь, отвечал Лобачев. — А ты войди в его положение...

— Что ж я буду в кулацкое положение входить? — вставил Коваль и тут же рассыпал целую кучу бродяжьих прибауток о деревне.

Против того, чтоб всех крестьян обзывать кулаками, запротестовал комиссар полка Гладких, по-сибирски крепко накатывая слова. Дребезжащий голос Злыднева вставил что-то о профсоюзной дискуссии, и Лобачев, на минуту сбившийся, опять заговорил. Слушать его было интересно. Он легко перекидывал мостик между своим опытом и словами вождей. Миндлов чувствовал приятную бодрость в голосе этого человека, и ему захотелось его разглядеть.

Он прнвычно поправил пенсне, блнже подошел к кучке н увндел: круглая, брнтая голова, на лице отросшая щетинка, твердые губы, густые бровн...

Подошло еще несколько человек. Онн влнли в разговор веселые шуткн, ласковую перебранку...

Лобачев замолчал, сунул руки в карманы н, посмеиваясь, стал слушать веселый разговор. Миндлов отозвал его в сторону:

— Вот, товарнщ Лобачев, какая штука. Приехали-то вы учиться, а, пожалуй, вам придется учить. У нас в группах, на которые будут разбиты слушателн, должны быть руководители, тоже нз слушателей, но пограмотней, они будут объяснять непонятное, прорабатывать со своей группой лекции... Вы как?

Лобачев молчал.

— Так что ж, я против этого не возражаю. Когда сам учишь, так это лучшее ученье.

— А чувствуете себя в снлах?

Опять помолчал Лобачев, дымя цыгаркой.

— Трудно мне будет, верно. Достанете лучшего — хорошо. А я народ уже посмотрел, так считаю, что не достанете...

— Посылалн тех, кто больше всего нуждается в ученье, — сказал Мнндлов. — Ведь цель курсов...

— Это мне все понятно, — прервал его Лобачев. — Конечно, если вам моя помощь нужна, так я со всей охотой.

— Значит, договорилнсь. Верно?

— Верно.

Мнндлов ушел. Оставшись один, Лобачев присел на скамью. Табачным дымом глушил вечерний голод, поднимавшийся нз глубины желудка. Голова, наработавшаяся за день, вяло перебирала простые мысли о том, что обед был голодный, что ежели такие обеды, то трудно будет учиться, что надо нтди спать.

Но очень уж радостна и приветлива была майская ночь, быстрым бегом темных облаков прикрывавшая и вновь открывавшая немногие звезды. Шелестом тополей, медовым запахом их цветения она будила чуть ощутимое, как начинающийся голод, чувство: день точно не кончен, точно еще что-то должен был дать, н вот не дал... Папнроса потухла. Надо нтди спать.

Четвертый день Арефьев строит курсы.

Его ровную и легкую поступь, его деловой, холодный взгляд знают уже и продком, и комхоз [1] и снабокр [2]. Дни без остатка берет работа. Да и ночами, когда прохладный сон без видений овевал спокойную голову Арефьева, все же где-то в дремлющем мозгу шла приглушенная работа, и по утрам, открывая глаза, сразу ощущал он в себе отчетливый план и приказ на целый день.

Но вот из классов вынесены запыленные парты, вымыт пол и поставлены в чинном воинском порядке койки и столики. Веселые печники вмазали котлы в заброшенной кухне, а в одноэтажном домике во дворе, где раньше жил директор гимназии, разбил Арефьев канцелярию курсов, поселил там штат и поселился сам.

И сейчас, на пятое утро, Арефьев, пробужденный рокотом барабана, бившего утреннюю зорю, встал не сразу. Он лежал в свежем белье, без следов сна на лице, заложив руки за голову. Мысли шли одна за другой, и он неосознанно улыбался им.

Сегодня впервые Арефьев почувствовал, что курсы уже существуют. Курсанты, съехавшиеся со всего округа; кирпичное здание гимназии; койки; изрезанные парты; начканц Лакрицын, краснорожий проныра, сутулые писаря; начхоз, на любой случай подозрительно кривящий желто-розовое лицо; походная кухня и повар-мадьяр, бывший пленный, обжившийся в России; каптерка, в которой завелся рыжий каптенармус; Миндлов со своими книгами и программами; начстрой, звонкий голос которого сейчас доносится со двора, — все это сшито и пригнано одно к другому могучей волей и крепкой рукой Арефьева, и все это называется: окружные шестимесячные курсы политсостава Красной Армии.

Утих барабан за окном, и, ранее приглушенный им, многоголосый шум прорезается пронзительно-звонким голосом начстроя:

— Стано-и-и-сь!.. Второй взвод! Пре-кратить хождение, товарищи!

---

[1] Комхоз — отдел коммунального хозяйства.

[2] Снабокр — отдел снабжения округа.

Начались строевые занятия. И Арефьев сейчас, как шофер, который, после долгой возни пустив мотор, с удовольствием слушает его могучий клекот и все же настороженно ловит изменчивые колебания ритма и раньше, чем положить спокойные пальцы на холодный круг руля и дать машине осторожную малую скорость, он долго еще регулирует его до тех пор, пока мотор не польет ровные, как прошив пулемета, звуки.

Да, мотор еще не отрегулирован. Надо встать и самому пустить строевые занятия.

Раньше, чем выйти, он оглядел свою чистую, как келья, комнату кажущуюся, несмотря на мебель, пустой... На днях приедет жена Наташа и наполнит все привычным запахом духов, обычными радостями и ссорами. Но о ссорах не хочется думать.

Хорошо будет после работы слушать, как лепечет она о предметах, для него мелких и незначительных, и, не вникая в слова, следить за ее любимыми и легкими движениями.

Но эти разговоры о пайке, о том, что «ты ответственный и все можешь, но не хочешь позаботиться»... Он поморщился и вышел.

Было свежее весеннее утро. На зеленом дворе строилась и вот уже несколько минут не могла построиться разноголосая шеренга. Правофланговые, большие и рослые люди, были почему-то спокойнее, и взводный первого взвода, громадного роста, бледный латыш Озол, немного болезненный, как большинство слишком рослых людей, поставив свой взвод по ранжиру, стал рядом со своим правофланговым Шалавиным, который казался невысоким рядом с громадным латышом.

Второй и третий становились плохо, и звонкий, подогнанный к команде голос начстроя все время направлялся туда. Но вот на дворе показался Арефьев. По росту пригнано обмундирование, и обмотки ровной спиралью охватили ногу. Похоже, что эта одежда — часть его самого; видно, что ему в ней свободно и легко, как ни в какой иной. Арефьев был молчаливым призывом к воинскому порядку, и шум заметно стал утихать.

Несмотря на старания начстроя и взводных, строй был изогнут в середине и, как лук, загибался к концам. Френчи и гимнастерки всех цветов и оттенков, у одних совсем не стянутые поясами, у других перекрещенные

с плеча ремешками; солдатская фуражка, красноармейские шлемы, различных оттенков зеленого цвета, зимние и летние, бархатный «пирожок» летчика и даже трепаная матросская бескозырка со звездочкой — все это придавало шеренге диковинный вид и заставляло Арефьева морщиться. Так морщится музыкант, услышав пронзительно фальшивую ноту.

Арефьев подался вперед.

— Внимание-е-е!.. — залился начстрой. — Равнение на среди-и-ну!

— Здравствуйте, товарищи!

Ответили недружно.

Арефьев еще раз оглядел шеренгу. Двести глаз смотрели на него. Сто человек стояли по воинскому уставу — руки по швам — и этим безмолвно отдавали себя в его власть. Это знакомое за долгую военную работу, много раз испытанное ощущение сейчас было особенно радостно. Перед ним стояли не рядовые красноармейцы, а цвет политсостава округа, люди, о которых рассказывали легенды. Но не о боевых подвигах этих людей взволнованно подумал сейчас Арефьев. Другие дела вспомнились ему. Вон на фланге второго взвода, вытянувшись, стоит Васильев, и лихорадочный румянец горит на его щеках. Когда он прибыл в армию, его сразу же пришлось послать комиссаром в такой полк, где не было ни одного коммуниста, и полк, еще не вступив в бой, бесславно таял, подтачиваемый дезертирством. И этот молодой, двадцатидвухлетний коммунист с московского завода, вскоре после приезда в полк нашел там своих людей, коммунистов по взглядам, но еще не оформивших своих убеждений, и не только среди рабочих и сельской бедноты, но даже из военспецов. Осмотрительно и верно подбирал он партийную ячейку полка, и с каждым новым выданным партбилетом полк становился все крепче. Прошло еще некоторое время, и с помощью коммунистов нащупал он в полку шептуна из эсеров и разоблачил его. Сначала он сам вел пропагандистскую работу в полку, а потом втянул в нее весь им же сформированный политсостав полка и даже многих командиров. Дезертирство прекратилось, полк переродился. Он выступил на фронт и покрыл славой свое молодое знамя.

Вот о таких подвигах, мало кому известных, думал сейчас Арефьев. Ведь здесь в строю стояли старые боль-

шевики Шалавин и Злыднев; в тылу у белых, по рудникам и заводам, по лесным просекам и глухим деревням, собирали они свои партизанские бригады. Герасименко привел конный эскадрон, составленный из украинских переселенцев, жителей далеких степей, казак Дударев, отбиваясь от дутовцев, прорвался со своей казачьей сотней. Хазибеков собрал «мусульманский» отряд татар, башкир и казахов. Так создался знаменитый кавалерийский полк имени Емельяна Пугачева.

Вон комиссар бронепоезда Медовой. Свою остренькую бородку отрастил он, по совету Арефьева, чтобы казаться постарше. Нелегко ему было справляться с матросской вольницей, составлявшей экипаж бронепоезда, но ничего, управился. Вон крепко стоит коренастый Лобачев — с места не сдвинешь. Вон черноглазый, курчавый Левинсон впился юношеским горячечным взглядом: «Командуй, веди!» — «Да, я поведу, я знаю, куда вас вести», — подумал в ответ Арефьев, и мысль эта сопровождалась обуздывающим и ровным ощущением ответственности за каждое слово и действие.

— Товарищи, вы всю войну находились на передовых постах армии и сами должны бы знать, что это не дело — выходить на строевое занятие в ремнях и с наганами, как это сделали некоторые. А вот товарищ Смирнов так даже шашку надел. Мы знаем, эта шашка — почетный знак заслуги перед революцией. Но у нас не ночной сбор комроты, когда каждый хватает какое попало оружие. У нас строевые занятия дисциплинированной части. Мой приказ: сейчас же немедленно снять ремни и оружие!

Арефьев замолчал и ждал распорядительной команды начстроя. Но тот растерялся. Ладный, туго затянутый поясом, похожий на тех примерных солдат, каких рисовали для показа формы в царском строевом уставе, и такие же у него, точно прилипшие к розовому миловидному лицу, черные усики, он то глядел на Арефьева, то на шеренгу. Он еще не освоился с ролью командира над этими комиссарами, в ежовых рукавицах которых он был всю гражданскую войну, не ожидал, что Арефьев так круто натянет вожжи. И приструненный, он оробел перед этими нахрапистыми и крепкими ребятами.

Строй молчал. Двести глаз смотрели на Арефьева. И хотя недвижны лица, знал Арефьев, что у некоторых

курсантов защевелилось сопротивление приказу. Это сопротивление с каждой минутой все нарастало, и вот раздался хриплый басок Смирнова:

— Это как же понимать, товарищ Арефьев? Выходит, вы нас разжаловали от наших званий и заслуг?

— Не разговаривать в строю! — запоздало закричал начстрой.

— Товарищ Смирнов, три шага вперед! — скомандовал коротко весь пружиной напрягшийся Арефьев.

Смирнов пошевелился и опять застыл на месте.

«Это мне — командовать? Не выйду. Не выйти? Но ведь команда была. Не выйти нельзя...»

«Не выйдет? Нет, должен выйти. Должен».

И Арефьев наливается тяжестью, как сжимающийся для удара кулак.

Смирнов тяжело, с нарочитой развалкой, двинулся вперед. Жидким солнцем налился и блеснул золотой темляк его шашки.

— Только из уважения к вашим заслугам не отправил я вас на гауптвахту, товарищ Смирнов. А за нарушение устава надо б отправить. Но всякого, кто такое... повторит... я немедленно арестую. Вас же я вывел из строя, чтобы вы могли говорить, не нарушая устава. Говорите!

Смирнов откашлялся и заговорил. Он заговорил о том, что «это к старому режиму обратно ползет», что он знает строй и все товарищи — заслуженные на фронтах... «Сами учили красноармейцев!» Говорил с запинкой и неуверенной хрипотцой, под внимательным и спокойным, как луч прожектора, взглядом Арефьева. Он чувствовал, что, подчинившись команде, он сдал и был бит. И это же понимал Арефьев. Он спокойно торжествовал. Смирнов сейчас рисовался ему в образе партизанского горячего вояки, неразумно бросившем нестройную лаву своего негодования на непреклонные заграждения его, арефьевской, дисциплинированной стойкости, и то, что сейчас, запинаясь, бормотал Смирнов, было уже не продолжением наступления, а мало удачным прикрытием беспорядочного отступления. В моменты умственного и волевого напряжения Арефьев начинал всегда мыслить такими военными образами; они придавали мысли особенную силу, напор и четкость. И безжалостно доведя Смирнова до того, что тот оборвал речь на

хриплом полуслове и конфузливом откашливании, Арефьев спокойно и стремительно начал:

— Доводилось такие речи слышать в восемнадцатом, когда мы с великими трудами строили нашу армию. Но мы не слушали и строили дисциплинированную армию и каленым железом выжигали анархию. Поэтому, прежде всего, надо закалить комиссарский состав. Это мы делаем и будем делать. Плох командир, который в любой момент не может превратиться в дисциплинированного рядового бойца. Вы, Смирнов, это не умеете, сегодняшние строевые занятия показали. Больше этого у нас не будет.

Теперь о заслугах.

Заслуга — право на большую работу. А у нас не бывало, чтобы не хватало работы. Заслуги каждого остаются при нем. На шесть месяцев мы вас превращаем в рядовых красноармейцев, чтобы потом вы сами умели командовать. Так постановлено. Отдан приказ. И этот приказ я буду выполнять.

Арефьев все время был неподвижен, чуть покачивая вперед и назад свое стройное, высокое тело, он держал руки по швам. И только в такт последним словам несколько раз поднял кулак и опустил легко и быстро, словно заколачивал гвоздь.

— Снять ремни и оружие! — скомандовал спец.

В три окна канцелярии тремя ослепительными и жаркими столбцами вошло солнце и разворошило запахи сургуча и чернил. Щелкала машинка, шуршала бумага, гудели голоса курсантов, гуськом ставших в очередь к начхозову столу.

— Распишитесь! — говорил начхоз каждому, и толстым желтым пальцем тыкал в ведомость, после чего, старательно рассмотрев подпись, протягивал пайковую карточку.

Коваль — шестой в череду. Мутит его досада от того, что приходится так долго стоять в очереди. Не нравилось ему все, что происходило на курсах. Зачем командующий, который как будто бы всегда ценил его, вдруг вызвал телеграммой в округ и с собственноручной запиской послал на эти курсы, которые Коваль от души считал для себя необязательными? И это в то время, когда

для чекиста-продотрядчика, как с гордостью именовал себя Коваль, еще было в стране столько работы! Не перевелись еще и бандитские батьки и белогвардейцы, заговорщики и спекулянты, мешочники. Коваль без лишней похвальбы имел право считать, что выслеживать эту нечисть, бить ее и брать в плен он не только сам выучился, но еще и кого другого мог бы поучить из курсового начальства: и заучившегося «скубента» Миндлова и службиста Арефьева, от которого, как там ни верти, а тянет дворянским духом.

Очередь движется медленно. Начхоз рассматривает стремительную подпись Коваля, состоящую из одной буквы «К» с длинным хвостом.

— И к чему, товарищ начхоз, эта формалистика? — спрашивает Коваль. — Расписка, подписка... Я ж комиссар продотряда, через мои руки за революционные годы тысячи пудов хлеба прошло, и ни жмени зерна к рукам не прилипло. Неужели же я второй раз за карточкой приду?

Начхоз свои недоверчивые линюче-голубые глаза упирает в Коваля. Тот отвечает ему взглядом своих зеленоватых и прозрачных, как колодезная вода, глаз. Пот струится из-под начхозовской фуражки, высокой тульей похожей на камфорку самовара. Начхоз вытер клетчатым платком лоб и язвительно спросил:

— А я откуда вас знаю, что вы за второй не придете? А вдруг придете? Кто в накладе? Я в накладе? Государство наше в накладе. То-то... Распишитесь, товарищ! Вот кто в накладе, да.

Ковалю не хочется дальше спорить. Он с насмешкой оглядел начхоза и подумал: «Вор, чужак, не иначе... Не попал еще нам, — попадешься».

Откуда знать Ковалю, что в дни германской войны этого начхоза, тогда каптенармуса пехотного полка из зажиточных и грамотных сибиряков, его, так скромно и достойно носившего унтер-офицерские лычки, ни за что ни про что велел высечь самодур-генерал. И потому с февраля семнадцатого туда, где нет царских самодуров, к тем, кто их бьет, стало быть, к большевикам, пошел оскорбленный каптенармус, с первых дней Красной Армии неотступно служил он с большевиками, был начпродкомдива, врос в армию и стал от своего крестьянского хозяйства отрезанным ломтем. Это главное. Это

строило жизнь. Но об этом скрытом, очень глубоком, никто не знал.

Коваль расписался и вышел на ослепительное солнце. Обвел скучающими глазами двор и увидел на бревнах Смирнова и Дегтярева. Лениво подошел к ним. У Смирнова после утреннего конфуза еще ярко горело лицо и лихорадочно блестели глаза. У Дегтярева лицо точно безоконный купецкий амбар; не нравится Ковалю это лицо, но идти сейчас все равно некуда и делать нечего. Коваль лениво подсел к ним.

Помолчали втроем.

Смирнов переглянулся с Дегтяревым и вдруг сказал:

— Ну вот, товарищ Коваль, таиться нам нечего. Надо нам как бы то ни было, а освободиться от курсов... Как думаешь?

— Что ж, — ответил Коваль. — Тикать так тикать. Но тут ведь через забор не утекешь.

Смирнов загадочно мигнул:

— Эге, товарищ Коваль, есть у нас одна тропка. Ежели вместе побежишь, так и тебе покажем.

Миндлов. Знаешь, неприятный осадок оставляет сегодняшняя выходка Смирнова, а? И зачем его оставлять на курсах?

Лобачев. А как же можно его отпустить? Я вот сам на курсы просился, а его командующий насильно пригнал; и ты попомни: у нас есть еще такие, вроде его, и придется нам еще с ними повозиться. А угнать нам их никуда нельзя, хотя они сами не прочь освободить нас от своего присутствия

Они в тени, на бревнах, едят вобляной суп, глянцевитый и ржавый. Вываренная вобла лежит рядом на бревнышке и аккуратно завернута Лобачевым в зеленый лопух. Неделю назад Лобачев и Миндлов даже не слышали друг о друге. А сейчас послушать их разговор, можно подумать, что они годы провели вместе.

Вобла съедена. Друзья забрали котелки и направились в канцелярию.

В кабинете Миндлова сургучно-чернильный запах смешался с ароматом цветущей черемухи. На краю стола лежала стопка перепечатанных листов. Это полная программа курсов. Миндлов и Лобачев не успели снова

заговорить, заспорить, как в комнату вошел Арефьев. Серые глаза его необычно блестели.

Он поздоровался с Миндловым, движением руки разрешил сидеть Лобачеву, вскочившему и вытянувшемуся перед ним, и сел на подоконник. В руках у него — листок бумаги.

— Программу я вашу прочел, — сказал Арефьев, обращаясь к Миндлову и особенно выделяя слово «вашу». — Но до того, как говорить о программе, я хочу вам кое-что рассказать о составе наших курсов. При поступлении все курсанты заполняли анкеты. Вот я и просидел сегодняшнюю ночь над этими анкетами и произвел некоторые, не лишенные интереса подсчеты. Представляете вы, сколько у нас членов партии с годичным стажем?

— С годичным? — переспросил Миндлов. — Ну, человек десять, пятнадцать.

— Сорок восемь человек, — медленно и внушительно сказал Арефьев.

— Сорок восемь человек? — недоверчиво переспросил Миндлов.

— Да, — ответил Арефьев. — Я и сам себе не поверил, два раза пересчитал. Почти пятьдесят процентов. И что особенно интересно, из этого числа семнадцать комиссаров с годичным стажем. Семнадцать комиссаров! Ну, политруков четырнадцать и несколько рядовых.

— Да, интересный расчет, — сказал Лобачев. — Но если подумать, так ничего неожиданного нет. Мы последний год смело выдвигали на комиссарскую работу, и среди этих комиссаров-одногодников есть очень живые и толковые парни.

— И все же только один год пребывания в партии! — оживленно сказал Миндлов. — Да ведь я же сам знаю таких комиссаров, которые в партии с двадцатого! Герасименко, Хазибеков, Клетов и этот маленький в больших галифе. Да, да, это очень интересно. И, понятно, ко многому нас обязывает. Я уже понимаю, что программа моя составлена без учета этого обстоятельства. Ну, а что еще у вас тут записано? — спросил он, стараясь заглянуть в бумажку, которую держал Арефьев.

Но Арефьев, смеясь, отстранил его.

— Нет, нет, давайте по порядку. Чтобы покончить с партстажем, сообщаю остальные цифры. У нас три

товарища с дореволюционным стажем: Злыднев, Озол и Шалавин. На Озола, к сожалению, рассчитывать нам не придется. Тяжелое ранение, туберкулезный процесс, отправляем в госпиталь. Признаться, я обоих стариков наших откомандировать хотел. К чему, казалось бы, держать на курсах столь почтенных людей? Но, не говоря уже о том, что оба они настойчиво просились на курсы, я, поразмыслив над партийным составом курсов, решил, что эти товарищи нам очень будут нужны.

— У Злыднева нам, пожалуй, всем есть чему поучиться, — сказал Лобачев.

— Вы, видно, Шалавина мало знаете, — ответил ему Арефьев. — Тоже человек исключительной нравственной силы.

— А сколько вступивших в партию в семнадцатом году, до Октябрьской революции? — спросил Миндлов.

— И опять-таки меньше, чем можно было бы предположить. Вот все они наперечет: Васильев, Гладких, Коваль, Медовой, Курин, Кононов...

— Что это за Кононов? Это который с одной рукой? — спросил Лобачев. — Никто его у нас не знает.

— Я его с семнадцатого года знаю, — ответил Миндлов. — Питерский рабочий, активный участник Октябрьского восстания.

— Анкета у него интересная, — сказал Арефьев. — Будучи тяжело ранен, отказался от демобилизации. — Да, членов партии с семнадцатого года у нас маловато...

— Война истратила. Те люди шли в первых рядах, — сказал Лобачев.

Они помолчали.

Лица незабвенных друзей возникли перед каждым, обращенные к сегодняшнему дню, озаренные им и не дождавшиеся его.

— Да, поистратили, — сказал Арефьев. — По этой же причине маловато партийцев с восемнадцатого года. Всего шестнадцать человек. С девятнадцатого года значительно больше — тридцать четыре человека, и среди них наш утренний герой товарищ Смирнов.

— Да уж герой... — вздохнул Лобачев.

Арефьев опустил глаза и некоторое время разглядывал свои чистые длинные пальцы.

— Может, еще кому военный порядок на курсах не

по душе придется? — раздумывая, сказал он. — Но я его буду крепко завинчивать и жду от вас помощи в этом деле.

И он поднял на Лобачева и Миндлова свой по-обычному прохладный взгляд.

— Если послушать разговоры, которые у нас не прекращаются... — начал Лобачев.

Но тут в дверь постучались, и вошел рыжеволосый подросток в сандалиях на босу ногу и мятых брюках. Как это иногда бывает у рыжих, нежная и тонкая кожа его лица была усеяна бледными веснушками и чуть опушена золотисто-рыжим пухом. Черты лица мягкие, почти ребяческие.

— В чем дело, товарищ? — спросил Арефьев.

Мальчик шагнул с правой ноги, подошел к столу, положил какие-то бумаги и вытянулся. Жесты у него были такие, точно он передразнивал военных, но лицо — серьезно и взволнованно. Оглядев его с головы до ног, Арефьев скрыл улыбку, склонившись над его бумагами.

— Косихин Сергей? Член губкома РКСМ, мобилизованный в армию? Кстати! — одобрил Арефьев, искоса поглядывая на мальчика.

— А вы где-нибудь вели кружки? — спросил Миндлов, просматривая бумаги Косихина.

— Да, я руководил марксистским кружком центрального городского клуба РКСМ, — ломающимся голосом сказал подросток.

— Ну, ладно. Вот товарищ Миндлов, начучполит, ваше непосредственное начальство... А мне пора в округ. Я оставляю вам, Миндлов, листок с моими выводами. Особо обратите внимание, в каком направлении следует переработать вашу программу... — сказал Арефьев, машинальным жестом оправляя и охорашивая ворот гимнастерки и манжеты рукавов.

— Я все уже понял, все, — ответил Миндлов.

— И поскорее. Тянуть это дело нельзя.

Когда Косихин шел на курсы, он заранее решил, что будет держаться с новыми людьми по-армейски. Красная Армия! Красную Армию знал он только в победном гуле оркестров и в распущенных знаменах, на революционных парадах да в песнях и рассказах старших товарищей. Когда в результате расхождения с большин-

ством губкома РКСМ по некоторым важным вопросам работы комсомола он, желая прощупать отношение к себе, попросился в армию и просьбу его поспешно удовлетворили, у него к самолюбивому огорчению примешалась гордость. Кабинет Розова, с гигантской картой края и помеченной на ней дислокацией, и рокот барабана на дворе курсов — все настраивало его на то, что он вступает в какую-то совсем новую жизнь.

Он не понимал недоумения, с которым следили за его движениями Арефьев, Лобачев и Миндлов, и думал, что относится оно к его штатскому виду.

Арефьев ушел. Лобачев проводил его одобрительным взглядом и сказл Миндлову:

— Орел у нас начальник, зорко следит!

Потом, посмотрев на неподвижно застывшего Косихина, сказал ему с добродушной усмешкой:

— А ты, парень, садись! Что ты ровно аршин проглотил?..

— Да, верно, — спохватился Миндлов, отрываясь от чтения листка, оставленного Арефьевым, — садитесь, пожалуйста!

Лобачев схватил Косихина за пояс и посадил его рядом с собой на диван.

— Хорошо, что тебя прислали. А то что ж, мы пока двое только. Обещают еще прислать, но когда это будет.

Косихин глянул в глаза Лобачева, ласковые, как зеленый заводской пруд под солнцем, почувствовал, что Лобачев добр и прост, и немного расправился. Взглянул на Миндлова. И у горбоносого Миндлова под разбитым пенсне в усталых глазах была ласка, его бледные губы дружески улыбались.

Косихин спросил:

— А каковы будут мои обязанности?

— Будете группруком. Получите группу слушателей и будете прорабатывать с ними лекции. А вот программа, почитайте-ка!

В первый же вечер своего пребывания на курсах Сережа, ложась спать на отведенной ему постели, с гордостью ощутил себя составной частью большой военной машины и с чувством превосходства думал о товарищах, взявших над ним верх.

Ничего, они еще услышат о нем! И честолюбивые ре-

бяческие мечты путались с впечатлениями сегодняшнего дня.

Наутро рокот барабана собрал всех во дворе. Был зачитан первый приказ, и прошла разноголосая проверка.

Потом два часа вздваивали ряды, строились по отделениям, заходили правым плечом вперед... Отделениями прошли по просыпающемуся городу, отдавая шаг по гулкой мостовой, застывшей во время холодной весенней ночи. Подгоняя друг к другу голоса, разучивали песню, песню, в которой поверх старого солдатского мотива легли новые слова: «С помещиком-банкиром на битву мы идем, всем палачам-вампирам мы гибель принесем, мы, красные солдаты, за бедный люд стоим...»

И так пошло изо дня в день. Барабан вел через все повороты курсового дня. В двенадцать часов — каждодневная и все же торжественная церемония развода и смены караулов, сдачи и смены дежурств. И хоть Арефьева не видели, но все знали, что этот с каждым днем крепнущий порядок идет от него...

Взводный второго взвода, крепкий, как таежный гриб-боровик, широкоскулый Гладких, после строевых занятий на млеющем в майском солнце дворе распекал опоздавшего к поверке Понюшкова:

— Вы, товарищ дорогой, боле не начальство. Это вы попомните. Дисциплинку-то подтяни, ядрена кочка!

— И, пожалуйста, товарищ Гладких, не выговаривайте, я и сам не маленький. Уж если вы взводный, так и загордились. Ведь я тоже ответственный...

Гладких взглянул на него с выражением снисходительного презрения:

— Взводный... Однако я полком комиссарил, но никто не может сказать, что я делал разницу меж собой и красноармейцем. А вот вы для себя должность почетную рядового бойца обидой считаете. Ответственный... У вас здесь первая ответственность — секунд в секунд на поверку прийти.

Гладких считает выговор оконченным, его блестко вычищенные сапоги с легким поскрипыванием уходят прочь. Понюшков с трусливой неприязнью смотрит ему вслед. Его пухлявое лицо кисло и жалобно.

— Ну, как? — полусочувственно, полунасмешливо спросил его Коваль, издали следивший за их разговором.

— Вот службу любит, чалдонская душа, — жалобно повизгивает Поношков.

— Верно! Любит! — согласился Коваль. — Одно слово — унтер, внутренний враг. Да что мне до Арефьевых порядков! Я, мабуть, скоро отсюда фью-ю-ю!

— Это как же?

— Дело, друг, простое. И ты можешь, коли захочешь. Подали рапорта́, что мы достаточно сознательны и учить нас нечему.

— Рапорта́? Вот здорово!

— Чего здорово? Вот и ты давай пиши. Ну как, подашь?

— Нет. Я уж подожду, как у вас пойдет. Боязно! Ведь Розов узнает... Да и командующий...

Коваль взглянул на Понюшкова так же снисходительно, с презрением, как на него смотрел Гладких, и, тряхнув кудрями, ушел к зданию курсов.

У Громова с Васильевым произошел серьезный разговор. С первой встречи ощутили они разделяющие их и уводившие друг от друга мысли. И сегодня после строевых Громов, увидев, что Васильев, бледный, с пятнами бордового румянца на щеках, лежит на своей койке, почувствовал к нему жалость, раздражение и сказал:

— Чего ты таскаешься на строевые? Больной ведь, а туда же!

— Я скоро возьму освобождение... Но сейчас надо, чтобы настроение поддержать и дисциплину.

Помолчав немного, точно безмолвно продолжая разговор, Громов мрачно сказал:

— В заступу Смирнова я, конечно, ничего не скажу. Но и Арефьев не лучше его.

— Разве в Арефьеве дело, Захар?

— Да уж верно, дело не в Арефьеве и не в Смирнове, — грустно сказал Громов.

Опять помолчали.

— Сам-то ты на строевые ходишь ведь... — сказал Васильев.

— Хожу, а чего хожу, сам не знаю. Никуда от порядков не убежишь.

— Вот верно ты сказал, — резко прервал его Ва-

сильев и поднялся с постели. — Ты не бежишь только потому, что не знаешь, куда бежать. Это плохая храбрость...

— Ты вот храбрец! Как слепой, идешь куда тебя ведут.

— Это ты, как слепой, топчешься на месте. А я как шел за Лениным, так за ним иду.

— Ленин... Вишь ты, как что — так сразу Ленин! — растерянно проговорил Громов.

— Ну и дурак же ты, Захарка...

Долго ругались они, и жарко было от крови, прихлынувшей к лицам. С этого разговора началось, и каждая следующая встреча все дальше разводила их друг от друга.

А вот Андрею Медовому, кроме как с собой, спорить ни с кем не нужно. Он стал большевиком семнадцати лет, вскоре после февральской революции, еще в период меньшевистско-эсеровского засилья. Он был тогда помощником машиниста на железной дороге, и накануне Октябрьского восстания ревком поручил ему сформировать бронепоезд «За власть Советов». Андрей с помощью рабочих депо выполнил приказ, и бронепоезд его сделал свое дело в Октябрьском восстании. В боях гражданской войны бронепоезд «За власть Советов» знали по всей армии. Сам командующий ценил Медового. Совсем недавно побывал командующий на бронепоезде, и в первомайском приказе по округу еще в этом году отметил он бронепоезд похвальным словом. Потому когда стали формироваться курсы и командующий отозвал Медового с работы и послал на курсы, это было для него неожиданно. Медовой самостоятельно работал над своим образованием и уверен был в своих силах. И он был удивлен и обижен. Но что ж? По примеру Смирнова и Коваля подать рапорт и просить, чтобы его экзаменовали? Нет, это претило всей его скромной натуре.

Вчера, проходя по широкому коридору курсов, он увидел на одной из дверей надпись: «Библиотека». Оттуда доносились голоса. Равнодушно пройти мимо этой двери он, конечно, не мог и вошел в библиотеку. Стопки книг высились на стульях и на подоконниках, новые книги, только полученные со склада Центропечати. Лобачев и Косихин освобождали один из шкафов от старых книг и устанавливали там новые. Медовой взял одну из

книг, лежавшую сверху. Это была книга Р. Гильфердинга «Финансовый капитал». Медовой еще не читал эту книгу, но о ней упоминал В. И. Ленин в своей работе «Империализм, как высшая стадия капитализма». Медовой открыл книгу, начал читать, и в продолжение часа читал он в странной позе, поставив одну ногу на стул и положив на нее раскрытую книгу. Лобачев и Косихин несколько раз с удивлением взглядывали на него. Потом Лобачев сказал:

— Ты бы сел, Андрюша. Такую книгу на одной ноге не прочтешь.

Андрей поднял на него свои черные, помутневшие от напряжения глаза.

— Да, — ответил он протяжно. — Ты верно сказал. Такое дело, стоя на одной ноге, не одолеть. Я беру ее. И вообще — точка. — Он захлопнул книгу, лицо его выражало стремительную решимость. И он ушел, унося с собой книгу.

— Это он о чем? — недоуменно спросил Косихин.

— Да все о том же, — ответил Лобачев, — браться ли всерьез за учебу? Этот вопрос не он один у нас решает...

Арефьевский порядок день ото дня все туже стягивал курсы. Одни сознанием и волей вводили себя в военную муштру, другие, старые солдаты, с удовольствием входили в полузабытый ритм военной жизни — так отставной, заслышав стук барабана, невольно ровняет шаг и развертывает плечи. Своя воля отдавалась начальнику, и в короткие минуты отдыха так безмятежно-приятно было сбегать к баку с жестяным чайником, вместе с товарищами, обжигаясь, пить мутный кофейный напиток и жить в размеренных пространствах казармы, где кровати стоят по четыре головами друг к другу, где по стенам висят чертежи разобранных бомб, винтовок, а в красном уголке, под знаменем, портреты вождей. Но некоторым одиночкам этот порядок казался утерей завоеваний революции, утерей той солдатской свободы, которая в семнадцатом году привела их к большевикам. Воинский порядок напоминал им о казарменном мордобое и о стонущих солдатских песнях в алых и пепельных зорях зимы шестнадцатого года. От этих-то людей исходил какой-то неопределенный ропот, который то замолкал, то опять разгорался, как многодневный лесной по-

жар, так и продолжавший в эти ясные, солнечные дни пылать где-то в далеких, непройденных пущах хребта.

— Слышь, Лобачев, Смирнов да Дегтярев да еще ребята рапорт подали, верно? Стало быть, с курсов будут увольнять?

Этот вопрос задал Савка Туринских, сосед Лобачева по общежитию, и, спросив, повернулся к Лобачеву и смотрел на него своим темным, как бы углубленным от легкого косоглазия взглядом. Разговор происходил перед сном, с соседних коек слышен был храп. Лобачев, снимая сапог, вспомнил сегодняшний разговор с Арефьевым о рапортах. Арефьев наложил на рапорты резолюцию отказа и передал их командующему. Савка, сосед по койке, оказался земляком. Он работал на асбестовом руднике неподалеку от завода, воспитавшего Лобачева. После года пребывания в партии Савку, который во время войны был в кавалерии, назначили комиссаром конзапаса. Он за недолгое время в буквальном смысле слова поставил на ноги конский состав. Ну, а людей в его учреждении было раз в десять меньше, чем коней...

— Да ты что, собрался бежать с курсов?

Поругав Савку, Лобачев заснул. Но утром задумался. Весть о рапортах замутила еще не установившийся порядок курсов, и люди шли к Лобачеву. Спокойное лицо его изредка освещала улыбка, неожиданно яркая и приветливая, как погожий день здешнего хвойного быстрого лета. Говорил он тоже родным, здешним говором, скрадывающим мягкость речи, придающим ей какую-то морозную свежесть, и его не стеснялись. На следующий день, улучив свободное время, Лобачев пошел искать Миндлова.

Нашел он его во дворе. Из-за спин и голов слышен был высокий страстный голос Иосифа. Лобачев усмехнулся и стал слушать. Миндлов митинговал. Все свободное время Миндлов проводил со слушателями. Все, что вычитывал он в газете, все, о чем думала его лохматая голова, — все это он щедро рассказывал курсантам, которые уже полюбили его и всегда внимательно выслушивали его длинные, легко и привычно слагающиеся фразы. А Лобачев удивлялся широте его знаний, его способности просто пересказывать их.

Когда Миндлов закончил, Лобачев отозвал его в сторону и сказал:

— Вот что, Миндлов, надо бы чем-нибудь ребят регулярно занять. Потому что эта смута, она еще и от безделья зависит. Занятия надо начать.

Миндлов нервно всколыхнулся:

— Ну, чего же... ведь решили не кустарничать. С понедельника начнем занятия, когда окончательно освободят здание, а сейчас надо подождать... И что это за нетерпение?

— Ты не сердись, — настойчиво продолжал Лобачев. — Ведь мне самому с общеобразовательными предметами не терпится. Думаешь, зря Арефьев указал нам, какое место должны они занимать в программе курсов? Но вот он сказал, а мы забыли. А я так понимаю: нельзя, чтоб четыре часа строевые занятия, а потом «гуляй». От этого «гуляй» только лишние разговоры. А давай такую штуку затеем: с учителями ты сговорился, казенный паек они жуют, ну и приспособим их к делу.

— Ведь ты же знаешь, Лобачев, что Арефьев против того, чтобы заниматься в спальнях. Ведь это воинский порядок нарушится. Дождемся, когда приведут в порядок классы.

— А мы во дворе начнем.

— Как? На дворе?

— А чего ж, — дни стоят погожие, двор велик, разобьем нашу шатию на группы по знаниям, расставим парты и начнем заниматься. Кстати, и я подзаймусь, — со смущенной усмешкой сказал Лобачев. — Алгебру я сам прошел, но как до уравнений добрался, так и заколодило. Право же, Иосиф, давай начнем, а?

И вот на следующее утро во дворе встали четыре отряда парт, перед каждым — черная доска. По двору бродили куры, за высоким забором звенела порою под колесами мостовая, а на партах зеленели гимнастерки, учителя в потертых мундирах ходили у досок, и гул учебы глухо несся с зеленого двора.

Глава четвертая

Первое собрание партийной ячейки курсов состоялось в большом гимназическом актовом зале. Его переделали в главную аудиторию. Курсанты быстро и весело заполнили зал, рассаживались по скамьям и партам, пересмеи-

ваясь, переговариваясь. Старческий, дребезжащий голос Василия Егоровича Злыднева объявил собрание открытым.

Много партийных собраний открывал на своем веку Василий Егорович Злыднев. За годы подпольной борьбы собрания происходили и в городских подвалах, и в лесу, и на убогой квартирке рабочей окраины. Потом наступило время собраний в прокуренных комнатах совдепов, в цехах среди остановившихся машин — собрания семнадцатого года... Во время гражданской войны где только не случалось бывать собраниям! В деревенской избе, на поляне, у костра, окруженного красноармейцами. И вот пришло время, собрания ячейки вошли в еженедельный обиход, у ячеек есть свои комнаты. Без партдня, без собрания бюро неделя уже не неделя.

Василий Егорович открыл собрание. Немного сказал он: напомнил о задаче курсов, об учебе, о партийном значении этой задачи... Предложил выбрать президиум. И вот Гордеев, Розов, Шалавин, Смирнов, Медовой, Васильев, Миндлов, Арефьев, тихо переговариваясь, заняли места рядом со Злыдневым, и опять его негромкий, внушающий уважение своею слабостью голос объявил:

— Повестка дня, товарищи... Приветственное слово от губкома — товарищ Гринев, от пуокра и штабокра — товарищ Розов; второй вопрос: товарищ Миндлов сделает информационный доклад о программе. И — выборы бюро.

Начались приветственные слова. Гринев, рослый человек, председатель губсовнархоза[1] и член губкома, нарушил солидную благопристойность своей новенькой тройки, заложив руку за пояс брюк, и из-под жилета над поясом забелело белье. Прогрохотав официальные слова приветствия, заговорил он о том, что постоянно было в центре его внимания, — о своей работе. Произошло это для него незаметно: начал с общих задач мирного строительства, перешел к хозяйству края и пошел громоздить цифры: выработку рудников, растущую продукцию заводов и свои заветные планы — пуск всех заводов... И вдруг, опомнившись, улыбнулся:

---

[1] Губсовнархоз — губернский совет народного хозяйства.

— Ну, я, товарищи, отвлекся в сторону. Но ведь эти дела, — они тоже не чужие для нас. Не вашей ли кровью все добыто? Итак, мы приветствуем новый отряд коммунистических бойцов. У нас вы теперь одна из самых сильных ячеек. Держите же высоко революционное знамя партии... Ура! — крикнул он, сходя с трибуны.

— Ура! — весело загремели сто здоровых глоток.

Задребезжали окна. С деревьев взвились испуганные птицы. Представитель губкома, заложив большую руку за пояс брюк, чувствовал — точно свежий ветер обвевает его голову и улыбался.

Сухо, деловито приветствовал собрание Розов; маленький, сутулый, как полуоткрытый перочинный ножик, он говорил своим глуховатым, но ясным голосом раздельно и мерно. Он говорил о задачах, которые стоят перед курсами, о трудностях этих задач, подробно сказал об укреплении дисциплины. Некоторые конфузливо жались во время речи Розова, и только после секундного молчания собрание стало аплодировать Розову, поблескивающему из президиума серебряной оправой очков.

На кафедру нервно выскочил Иосиф Миндлов; подергивая своей лохматой головой, замахал он руками перед пестрой диаграммой учебного плана. Его страстный высокий голос, его жесты, беспорядочные и вдохновенные, призывали к учебе, которая развернется на курсах, и названия дисциплин ложились на многоцветном учебном плане, как широкие ступени лестницы, по которой предстоит взойти. Опять прогремели аплодисменты.

И вот подошли выборы нового бюро. Но как только Злыднев объявил этот пункт, с задних рядов послышался глуховатый голос:

— Товарищи, у меня есть список.

Собрание заволновалось. А человек в черной гимнастерке, с правым пустым рукавом, засунутым за пояс, и с непоколебимым лицом, уже пробирался к президиуму, мимо сидевших рядом с ним и до сих пор его не замечавших товарищей. Блестели его глаза, и он как будто слегка улыбался.

Его выступление нарушило течение собрания, и Злыднев, досадливо морщась, переспрашивал:

— Чего? Какой список?

— Мой, — сказал однорукий, проходя вперед и пово-

рачиваясь лицом к собранию. — Мой. Вот он. Члены: Злыднев, Шалавин, Васильев, Гладких, Лобачев; кандидаты...

— Погодите, товарищ, — прервал его Злыднев. — Прошу не шуметь, — сказал он строго собранию и движением ладони сверху вниз сажал на место повскакавших наиболее горячих. — Тише, к порядку! Нам, прежде всего, надо вырешить вопрос: будем голосовать списками или по отдельности?

— Слово! — сказал Смирнов.

— О порядке голосования?

— Да, против списка.

— Тогда мне — за списки, — сказал однорукий, продолжавший стоять впереди.

— Фамилия ваша? — спросил его Злыднев.

— Кононов.

— Слово против списков имеет товарищ Смирнов.

Смирнов, надуваясь, встал из президиума, вышел вперед, крепко расставил ноги в блестящих сапогах и, по своей привычке сцепив руку с рукой, начал внушительным голосом:

— Дорогие товарищи, вот здесь предыдущий оратор предлагает голосовать список и зачел его нам. Но вопрос: кто уполномочил товарища составлять список? И мы этого товарища не знаем. А все мы одной армии. Друг о друге прослышаны и можем выбирать, как нам хочется. Не надо нам никаких списков, товарищи, а все мы, здесь собравшиеся, полноправные большевики. Поэтому я за голосование без списка.

Ему еще не кончили аплодировать, но уже зазвучали глухие, спокойные слова Кононова.

— Право каждого члена партии при выборах бюро голосовать, как он хочет и за кого хочет. Конечно, я не этой армии, мало кого знаю, и меня мало здесь знают. Но уже две недели я на курсах и для себя обдумал вопрос, кто годится в политические руководители ячейки. Вот поэтому я и предлагаю свой список. В него я поставил таких, которые наиболее сознательны. И по-товарищески скажу: Смирнова я не поставил потому, что он не передовой человек в нашей партии, так как не понимает он того, о чем здесь в первом же слове сказано было Васильем Егоровичем Злыдневым — задачи учебы для партийца...

— А вы кто такой? — багровея, приподнялся Смирнов.

Опять зашумело собрание.

— Тише, товарищи! — и Злыднев мягким жестом опять сажал повскакавших с мест. Потом обратился к однорукому: — Вы, товарищ Кононов, ближе к вопросу, не затрагивая пока отдельных лиц, а только за порядок голосования списками.

— Но я требую разъяснения! — крикнул Смирнов.

— Тише, Николай Иванович! Слово имеет товарищ Кононов.

— Ладно. Кто я такой? Член партии. Кто меня уполномочил составлять? Я сам. Очень плохо, что над этим вопросом, очень важным вопросом, никто не подумал, потому что бюро должно быть у нас крепкое, как гранит. Давно ли у нас Десятый съезд отошел, и нельзя забывать нам, что он сказал...

Опять зашумело собрание. Злыднев звонил. В президиуме Гордеев шепотом сказал Розову:

— Это толковый товарищ. Я его не знаю. Выясни, откуда он и кто... — и, пригнувшись к заросшему седыми волосами уху Злыднева, сказал:

— Эх, дед! Прав ведь товарищ. Не подработали вопрос о бюро.

— А что ж он список сует? — обиженно спросил Злыднев. — Или мы сами разобраться не можем?

— Со списком, конечно, он зря, — подумав, сказал Гордеев. — Все это дело можно и без списка провести. А вот посадят вам в бюро Николу Смирнова...

В этот момент Кононов при общем шуме кончил свою упрямую речь. Мало кто разобрался в том, чего хочет этот человек со спокойным и решительным лицом, и последних слов его так никто и не разобрал. Голосовали дружно против его предложения.

Дальше пошло весело и быстро. Все это были люди одной армии, имена боевых командиров из дивизии в дивизию перекатывались смутными раскатами далекого грома. Героев знали все.

— Кононова! — запоздало крикнул Лобачев, только сейчас ухвативший смысл его предложения.

Но в президиуме уже считали голоса. И вот Злыднев огласил состав бюро. Члены: Шалавин, Смирнов, Медовой, Злыднев и Коваль; кандидаты: Хазибеков, Васильев.

Только шесть голосов получил Кононов: Арефьев, Лобачев, Миндлов, Шалавин, Злыднев и Васильев проголосовали за него.

Медлительно пели «Интернационал». Кононов не пел, не умел петь, но вслед за поющими шепотом повторял он слова и раздумывал о том, почему не поняли его предложения.

Гордеев, уходя с собрания, поманил его за собой, и, вздрогнув, Кононов двинулся за ним.

Урок математики. Васильев у доски решает задачу. Время от времени он ищет поддержки, оглядывается на учительницу, и та одобрительно улыбается и наводит его на решение, водя блестящим наконечником карандаша по осыпающимся шершаво-белым алгебраическим знакам.

Урок идет к концу. Комиссары устали. Легкий ветер, налетающий из-за забора, приносит мечты о вольной воле. Учительница задумалась о своей одинокой жизни, о том, что муж без вести пропал где-то на юге.

Рокот барабана. Урок кончился. Скрипят парты, не привыкшие к движениям взрослых людей. Кто идет к баку курить, кто вытягивается на траве. Некоторые окружают преподавателей...

Шалавин и Лобачев присели на скамью в короткой тени дома, Шалавин щурится от блеска окон, он надвинул козырек летнего шлема на свое большое щетинистое лицо.

— Математическая наука — это для нас теперь первое дело... Какую машину ни возьмем, вся она на точном расчете. Нашего брата к этой науке господа не допускали. А она нам для нашего социалистического хозяйства очень нужная. Возьми ты лесное дело: делянки все промерь, инструменты такие есть и шнур — все на счете и расчете. А когда полный социализм развернем, сколько тут будет счета! Все надо подсчитать. Сколько произвести чего — машин, или мануфактуры, или хлеба. Самонужнейшая наука.

К ним подошел стройный Васильев. Его руки еще выбелены и мазок мела тает на его красном лице, покрытом искрящимся потом. Он ткнул пальцем в измятый и влажный лист:

— Верно решил. Право. Сама сказала. Вот!

Сел рядом с Шалавиным. Шалавин обхватил его плечи.

— Вот молодец! Ах, ах, молодец! У меня мозги уже закостенели, плохо поворачиваются, но я знаю, что без математики мне никуда. А у тебя еще тут, — он легонько и ласково своей большой ладонью хлопнул Васильева по бритому затылку, — невпроворот, знай руби да накладывай!

— А вот Николай Иванович, — сказал Васильев, — он на занятия не хочет ходить, очень себя высоко понимает.

— Ах, ах, — огорченно сказал Шалавин, — это уж совсем неладно!

— Да, чего хорошего! Спорили вчера с ним да с Афонькой Ковалем: вчера опять на русский язык не пришли.

— Вот чудеса... — задумчиво сказал Шалавин. — Один азбуке учиться не желает, а другой высоту науки досягает.

И он, уважительно понизив голос, кивнул туда, где под солнцем блестели черные крышки парт. Они пусты сейчас, и только широкие плечи Гладких и остроконечный шлем на круглой его голове видны за одной из парт.

— Очень хвалит его учительница, — подтвердил Васильев. — Выдающиеся, говорит, способности к математике у Ивана Карповича.

Опять застучал барабан. Солнце палило все жарче, тени укоротились, и комиссары перетаскивали парты вплотную к кирпичной стене дома.

Васильев и Шалавин лениво пошли через жаркий двор в канцелярию курсов, где должно было состояться первое заседание бюро комячейки.

Лобачев, щурясь, смотрел им вслед. Нехотя думал о том, что надо опять идти в библиотеку заниматься. Трудна оказалась учеба, к которой так стремился.

А ведь приходилось не только с собой бороться, но и некоторых курсантов все время подтягивать.

Лобачев тихонько вздохнул и вошел в здание курсов.

Лобачев и Косихин лежат в укромном уголке двора, у забора, где еще уцелела не вытоптанная во время строевых занятий трава. Лобачев пересказывает Коси-

хину «Государство и революция» Ленина, проверяет себя к завтрашним занятиям. Он в полной уверенности, что Косихин внимательно слушает его. Но Косихин, положив свою медноволосую голову на руки, с интересом следит за веселой жизнью двора.

В эту золотую пору затянувшегося летнего дня, когда уставшее солнце медлит уходить, словно не в силах расстаться с занятной землей, на бревнах, на длинной скамье, на крылечке, на траве, истоптанной и примятой, — везде расположились курсанты, повсюду слышен говор и смех. Люди отдыхают. Сергей то хмурится, видя, как через двор, щеголевато играя ногами, идет немало досаждающий ему на групповой проработке Николай Иванович Смирнов, то ласково улыбается, заметив любимца своего, стройного русого Герасименко, то усмехается, прислушиваясь к прибауткам, которые неподалеку рассыпает Коваль...

Первое время Косихин воспринимал военные порядки с восхищением и страхом. Потом новизна ощущения исчезла, и размеренная жизнь курсов стала казаться монотонной. Он бы даже постарался уйти с курсов, но удерживало самолюбие. Сейчас же он с какой-то особенной остротой чувствовал прелесть этого обычного вечернего отдыха: кучки людей на дворе, золотой блеск закатных окон, и дежурный по кухне с тесаком на поясе идет с каптенармусом на кухню, а за ним кашевары несут провизию к завтрашнему обеду.

— Скажи, Гриня, как думаешь: в коммунистическом обществе духи вырабатывать будут? — перебил вдруг Косихин медленный и основательный пересказ Лобачева.

— Я думаю — нет. Ведь духи есть стремление оградиться от дурных запахов, которые порождаются неряшливостью, а в будущем обществе...

— У меня был один чудак лектор, так он доказывал, что в будущем обществе уничтожится неравенство человека и животных. Я его на гауптвахту отправил, — сердито сказал Лобачев. — Выходит, я тебе рассказываю, а ты не слушаешь?

— Ты прости, Гриня, — извиняющимся голосом говорил Сергей, смущенно и заискивающе заглядывая в обиженные глаза Лобачева. — Сначала я слушал внима-

тельно, потом как-то отвлекся... как-то о духах подумал. Говори, я буду слушать.

Лобачев что-то пробурчал и стал молча просматривать конспект. Косихин с восхищением и завистью поглядывал на него. Он не понимал, как это Лобачев всегда и с охотой думает только о том, о чем надо думать. В нем совершенно не было любви к тому умственному спорту, к тем непринужденным разговорам, в которых Сергей мог проводить часы со своими товарищами по комсомолу. Спорили, конечно, о вопросах революции, но частенько спор приобретал совершенно фантастический характер: «что было бы, если бы...» и «что будет, когда...» Лобачев называл подобные разговоры трепатней, Косихин соглашался с ним, но пересилить себя не мог. Он восхищался деловитой сноровкой Лобачева, стремился ее перенимать и все время чувствовал, как ему это трудно. А Лобачеву было приятно восхищение Косихина. Он привязался к нему незаметно, как старший к младшему. При этом от Косихина можно было многое узнать: он был очень начитан, ездил на всероссийские съезды, видел и слышал Ленина.

На середину двора вышел веселый и ясный, как этот наступающий вечер, чернобровый и стройный Медовой. Решив остаться на курсах и все силы отдать ученью, Медовой сбрил бородку и сейчас выглядел мальчиком. За ним следовал широкий, бочковатый Гладких.

У обоих в руках короткие деревянные рюхи и длинные палки. Медовой веселым взглядом окинул двор и зычно крикнул:

— Генеральный матч: чемпион Сибири Гладких против чемпиона мира Медового! Ребята, делись в городки!

— Рюхи, — по-своему перевел Гладких и пояснил командирским своим басом: — Эй, братва, мы с товарищем Медовым за маток. Однако делись в два счета!

Двор зашевелился, заговорили, засмеялись. Вставали с травы, потягивались и подходили к «маткам».

— Пойдем, Сережа, ударим, — сказал Лобачев, вскакивая.

— Я не умею, — сказал Косихин.

Палки и рюхи Гладких нашел в заброшенном сарайчике, и теперь почти каждый вечер гремели они по земле, высоко взбивая пыль, и со двора неслись веселые возгласы.

Медовой и Гладких были лучшими бойцами. Перед их ослепительным соперничеством меркла мелкая борьба других, скромно занявших места рядовых в армиях двух борющихся героев.

Делились. С перекорами договаривались об условиях. И вот Гладких аккуратно зачертил на избитой земле квадрат и с кряхтеньем старательно ставит первую фигуру — бутылку.

— Ты чего же, Гладких, зарываешь ее, что ль?

— Это он над ней колдует...

— Хватит, товарищ Гладких, отойди! — кричали противники.

— Пусть его, — говорит Медовой со снисходительной насмешкой, — мы погодим.

— Уже поставил, — сказал Гладких, разгибаясь и поднимая от земли налившееся кровью широкое лицо.— А ну, бей, товарищ Медовой!

Медовой вышел, выставил ногу к черте и начал примеряться. Слегка изогнув свое длинное, гибкое тело и чуть прищуря левый глаз, он, крепко держа палку, еле заметно двигал кистью руки. Обе партии, затаив дыхание, следили за еле заметным колебанием палки. Игра только начиналась, азарта еще не было. Каждый забывал интерес своей партии и с замирающим сердцем ждал удара. Вот Медовой точно вспыхнул, глаза его расширились, и он стал похож на лук, когда тетива натянута. Длинная рука разогнулась, перебросила от плеча к кисти тот заряд силы, который требовал опыт, и палка коршуном полетела в город противника, ударив в самое дно бутылки; рюхи испуганной стайкой лягушек прыгнули вверх, а палка, прокатившись по земле, догнала их и выбила за пределы круга. На черте осталась только одна.

— Вот это удар!

— Знай наших!

— Сила Медовой-то! Верно, что чемпиньон! — говорили в одной партии.

А другая смущенно отвечала:

— Да...

— Ничего... придет наш черед.

— Не хвались, идучи на рать... — громко и спокойно сказал Гладких. — Валяйте дальше...

И игра с блистательными победами и горькими пора-

жениями, с упорной мелочной борьбой, когда целый кон иногда проходил в том, что партия выбивала одну злосчастную рюху, лежащую у самого края города, рюху, перед которой пасуют лучшие игроки, — эта игра овладела всем двором.

Пыльные лица обтекают грязным потом. Головы точно под хмельком. Ладони намозолились от грубо оструганных палок. Вровень идут партии. И, почти не замахиваясь, бросая вперед все тело, бьет Гладких, и легко, часто поверху, летит удар Коваля, и несоразмеренно силен удар Смирнова, и размерен, но слишком низок удар Лобачева, удар, после которого всегда облаками поднимается пыль.

Сейчас Лобачев отличился: последней своей палкой «отпечатал письмо», ударил в середину последней, самой трудной фигуры, под торжествующие крики своей партии выбил из города неприметную чурку и победоносно осмотрелся.

Гаснет закат.

Неприятельский город еле разглядишь... Лобачев увидал Миндлова и Косихина и подошел к ним.

— Как ударил? Здóрово! Чемпионский удар. — Глаза его блестели. — Видал? — спросил он Косихина.

— Хорошо, — сказал Косихин. — А я вот не умею.

— Научишься, — ободрял его Лобачев. — Ведь у меня практика тогда началась, когда вот такой был, сам не больше палки.

— Здравствуйте, Иосиф Эмильевич, — услышал вдруг сбоку певучий голос жены Арефьева.

— Здравствуйте, Наталья Васильевна,— Миндлов пожал ее теплую, звенящую браслетами руку.

— Что, любуетесь на игры наших питомцев? — спросила она с маленькой усмешкой. — А комиссара моего не видели?

— Нет, — ответил Миндлов.

— Вы товарища Арефьева спрашиваете? — вмешался Лобачев. — Он сразу после ужина к командующему ушел.

— Мерси, — сказала она, в темноте разглядывая Лобачева.

Пожав руку Миндлову и кивнув Лобачеву, она пошла домой. Лобачев поглядел ей вслед: она уходила, словно уплывала, легко ступая по земле...

— Ну, как может Арефьев жить с ней! — по-мальчишески серьезно сказал Косихин. — Ведь она барыня. Она на нас и не смотрит. «Питомцы»! — передразнил он. — Это о наших комиссарах! И чего с ней Арефьев связался?

— Молод ты, Сергунька, — с усмешкой сказал Лобачев. — Что ему с ней, истматом заниматься?

— Нет, я понимаю Сережу, — горячо вступился Миндлов. — Я о своей семье, о своем барском детстве, о том, что у нас прислугу эксплуатировали и, скажем, сами ели хлеб одного сорта, а прислуге давали другого, вспоминаю с ненавистью. Говорю об этом так свободно только потому, что я ушел от всего этого, и мне претит... от какой-нибудь гардины или, скажем, кресла, потому что такое же кресло стояло в нашей буржуйской квартире. А у Арефьева целые дни находится рядом источник такой буржуазности. Как он может? Ты об этом говоришь, Сергей?

— Да, да... И я удивляюсь на Арефьева... Такой коммунист, а живет с человеком чуждой среды.

— Э-э-э... среда, четверг... — пошутил не хотевший заводить серьезного разговора Лобачев.

Игра кончилась. На этот раз партия Медового проиграла и, по условию, возила на спинах победителей.

— Ну и тяжел ты, чалдонский бог, — сказал Медовой, когда грузный Гладких соскочил с его плеч.

— Это все голова моя, — сказал Гладких. — Как математический урок пройдет, она все грузнеет, скоро с плеч валиться будет. — И в этой шутке слышна была радость и довольство собой.

— Мы и то удивляемся, — расправляя плечи после тяжести, говорил Медовой. — Ведь ты, Ваня, этак в профессоры выйдешь.

Гладких помолчал.

— В профессоры? — серьезно переспросил он. — Нет, об этом я не думал. В старой армии я в артиллерии служил. И вот если бы окончить курсы да в артиллерийскую академию определиться.

Двор жил веселыми разговорами и смехом. Проступили немногие летние звезды. Ночь, как ласковая подруга, не пускала от себя, хотя время было спать и барабан уже прогрохотал.

«Ровно маленькие», — подумал пренебрежительно Дегтярев, сидя на бревнах и слушая жизнь двора.

Какую тяжелую враждебность испытывал он ко всему: к этим горячим политическим разговорам и непонятным лекциям, к Медовому и Гладких, которые подсели на бревна и неподалеку вели разговор о своих планах! Оба они собирались учиться дальше, и разговор этот казался Дегтяреву враждебным, как бы направленным против него. «Да пусть говорят, пусть тешатся, — ничего они обо мне не знают». Тут подошли Лобачев и Косихин, и Дегтярев оборвал ход своей тайной мысли, словно боялся, что его услышит Лобачев, которого он опасался с первой встречи на курсах.

Глава пятая

Утро. Миндлов просыпается. В открытые окна видно побелевшее от жары неподвижное небо. Монотонно стучит барабан, созывая на поверку; еще нет восьми часов, но только в молодых голосах, доносящихся со двора, слышна нерастраченная утренняя свежесть, — в воздухе и следа ее не осталось.

Сушь. Третью неделю нет дождя.

Торопливо одевался Миндлов, припоминая все, что надо сделать сегодня.

Машина курсов работает на полном ходу, и перебои ее теперь стали редки. Последний перебой случился на прошлой неделе: чуть не плача пришел Косихин в кабинет к Миндлову и заявил, что отказывается от группы... Сладу нет со Смирновым и Ковалем: не хотят учиться, нарочно плетут невесть что. Нет серьезного отношения к занятиям...

— Я их вышибу с курсов... Надоела мне эта волынка! — крикнул Миндлов и хотел идти к Арефьеву, но Лобачев, молча слушавший разговор, сказал:

— Стой-ка, Миндлов! Поменяй нас с Сергеем. Моя-то группа мне не под силу, а Сергей там будет в самый раз. А мне дай его группу. Я зубы им обломаю.

Так и сделал Миндлов. Целую неделю с обмененными руководителями работали группы. А на прошлой неделе прислали новых руководителей — Гришина и Ляховского. Их на работе Миндлов не видел.

И сегодня он еще раз обойдет все группы.

Миндлов напился горячего морковного кофе, доел со вчера на сегодня взятый паек черного хлеба и, сутулый, в поношенном френче без верхней пуговицы (за что Арефьев уже не раз грозил ему гауптвахтой), щуря воспаленные глаза на солнце, высоко взбежавшее над миром, пошел через пустой двор в здание курсов.

В первом по коридору классе занимается Косихин. И как только Миндлов открыл дверь, он по оживленным лицам, по блеску глаз, по непринужденным позам почувствовал сразу такой быстрый и веселый ритм работы, что ему самому стало весело.

Рыжая голова Косихина пламенеет на солнце, звонко спрашивает он, и разом ему откликается несколько голосов. Потом Косихин, встряхивая волосами, начинает объяснять завтрашнее задание по политической экономии. Он это называл разрыхлять почву для лекции. Видно было, что он сам восхищен предметом. В его изложении все выглядело просто и ясно, но эта простота и ясность завоеваны были долгой работой, тем, что сам он знал гораздо больше того, что пересказывал слушателям.

В этой группе собраны были самые развитые и охочие к учебе курсанты: здесь и Кононов, и Васильев, и Гладких.

Миндлов перешел в класс, где занималась группа Лобачева. Когда Миндлов открыл дверь, Коваль стоял опершись на парту, прервал свою бойкую речь и беспокойно и лукаво скосил на Миндлова золотистый ясный глаз.

— Продолжай, продолжай... — сказал Лобачев, кивая Миндлову: «Вот послушай, послушай его».

— Капитал... капитал... Норма, кохвициент,— говорил Коваль. — Само слово обозначает, що воно таке.

— А ну, что? — с интересом спрашивает Лобачев.

— Капит-ал, — продолжал Коваль, подперев бока, — щоб вин собравсь, треба гроши копить... — О що — капит-ал. Понятно?

В голосе его явственно проступили монотонные учительские интонации, — Коваль передразнивал лектора, читающего на курсах политическую экономию, и по всем лицам пробежали улыбки, смешки... Миндлов глянул на Лобачева, который сидел на окне, как бы безучастно

поглядывая на двор, но под маской его неподвижного лица, конечно, тоже дрожал с трудом подавляемый смех. Но он продолжал долго и терпеливо слушать болтовню Коваля и молчать. Вот Коваль истощил весь запас своих уверток. Речь его становилась все несвязней. И Миндлов одобрительно улыбнулся, поняв тактику Лобачева. Даже те из курсантов, которые с сочувственным интересом слушали Коваля, теперь стали зевать. Все чаще посматривали они на Лобачева с нетерпением, с досадой, явно желая, чтоб он прервал болтуна. Но только дождавшись такого момента, когда недовольство Ковалем дошло до высшей точки, Лобачев тихо и серьезно произнес:

— Очень, товарищи, получается складно и хорошо. Вот так Коваль! Открыл легкий способ изучения наук!

Изумление и внимание появляются на лицах. Все поворачиваются к Лобачеву.

Однако Коваль чувствует в похвале что-то неладное и смущенно улыбается.

— Вот, к примеру, человек болен чахоткой, — продолжает Лобачев. — Откуда произошла чахотка? Есть такая наука медицина. Можно бы изучить ее и узнать, откуда чахотка и как ее лечить. Но у Коваля более простой способ. Человек застудился, начинает чихать, вот и получается «чихотка», — выходит, человек заболел от простуды. Верно, Коваль?

В аудитории начался смех, и Коваль смеялся вместе со всеми. Но, вдруг заметив, что смеются-то над ним, он смутился и, видимо, хотел что-то объяснить, уже открыл рот, но остерегся и только развел руками. Тут смех стал еще громче.

— Чего ж ты не смеешься, Коваль? — спросил Лобачев. — Ведь ты пошутить хотел? Ну и пошутил, и насмешил всех. А самому тебе что-то не смешно. Почему не смешно? А потому, что все видят, что шутка твоя скрывает невежество и лень ума.

— Афанасий Петрович из практики говорит,— сказал Смирнов и с ехидным недоброжелательством покосился на Миндлова, — а не из книги. Что книги! Я тебе целую библиотеку сочиню!

— На уроки русского языка не ходите, Николай Иванович... — отвечает Лобачев, — так что ничего сочинить не сумеете!

Подобрались в этой группе боевые комиссары, бойкий и расторопный народ, люди, выкованные в гражданской войне, выученные борьбой со спецовскими изменами, и с кулацкими мятежами, и с ядом анархической пропаганды. Все это прошли они, все одолели сами.

Следы былых профессий слиняли, и боевая комиссарская работа, — когда рядом с военспецом, а когда и без него, — стала их профессией. Ведь каждый из них за революцию накопил жизнью и смертью проверенный опыт, за него твердо держался и с известным недоверием относился к опыту книжному, не всегда представляя себе разницу между книгой хорошей и книгой плохой.

Лобачев сам прошел такую же школу и хорошо понимал, откуда возникает эта любовь к измышлениям пусть глупых и бездоказательных, но своих собственных теорий. Но, кроме того, за хитрыми словами, за изгибами юркой и затейливой мысли он слышал озорство, притаившееся и лукаво противодействующее всей учебной работе курсов. И, без пощады высмеяв Коваля, он дал научное определение капитала и приступил к объяснению органического строения его. Говорил он так гладко, как Косихин, но его местный говор, краткое и крепкое строение каждого предложения, наглядное истолкование каждого термина делали особенно выразительной и понятной его речь.

Все, что Лобачев узнавал из книг, он пересказывал своим слушателям, но сам знал, пожалуй, не многим больше того, что пересказывал.

— А здорово, — среди объяснения шепнул Коваль Миндлову. — Я работал в забое, так выходит: переменный капитал был. От здорово! — сказал он, и в голосе его впервые послышалось восхищение перед научной системой, объяснившей ему и его живую жизнь.

Группой Лобачева Миндлов тоже остался доволен, хотя чувствовал сопротивление Смирнова и его ближайших друзей, которые продолжали борьбу против ненавистного им, все укрепляющегося учебного порядка.

В конце коридора Миндлова заметил Шалавина и еще одного пожилого комиссара. Увидев Миндлова, они в замешательстве двинулись было прочь, но потом повернули ему навстречу. Поздоровались. Шалавин сказал, чуть пригибаясь к Миндлову:

— Дорогой товарищ Миндлов, что я тебе скажу, ты только не обижайся. — Он секунду помолчал.— Насчет товарища Гришина. Ученый человек, но убери ты его от нас.

— Верно. Вот верно! — сказал пожилой комиссар и кивнул щетинистым, седым подбородком.

— Он, может быть, человек ученый, но вся его ученость для нас не имеет пользы, — одни слова, смысла нет.

— Верно, — опять сокрушительно сказал комиссар,— ох, верно!

— И очень тоску он наводит! А ты поди сам послушай.

Они вошли в класс, где занималась группа Гришина. Здесь, так же как и в классе Косихина, лучи солнца раскаленно белыми столбами входили в комнату. Однако там они оживляли молодые лица, блеск думающих глаз, движения губ во время речи... В этой комнате сбились за партами в большинстве своем пожилые, наиболее старые и заслуженные комиссары. И Миндлову странно было видеть эти твердые и умные лица в состоянии необычной для них расслабленности.

И тон здесь задавал негромкий, чуть хриплый, как из трубы заигранного граммофона, голос Гришина, маленького, бледного, словно обескровленного, с жидко блестящими от непроходящей слезы глазами. Миндлов попробовал вслушаться в то, что говорил Гришин, разобраться в ходе его мыслей. Но, к ужасу своему, убедился, что ничего не понимает. Ему казалось, что Гришин никак не может кончить длинное предложение, которое он начал до прихода Миндлова и которое он все тянет и тянет, и вся группа в мучительном оцепенении ждет, что вот выражение его голоса изменится и чудовищный период придет к концу. Но вплоть до треска барабана, прервавшего занятия. Миндлов так и не дождался конца гиганта-предложения.

— Вы очень непонятно объясняете, товарищ Гришин, — мягко сказал Миндлов, отозвав Гришина в сторону и пожимая его морщинистую ручку.

— Вот мне всегда это говорят, — печально вздохнул Гришин. — Я, будучи начпогарном, лекции читал в гарнизоне, и, примите во внимание, — он понизил голос, — красноармейцы разбегались...

Он вздохнул, погрустнел, и глаза его еще больше налились слезой.

— Примите во внимание, товарищ Миндлов, здесь...— он осторожно, с уважением, тронул узкою ладонью свою маленькую сплюснутую с боков головку, — здесь есть и такой полет, знаете, восторг великий испытываю. Ведь знаете, — сказал он, таинственно снижая голос, — марксизм во сне вижу. А сказать — не выходит.

— То есть как это во сне? — ошарашенно спросил Миндлов. — Марксизм? Как это?

— Марксизм! — мечтательно ответил Гришин. — Одним словом, восторг, всепонимание... бытие определяет сознание...

Миндлов с напряжением слушал монотонные слова, которые Гришин сажал равномерно, как садят огурцы, на равном расстоянии одно от другого.

— Ведь у товарища Розова, примите во внимание, нет доброжелательства к человеку, и на мои рапорты об откомандировании меня в академию для специальных научных занятий они направили меня сюда, и вследствие этого, примите во внимание, опять превратно пошла моя жизнь, как и шла до сих пор. Был я при старом режиме волостным писарем, которого должность назначалась в деревне к утеснению крестьян, но уже тогда был смущаем своими мыслями, прежде всего по божественной отрасли, и даже интересовался некоторыми сектами. Познакомился, примите во внимание, на двадцать третьем году своей жизни с учением Карла Маркса и Фридриха Энгельса из уст одного ссыльного студента, и это учение я принял и стал исповедовать, ибо оно поразило меня обрисовкой закономерности и предначертанности событий человеческой истории. Административно был я выслан в Тобольскую губернию, так как поп, ненавидевший меня, сделал донос. Однако там я продолжал свое развитие уже под влиянием образованных марксистов, томившихся в неволе, примкнул я окончательно к РСДРП, но стоял вне фракции, в заблуждении считая мелочной борьбу между большевиками и меньшевиками. Но, примите во внимание, после февраля сразу примкнул к большевикам, ибо увидел, что меньшевики отступили от заветов учителей наших Маркса и Энгельса. Не буду вас утруждать перечнем должностей, которые я занимал с февраля

семнадцатого: вы можете ознакомиться с ними по анкете моей. Последняя должность моя была начпогарн, — должность, примите во внимание, требующая крайней суетливости и разбросанности, а мой склад ума приспособлен более всего к научной работе. К тому же она требует ораторских способностей, которых я лишен, примите во внимание...

Он с жалобным недоумением и замешательством глянул на Миндлова.

— Почему я и докучал пуокру рапортами, но примите во внимание, что у товарища Розова нет доброжелательства к человеку, на мои рапорты об откомандировании меня...

Миндлов почти не слушал его слов, но тут он с ужасом уловил, что Гришин опять в тех же словах начинает снова свою речь. Он прервал его и спросил:

— Какую же марксистскую литературу вы читали?

— Проштудировал я первый и второй том «Капитала», «Нищету философии», а также исторические работы и письма Энгельса, «Анти-Дюринг» и «Людвиг Фейербах», «Происхождение семьи» и опять же исторические работы, а также читал Каутского и Плеханова — все, вышедшее в России до того постыдного момента их биографий, когда они изменили светлым идеалам Интернационала. И, конечно, читал все научные, экономические и полемические работы нашего вождя Владимира Ильича Ульянова-Ленина.

Миндлов удивленно взглянул на него. Этот человек, оказывается, марксизм видел не только во сне. Это был человек, не менее марксистски начитанный, чем сам Миндлов. Но из своих засушенных и обесцвеченных знаний Гришин ничего не мог извлечь необходимого для жизни и работы. Как это всегда бывает с начетчиком, книга, вместо того чтобы помогать ему в познании жизни, вставала стеной между ним и жизнью.

Раздался бой барабана. Перерыв кончился, и Гришин, маленький, сухонький, тонконогий, засутулился и побрел к себе обратно в класс.

Надо бы зайти на занятия еще двух групп. Вот группа Русина, бойкого сельского комсомольца, недавно мобилизованного в армию и получившего «в обработку» таких же, как он, юношей. А вот в стеклянное окно видны курчавые головы — маленькая группа татар, баш-

кир н казахов; с нними заннмался Левннсон, юноша девятнадцатн лет, такой же черный и курчавый, как и его ученики. Учитель и ученнкн одинаково плохо говорилн по-русски, но с помощью оживленной и яркой жестнкуляции Левинсон находил какие-то скрытые тропинкн в умы иноязычных учеников.

...Нет, он, Миндлов, больше не в силах, — почти каждый день нападала на него проклятая сонлнвость и на несколько часов валила его в кровать. Но обычно это случалось после обеда. А теперь, может быть, нз-за разговора с Гришиным, она напала утром. Громко зевая, Миндлов через знойный двор побрел к себе, завалился спать; и вот он уже спит с открытым ртом, н Лобачев, заглянув к нему в комнату и сочувственно покачав головой, отправился в кабннет учебной частн.

Там собралнсь преподаватели общеобразовательных предметов. Учнтеля в потрепанных форменных сюртучках и учительннцы в облинявших, сереньких платьях ждалн Миндлова и оживленно обсуждалн перевод с фронтового на тыловой паек, который проделал начхоз, ссылаясь на какие-то приказы.

Онн окружили Лобачева. Математнк меланхолнчно высчитывал уменьшенне количества калорнй в новом пайке, учительннцы кокетливо и просительно улыбались. Лобачев пошел к завхозу.

— Вот какое дело, Адриан Иванович... — начал Лобачев, делая вид, что не замечает скривившегося, откровенно неприязненного лица начхоза, сразу понявшего, в чем дело, так как жертвы его маннпуляцнй толпнлись в дверях.

На вопрос Лобачева начхоз пробурчал что-то невнятное, слышно было только: «Бессовестные люди», — и зарылся в толстую кннгу прнказов по округу.

— Вы что же, говорить со мной не хотите? — повышая голос, спросил Лобачев.

Начхоз, быстро перелистывая кннгу прнказов, ничего не отвечал. И в момент, когда рассерженный Лобачев хотел выйти из комнаты, начхоз, ткнув толстым пальцем в подчеркнутые красным строки, торжествующе поднял на Лобачева брюзглнвые глаза:

— Читайте... — н, пододвинув к себе счеты, стал с треском бросать костяшкн, явно давая понять, что занят н проснт ему не мешать.

— Это, Адриан Иванович, не то... Мы не школа при красноармейской части, а учебное заведение повышенного типа. Ты погляди, как в Гувузе[1] преподаватели обеспечены.

— Может, их там сливками кормят, — съехидничал Адриан Иванович, — но до нас это не касаемо. Приказ.— Он поднял палец, и в насупленных его глазах, как луч солнца в пасмурный день, блеснула игривость.

— Ну, идем к Арефьеву! — подумав, сказал решительно Лобачев.

— Идем, идем, — торопливо ответил, очевидно, ожидавший этого предложения начхоз. — Чудны дела! Будто в свой сундук, будто для себя стараюсь... — ворчал он, шагая рядом с Лобачевым.

Преподаватели следовали за ними. Но, войдя в кабинет Арефьева, Адриан Иванович захлопнул дверь перед ними, и тут-то он поднял голос.

— Подождите, Адриан Иваныч, — досадливо морщась, перебил его Арефьев. — Это верно. Я сказал — экономить. Но не за счет же преподавательского состава.

— А за счет кого прикажете, Георгий Павлович? За счет их? — и начхоз указал в окно, очевидно имея в виду курсантов. — Так берите хозчасть, ищите другого человека. И так все больные, пострелянные, пораненные...

Арефьев усмехнулся.

— Даже начхоз стал демагогом, — сказал он. — Что ж... может, придется еще туже подтянуть пояса. — Он коротенько помолчал. — Но ничего... сейчас без этого обойдемся. А вот штат пересмотреть, канцелярию — на тыловой паек.

— Я уже месяц как на тыловом пайке и по собственной доброй воле, — обидчиво багровея, сказал начхоз.

— Я не о вас, — спокойно и твердо сказал Арефьев. — И о чем мы разговариваем? — оттенок холодного удивления появился в его голосе.

— Слушаю! — и начхоз подчеркнуто вытянул руки по швам, выпятив свой опавший живот. — Приказаний больше не будет?

— Нет. А вы, Лобачев, мне нужны.

---

[1] **Гувуз** — Главное управление военно-учебных заведений.

Начхоз по-строевому повернулся и марш-марш вышагал вон из комнаты.

Арефьев и Лобачев, усмехаясь, переглянулись, — оба знали этого человека, строптивого, но преданного интересам государства. Арефьев первый перестал улыбаться.

— Понимаете, Лобачев, суть этого дела с экономией? — резко спросил он, показывая на окно, где красное зловещее солнце без лучей висело над запыленным городским горизонтом.

Лобачев кивнул головой и нахмурился. Ему ли не знать? Каждый день торопливый почтальон приносит на курсы самодельные конверты, а то и без конвертов приходили весточки, накарябанные на клочках бумаги. Те, кто получал эти письма, замолкали, ходили понуро, не спали ночи.

Сегодня и сам Лобачев получил невеселое письмо. Конечно, его не послушали и выдали сестру замуж за недоросля-полуидиота, сына богатея-мужика, сохранившего благодаря своей лисьей хитрости хлеб и скотину, припрятавшего деньги.

Арефьев медленно говорил:

— У нас крестьян на курсах двадцать пять процентов. И вот я уверен — должны быть среди них такие, которые и в партию-то шли только затем, чтоб добить помещика и взять его землю... А есть и такие, которые хотят социализма и готовы бороться за него, но не по-нашему себе социализм представляют. И плюс эта надвигающаяся на нас засуха, а неурожай всегда ударяет по бедноте, а наши деревенские коммунисты в большинстве своем происходят из бедноты. Некоторым нашим деревенским товарищам следует уделить особое внимание: Дудырев — из оренбургских казаков, Клетов — уфимский, кажется, из бедноты. Есть и другого сорта: Сизов — из крепких середняков, Дегтярев — ну, о нем особый разговор.

Говоря это, Арефьев загибал свои длинные пальцы и потом за подтверждением взглянул на Лобачева.

Лобачев кивнул головой.

— А бюро наше не хочет думать над этими вопросами... — Арефьев помолчал и без видимой связи спросил: — Где это Миндлов лектора по политэкономии выкопал?

— Он в совпартшколе преподает.

— В совпартшколе? — удивился Арефьев. — Я, знаете, вчера его лекцию слушал. Сдается мне — он меньшевик, этот ваш лектор.

— Да, кажется, был меньшевиком. Но он лояльный...

— Лояльный... — Арефьев усмехнулся, похлопал по книжке, чтение которой прервал инцидент с начхозом, и Лобачев, приглядевшись, узнал «Капитал» старинного издания. — Молоды вы все-таки, товарищ Лобачев, — сказал он, — и... видите ли, — он прямо смотрел в глаза Лобачеву своим смелым светлосерым, как сталь, взглядом, — мне, для того чтоб большевиком стать, пришлось... оч-чень пришлось над собой поработать. И вот я вам скажу, это теоретический вопрос, конечно, о концентрации капитала, но он, знаете, такое прямое отношение к текущей политике имеет... И я по нескольким фразам почувствовал, что он меньшевик, этот ваш лектор, — опять настойчиво повторил Арефьев и довольно улыбнулся.

Лобачев с удивлением взглянул на него.

— Я только не пойму, товарищ Арефьев, какой же меньшевизм в его словах? Я слушал его, и мне кажется, что он все вполне по-марксистски говорит.

— Видите, — задумчиво говорил Арефьев, хлопая ладонью по книге, — я даже нарочно «Капитал» вытащил. У меня тут, — он показал на нос, — осталось ощущение меньшевизма. «Экспроприаторов экспроприируют» — вот тут бы ему, как товарищ Ленин сказал, перевести с латыни на русский и подвести слушателей к учению Ленина о советском государстве как конкретном воплощении диктатуры пролетариата. А он отмолчался, этот ваш лектор, потому что меньшевик. Вот я его слов не могу вспомнить, как это он точно сказал...

Арефьев задумался, точно что-то припоминая, и поймал на себе любопытный взгляд Лобачева.

— Вы, Лобачев, не можете знать того времени, когда мы с меньшевиками находились еще в одной социал-демократической партии. Если бы человек партийно неграмотный зашел в то время на наши диспуты со стороны, показалось бы, что спорят сумасшедшие люди. Похоже было, что спорили о порядке слов. Слова были те же. А вот как их поставить? Но за каждым словом — два пути! Бывший меньшевик — это, знаете... Лояль-

ный?.. — Он словно взвешивал это слово и с сомнением качал головой. — И вот что я хочу сказать... На Миндлова я особенно не надеюсь — он болен. — Арефьев нахмурился. — Приглядываться надо сейчас, товарищ Лобачев, никому не верить на слово. Прислушиваться к политическим оттенкам взглядов, не забывать решений последнего съезда партии.

Он говорил тихо, но Лобачев запоминал каждое его слово, и, когда Арефьев кончил и вопросительно поглядел на него, Лобачев опять кивнул головой.

— Ладно, товарищ Арефьев. Ладно... — скупо сказал он, но в голосе его слышны были готовность и согласие.

Арефьев кивнул головой. Лобачев повернулся, ушел.

Арефьеву тоже можно вернуться домой. Но утром поссорился со своей Наташей. Поймав себя на том, что сейчас нарочито задерживается в кабинете, он усмехнулся над собой и вышел во двор.

Будучи губвоенкомом, Арефьев получал паек ответственного работника. Хотя по теперешней своей должности он сохранял право на этот паек, но, к негодованию и недоумению Наташи, он отказался этим правом пользоваться. И он тщетно убеждал ее, говорил о засухе, о настроениях курсантов, — она ничего не понимала, не хотела понимать.

После утренней ссоры, когда оба они, спокойные и сдержанные люди, по нескольку раз повторяли каждый свое, словно говорили на разных языках, Арефьев чувствовал такое отчуждение, что правильнее всего было прийти сейчас домой и сказать: «Что тебе здесь надо? Зачем ты со мной? Уйди!»

Но знал он, что, если даже и сказать эти слова, все равно ни к чему они не приведут. Раз уже было так: он эти слова сказал, и они разошлись, но сила многолетней и привычной любви свела их. И снова жили они, неразрывно связанные любовью и изо дня в день ведущие борьбу, жестокую и изнурительную.

Так стали они жить после революции. Раньше Арефьеву даже в голову не приходило, хорошо ли, что его Наталья совсем не интересуется политикой — тем делом, которому он отдавал свою жизнь. Наташа — это был спокойный отдых.

Но когда кончилась гражданская война, после шести лет разлуки, изредка прерываемой неделями свиданий,

он опять поселился с Наташей, и его вдруг поразнло ее обывательское брюзжание и наивно-хищннческий, потребительский подход к его высокой должности, как к выгодному и хлебному месту.

Так началась эта борьба, в которой он пока твердо держал свою позицию, но нн в какой мере позициямн противника не овладел...

Он улыбнулся этому сравнению и нерешительно замедлнл шаги, подойдя к маленькому домику, в котором раньше жил директор гимназии и который он занимал сейчас как начальник курсов. На листву сирени падал мягкий свет лампы, прикрытой абажуром. Значит, жена дома. Но Арефьеву, растревоженному своими мыслями, которые нельзя высказать вслух жене, так как эти мысли не будут ею поняты н станут источником новой ссоры, не хочется быть вдвоем с ней. И он обрадовался, услышав нз темноты голос Миндлова.

— Миндлов, пойдемте ко мне, чаем напою, — сказал Арефьев.

И вот, в сопровождении Мннддова, он перешагнул через порог своей комнаты.

— Гоша...

Она, светлоглазая, широкая и рослая, неуловимо чемто похожая на него, чуть поднялась на цыпочкн н поцеловала мужа в щеку.

— Иосиф Эмильевич? Добрый вечер! Ах, как вы скверно выглядите!

У нее певучий северорусский говор и полная белая рука, овитая браслетом.

— Ну, имеете вести от Лии Борисовны?

— Да... то есть нет, но... — смутился Миндлов.

Смутился он потому, что сегодня в полдень, вернувшись в свою комнату, увидел на столе самодельный конверт. Адрес написан простыми, широкимн и круглыми буквами, и защемило сердце: письмо от Лин. Но курсы живут своей суетливой и напряженной жизнью, а письмо...

Целый день, не распечатывая, но и не забывая, носил он в своем боковом кармане этот маленький, нагретый его телом самодельный конверт, чтобы прочесть его вечером, оставшись наедине с письмом.

— Ничего... поправляется.

— Поправится, Иосиф Эмильевич... Солнце и море — это такне врачи. Знаете, у меня была тетя...

Слушая односложные ответы Миндлова и опять певучую речь жены, тот дамский разговор, который Наталья Васильевна могла вести без малейшего усилия, Арефьев разглядывал свою комнату. Как будто бы все как обычно, но комната казалась другой, — так одна морщинка изменяет выражение лица человека... Да, и это — коврик над кроватью, пестренький коврик, повешенный женой. Наталья Васильевна выучена: порядок в комнате мужа ненарушим, это его, непонятный, военный, книжный, мужской порядок. Но все же этот коврик над его кроватью — как знамя над завоеванным городом.

«Здравствуй, мой милый Ося!

Ну вот, я уже получила твое письмо и пишу по другому адресу. У меня все по-старому, живу в той же светлой комнате, в которой тебе писала первое письмо. Погода очень хорошая, и по утрам за окнами пальмы шелестят своими вырезанными листьями. Я на них все время смотрю, потому что мне нельзя выходить. И как я обрадовалась, что ты сюда приедешь! Всю болезнь куда-то унесло. Вот хорошо нам будет вдвоем! Ты здесь очень отдохнешь и поправишься. Да и мне будет лучше. Я чувствую себя очень скучно, потому что я одна. Остальные товарищи очень хорошие, но я их боюсь, потому что они, хотя ласковые, но умные.

Опять некоторые смеются, что я завиваю волосы, имею внешность барышни. Очень мне хочется, чтобы ты приехал, потому что ты хорошо объясняешь для меня, я тебя не боюсь, а других боюсь и потому не понимаю, что они говорят. Здесь среди девушек-прислуг есть славные, я с ними всегда провожу время.

Вот и писать нечего. Когда хотела писать, думала, не хватит трех листов почтовой бумаги, так было к тебе много, а сейчас смотрю — и написала мало, и писать нечего, а в сердце так же много, точно ничего не написала. До скорого свидания, милый мой, любимый...

Лия Соркина».

Миндлов прочел раз, прочел другой и, что-то бормоча, ласково улыбнулся. Вначале неважен был смысл слов, важны были самые не совсем грамотные, но такие знакомые обороты, запах ее простых, дешевых духов.

Потом вдруг осязаемо ощутил движение ее души — доброту, застенчивость, скромность. Это ощущение было настолько явственно, что он, вздрогнув, огляделся, словно возле себя услышал ее дыхание. Нет, он один... Свежий вечерний воздух овевал его горячий, потный лоб.

Когда Лобачев вошел в кабинет Миндлова, он застал уже там всех руководителей групп, которые, обмениваясь впечатлениями дня, заполняли журнал курсов. Потом Лобачев опять остался один и стал составлять приказ по учебной части на завтра. Это была обязанность Миндлова. Но Миндлов с каждым днем, сам не замечая этого, все больше перекладывал работу на крепкие плечи Лобачева.

Они не уговаривались об этом. Безотчетно, при виде пустующего кабинета, Лобачев сам садился в кресло Миндлова и начинал отдавать распоряжения. Он видел, что Миндлов болен; почему он не уходит с курсов, Лобачев не понимал. Но и не спрашивал. И когда замечал, что у Миндлова не хватает сил, он, не задумываясь, както само собой подставлял свое плечо и принимал на себя работу Миндлова.

День кончился. Лобачев со вздохом встал. С наслаждением, до хруста, потянулся и вдруг застыл, увидя себя в сумеречном, темнеющем зеркале, оставшемся здесь с незапамятных времен и как-то совсем незамечаемом в сутолоке работы. «Здорово все-таки сдал», — подумал он, медленно подходя к зеркалу и разглядывая себя. Заострился подбородок, обтянулись скулы, под глазами легли тонкие, словно иглой проведенные, морщинки, но глаза стали светлей, тверже, крепче стал рот. «Ничего, парень, ничего», — подумал он о себе и вдруг покраснел, воровато оглянулся, словно боясь, что кто-то подслушал его. Разом, одним прыжком, вымахнул он в окно на двор. Собака, мирно спавшая под окном, кинулась из-под его ног, унося в дальний угол двора долгий, испуганный визг. Возбужденный, словно выпивший вина, подтянув кушак, Лобачев вышел за ворота.

Там с винтовкой в руках Коваль; он дневалит. С ним, слушая жадно его фронтовые рассказы, в которых героическая правда переплетается с незамысловато-хвастливыми выдумками, сидит Косихин.

Лобачев подсел к ним, но при нем Коваль не стал продолжать свои рассказы.

Глубоко вдыхая вечернюю прохладу, лениво перебрасываясь словами, сидят они на лавочке. Какой вечерок! Какое необыкновенно лиловое небо надвигается с востока на запад!

Из калитки вышел расфранченный Ляховский, новый групповой руководитель, только присланный на курсы. Лобачев его окликнул. Тот остановился, оглянулся, законфузился.

— Ишь ты, — с добродушной завистью сказал Лобачев, — к крале своей пошел, а?

— Идем, ребята, со мной! — заискивающе и обрадованно сказал Ляховский. — С хорошенькими девочками познакомлю, идем!

— Да ну тебя... Иди уж.

— Нет, правда, они рады будут. Идем, Лобачев.

«А то, правда, пойти?» — подумал Лобачев.

— Ты как, Сергей? — обратился он к Косихину с тайной надеждой, что тот пойдет: стало быть, и ему можно будет пойти.

— Чего я там не видел? — сказал, морщась, Сергей. — Ляховского? Так я его здесь каждый день вижу.

— Нет, сыпь, Ляховский, один, — не без зависти сказал Лобачев. — Где уж нам уж...

Глава шестая

Звонкий голос лектора наполняет всю залу, а сам он невысок, лыс, и остры глаза его под выпуклостью очков.

Солнце развесило по стенам трепещущие тени листвы. Неподвижны за своими партами курсанты.

Слушал лектора Васильев и по-новому видел весь мир. Раньше наполненный осязаемо плотными вещами, он стал теперь как бы прозрачен, и в тысячах тысяч вещей, составляющих богатство человеческого общества, выступила единая их природа, великий человеческий труд...

— Товарное хозяйство, — машинально вслед за лектором произнес Васильев.

Афанасий Коваль весело следит за желтыми блестящими полуботинками лектора. Привык Коваль к словам

простым, ясным, ведущим к действию, быстро следующему за словами. Сам Коваль живет в этих словах, как крепкая репка в огородной земле. «А что он бормочет — это ж совсем ни к чему». Коваль слушает только колебания голоса лектора; и когда он слышит веселье, откуда-то изнутри освещающее непонятные слова лекции, Коваль улыбается и следит, как задорно притопывают желтые полуботинки лектора.

Рядом скрипит карандашом, не успевая за лектором, бойкий и прилежный Левинсон, в прошлом — сапожный подмастерье, а перед курсами — комиссар батальона войск ВЧК. Смирнов глубокомысленно и тяжело смотрит в рот лектору, в его рыжие с сединой усы. На большом и умном лице Шалавина внимание; не успевает он за быстрым и уверенным лётом лекторской мысли. Изо всей лекции схватывал он одну-две мысли, но запоминал их крепко, чтобы потом, на досуге, хорошенько поразмыслить.

В этой лекции он поймал одно: что каждый товар — это сгусток труда...

— Ишь ты — сгусток! — шептал он и ласково гладил облупившуюся парту, эта мысль казалась ему такой своей, точно он ее давно уже узнал, но не имел слов, чтобы ее выразить.

Время от времени лектор останавливал свою быструю речь; Лобачев просил повторить страницу Маркса или неразборчивую фамилию иностранного автора. Лектор с охотой исполнял просьбу Лобачева, ему, видно, приятен внимательный слушатель. Слова Арефьева не прошли даром. Мобилизовав все силы своего мозга, вслушивался Лобачев в лекцию, чтобы не пропустить враждебного слова...

А у Герасименко в боковом кармане лежит вчера утром полученное и несколько раз перечитанное письмо. В этом письме родные и нужные слова: «Митруся... Золотце... Буренка не дает молока... зарезали... С телкой бы продержаться». И еще: «Сохнет молодость, Митруня...»

— Таким образом, три топора эквивалентны десяти горшкам, пяти пудам овса...

Упоминание об этих родных, кровных предметах домашнего обихода так ярко напомнило Герасименко двор при хате, с клуней и палисадом, что он не смог долее

терпеть и, стараясь не стучать, ушел с лекции. Через пустой, побелевший от жары двор пошел он прямо в канцелярию курсов.

В канцелярии тихо. Изнывающая муха с тоскою билась о стекло, и в тон ей, так же заунывно и тихо, напевал Миндлов какую-то непроизвольно рождавшуюся песню. И в такт ей раскачивался он над простыней расписания, вписывал в квадраты фамилии преподавателей.

Поднял глаза — перед ним знакомый по гарнизону, смуглолицый, стройный Герасименко.

— Ну-с, кавэскадрон? Что новенького?

«Добр, — обрадовался Герасименко. — А вдруг отпустит?» И это «вдруг» тут же превратилось в уверенность.

— Я до вас лично, товарищ Миндлов. Товарищ Арефьев объяснил на проверке — насчет отпусков накладывается запрещение. Но я до вас, товарищ Миндлов, вы ж меня знаете... Может, уговорите об исходатайствовании мне отпуска для устройства домашних дел.

— По жене соскучился? — спросил Иосиф, может, потому, что и у него в боковом кармане лежит последнее много раз перечитанное письмо.

— Три года женатый я, товарищ Миндлов, — секунду помолчав, сказал, переходя на горестный и откровенный тон, Герасименко, — и не более как два месяца вместе жили, ей-бо.

— Нельзя, товарищ Герасименко. По окончании курсов каждый получает месячный отпуск. Арефьев обещал — так и будет.

— Не могу я. Апатия у меня, — тихо сказал Герасименко и к окну отвел свои синие, в золотистых ресницах глаза.

— Нельзя. Помни, Герасимѐнко, ты — коммунист...

— Эх, товарищ Миндлов, отпустите меня! Приеду — как учиться возьмусь, право! А то ведь я не учусь. И такая тоска, даже не ем! Ребята удивляются.

— А чудак ты, Герасименко! Тебе говоришь, а ты все свое.

Оба молчат. Герасименко нервно скребет большим ногтем край стола. Как муха, не видя стекла, бьется об него и изнывает в тоске, так и Герасименко не может примириться с тем, что нельзя сесть на поезд — и туда, на родную сторону.

Ои махнул рукой, громко вздохиул н вышел во двор. Лекция уже коичилась. Загрохотал барабаи. Курсанты, размниаясь после долгого сндення за партамн, оживлеиио сиовалн с полотеицами по двору и плескались в воде около умывальииков. Красиолнцые, с волосами, словно покрытыми росой, оии бежали потом к кухие, где быстро строилась очередь, и перебрасывались веселыми, не надоедающими шутками, обязательными перед обедом, как пряиости, подающнеся к семейиому столу:

— Смотри, друг, котелок ие съешь!

— А что сегодня дают?

— Суп-рататуй!

— Ишь, тебя как повариха любит, сколь воблы навалнла!

Герасимеико, машииальио ставшнй было в хвост, услышав о вобле, ощутил еще большую тоску, тнхоиько чертыхнулся н вериулся в здаиие. Там пусто. Вот н койка его. Над ией — поииже портрета Леиниа — жена, светлоглазая, иепривычно, по-городскому разряженная, и фотографнчески бесцветиые очертання ее лнца иалнваются для Герасимеико такой теплой н родной жнзнью.

Гераснменко повалился иичком иа кровать, зарыл голову в подушку, н блестящне, начищениые, чуть запылениые сапоги его долго были иеподвнжны. После обеда — обязательиый отдых, сорок мниут. После отдыха — вечерняя лекцня. Комнссары, курсанты тороплнво расходятся по своим комиатам, быстро располагаются по своим койкам; слышио, как по всему зданию стучат двери. И вот — тишниа.

Скрип сапог. Герасимеико получнл крепкнй шлепок и, выругавшнсь, подиял свое воспалеиное лицо. Над инм склоннлось шнрокое и веселое лнцо Коваля, солнечным блеском иаполиеиы его глаза и сверкают белые зубы.

— Это, Митрусь, ие по уставу, — зашептал ои, подмнгивая и усаживаясь рядом с Гераснмеико. — Где в уставе сказаио, чтоб человек спал, сховав рыло?

— Тоска, Опаиас, ой, лихо! — уиыло сказал Гераснмеико.

— А мие, братику... Математика — еще так-сяк, а как дойдет до философии — иу, бисово днло, инчего не раскумекаю, — сказал ои шепотом и с веселым удивлением. — А ведь всю войну спецов наставлял, и хорошо усваивали.

...По всему зданию задребезжал звонок. Снова слышен стук дверей, громкие шаги, голоса. Короткий отдых кончился. Дверь открылась, в комнату вошел Смирнов, как всегда сопровождаемый Яшей Михалевым. Худенький, бледный, с испорченными зубами, в фуражке, нарочито помятой для лихости, Яша ходит вперевалочку. Ноги у него коротковаты, чванливое выражение лица и длинная шея при обширных галифе довершают его сходство с гусем.

— А я тебя и не держу, — говорил Николай Иванович, грузно заваливаясь на свою койку. — Раз недостаточно учен, иди учись. Учение — свет, неученье — тьма.

— Я, Николай Иванович, к тому, что как бы опять на замечание не попасть, — смущенно прокартавил Яша.

— А кто сегодня дежурит?

— Хазибеков Рассул.

— Рассулушка? Рассулушка парень свойский. Вот если бы такие скубенты, как Васильев или Гладких, тогда берегись. Видишь ли, Яша, мы с Опанасом рассуждаем так, — и он хлопает Коваля по коленке, — поскольку мы рапорт подали, то впредь до решения мы слушаем только утренние лекции. Ну, а ты как знаешь. Ба, Митрусь! И ты здесь! «Закричалы козаченьки с тои з ясной зори»? Это уж не годится. Ты рапорт не подавал, стало быть, иди учись.

Митрусь отмахнулся и опять зарылся в подушку. Рапорта он, верно, не подавал — единственный в этой маленькой комнатке, в которой стоят всего четыре койки. Смирнов и Коваль, как только прибыли на курсы, так с самого начала предусмотрительно облюбовали себе эту маленькую комнатку. Коваль пригласил Герасименко, с которым он вместе проводил операции против бандитов. Четвертым в комнате поселился Яша Михалев, который одно время был в армии при Николае Ивановиче не то вестовым, не то писарем. Когда Михалева отозвали на курсы, он уже был комиссаром госпиталя, но сохранил по отношению к Николаю Ивановичу чувство преданного обожания. Михалеву выглядеть смешным перед Николаем Ивановичем не хотелось. И Яша решился и, опустившись на свою койку, на которой подушка застлана кружевной наволочкой, он, морщась, начал стаскивать с ног свои тесные шевровые сапожки. Потом, с наслаж-

дением пошевелив пальцами ног в ярколиловых носках, он тоже вытянулся на постели.

— Только, друзья, потише будем, — сказал он, метнув досадливый взгляд на Коваля, который с громким хохотом пытался перевернуть Герасименко кверху лицом.

— А почему тише? — задорно спросил Смирнов. — Я никого не страшусь. Когда мне еще в старой армии георгия давали, знаешь, как ротный обо мне сказал: «Не ведающий страха, Смирнов Николай, русский чудо-богатырь».

— А ты, Николай Иванович, никак не можешь своего георгия забыть? — с усмешкой сказал Коваль.

— А что мой георгий! — закипятился Смирнов. — Я его за подвиг получил, я его в семнадцатом году на революцию пожертвовал.

— Да, уж ты, Микола, во всяком войске герой. Эх, красно войско, наша отвага геройска! — вздохнул Коваль. — Все-таки не думал я, что опять к царскому офицеру под команду попаду.

— Да, уж это сатрап! — сказал Смирнов.

— Посмеялся я над ним на последнем заседании партийного бюро, когда он с тобой спорил... — оживленно заговорил Коваль. — Если в лицо ему глядеть, так он спокойный-спокойный, товарищ наш Арефьев, голоса даже не поднимет, ну, будто сейчас уснет. Но руки так и ходят... ну, так и ходят, шлем укладывают. Кажись, немудрое дело. Ну, как ты шлем положишь? Либо вот так, — и Коваль положил шлем набок, — либо вот так, — и Коваль поставил шлем шлыком вверх. — Но фуражку ты донышком кверху положишь, а шлем нет—громоотвод мешает. И вот себя-то он держит, а об руках забыл, и руки у него горячатся и никак не могут шлем донышком кверху уложить. И так и так он его клал, потом взял острие вовнутрь продвинул и все же положил, как хотел. Настойчивый человек.

— Ну и что же? — спросил Смирнов, несколько раз порывавшийся прервать Коваля.

— А то, что настоящий царский офицер: их в военном училище учат, что когда фуражку снимаешь, то класть ее так, чтобы перчатки было куда положить, а шлем наш для этого не годен. Понял? То-то! Я их носом чую. Ты мне поставь сто людей голых — я оттуда всех их выберу, как меченых. Другого кого еще бывает, что не признаю, но

царского офицера всегда узнаю. Потому — практика. Сколько я их переловил в восемнадцатом, когда они к белым из центра тикали! — Коваль махнул рукой.—Шукали мы их в поездах. Сядешь от станции и всю публику пересмотришь. Ну, есть дурные: переодеться переоденется, а сам... либо прутиком себя по брюкам похлопывает, здоровается — козыряет, а сам в котелке. Опять же и с женщинами у них обращение особое. И походка выказывает.

Но тут случилось едет один — ни за что не скажешь, что офицер. Даже, похоже, студент. Все на нем мятое, ходит вразвалку, кепка на затылке. А мне по морде сдается, что офицер. Чую, а все же берет сомнение, — уцепиться не за что. Выхожу я в коридор. Стоит он так ко мне спиной и глядит в окно. Хотел я было пройти мимо, ну, на всякий случай, оглянул его и вижу, он каблучком о каблучок постукивает. Ботинки у него какие-то кривые, со шнурками. А он, видать, замечтался о том, как нашего брата усмирять будет, и таково лихо ими один об другой поколачивает, словно бы на нем этакие сапожки со шпорами и он их одну об другую позванивает. Подошел к нему, закурил, он мне наворачивает, я слушаю. Подходим к станции, а я ему: «Ваше высокоблагородие, пики козыри, ход с бубей, пожалте к коменданту». Он ругался всяко, но как его потом разобрали, оказался полковник и бежал к Дутову.

— Товарищи-друзья, прошли наши дни, попали под власть дворянской своры! — зашумел Смирнов.

— Ну что же, что он дворянин, — сказал Михалев. Маленький, щуплый, в зеленых подтяжках, желтой нательной рубашке и лиловых носках, он, видно, казался себе очень важным. Положив руки под голову и ногу на ногу, он, улыбаясь, щурился на зелень под окном. — А вот про меня ты знаешь, кто я есть? — спросил он с бережливой нежностью к самому себе.

Коваль метнул на него быстрый, небрежно-насмешливый взгляд, но промолчал.

— Я — дворянской крови, — сказал важно Михалев. — Мой папан был генерал и князь, а маман у них жила гувернанткой при детях. Вот от их я родился и был подброшен в воспитательный.

— Откуда ж тебе известно тогда об отце и матери?— спросил Коваль.

Михалев обвел товарищей мутным и чванливым взглядом:

— Об этом долгий рассказ и не при таких обстоятельствах.

Если бы его попросили, он, конечно, сразу рассказал бы, но никто не просил. Михалев, засучив рукав, показал товарищам свою тоненькую и белую, прошитую голубыми жилками руку:

— Видите, какая у меня кость тонкая!

Все переглянулись, и Коваль, насмешливо щурясь, сказал:

— А я считаю, — ты либо канцелярской породы, либо поповский последыш. Да черт с ними, с твоими отцами-матерями! Завел волынку!

Наступило короткое молчание. Михалев обиделся. С койки Смирнова донесся храп. Герасименко вполголоса рассказывал Ковалю:

— Я говорю ему: «Товарищ Миндлов, понимай мое сердце». А он мне: «Эх, Митрусь, сам по жинке страдаю». (Миндлов ничего этого не говорил, но Герасименко казалось, что он рассказывал совершенно точно). И вот поглядел я вокруг — и до чего обидно стало, как наш брат коммунар страдает. Эх, Опанас...

И Герасименко тихо и с нежной ласковостью, точно пела девушка, а не прославленный кавалерист-рубака, завел любовную украинскую песню, и Коваль, задумавшись, тоже вполголоса стал вторить ему.

Михалеву хотелось остановить их, но обида его еще не прошла, и он сделал вид, что спит.

Только Миндлов забылся в послеобеденном сне, как словно толчок изнутри пробудил его... Сел на кровати, разом вспомнил и стал торопливо обуваться.

Он забыл вывесить расписание... Но все было тихо — значит, вечерняя лекция еще не кончилась, расписание надо повесить до конца вечерних занятий...

Через пустой, млеющий под солнцем двор прошел он в канцелярию учебной части, но большой простыни-расписания, оставленной на столе, он не увидел.

«Лобачев повесил», — благодарно подумал Миндлов. Он вышел на двор, уже направил шаги в сторону своей комнаты, как вдруг в раздумье опять задержался, словно рассматривая свою короткую тень, лежащую у самых ног, на потрескавшейся, побелевшей от зноя земле... «А

вдруг расписание не вывешено?» Все было за то, что Лобачев вывесил, но Миндлов все-таки сомневался. Знал, что до тех пор, пока не увидит расписания на стене, не сможет дать себе покоя; и вот он вступил в прохладное здание курсов, поднялся по лестнице... Расписание, как он и ожидал, аккуратно висело над площадкой... Миндлов полюбовался им и хотел уже возвратиться в свою комнату, как вдруг украинская песня, ласковая и печальная, прорвала глухую тишину коридора, и Миндлов признал голос Герасименко. Покачал укоризненно головой, усмехнулся и пошел на голос.

Дверь, другая, третья... Эге, да это из той маленькой комнаты, где живут Коваль, Смирнов, Михалев и Герасименко.

Миндлов вошел. Песня внезапно прекратилась, и Герасименко застыл с открытым ртом. «Верно, после сегодняшнего», — подумал Миндлов.

— Хотите чаю... чайку с нами, товарищ Миндлов? — спросонья сказал Смирнов, которого Коваль пробудил толчком в бок.

На столе чайника не было, и Коваль фыркнул, — ему стало смешно.

— Вы что, шутите со мной? — вспыльчиво спросил Миндлов. — Вы считаете, что если я отношусь к вам как к боевым товарищам, так это значит, что спущу вам такое безобразие?

— Вы все-таки дайте мне слово сказать, товарищ Миндлов... — начал Смирнов.

— Не хочу я вас слушать! Марш на занятия! — крикнул Миндлов.

Герасименко уже вскочил, подтянул ремень и застегивал ворот гимнастерки. Коваль с удивлением вглядывался в разгневанное лицо Миндлова: таким он его никогда не видел. Михалев, страдальчески сморщившись от напряжения, натягивал сапог, но чем больше он торопился, тем более искривлялась и застревала в сапоге его нога. Смирнов сидел, исподлобья глядя на Миндлова.

— Мы сейчас идем, вы дюже не серчайте, — сказал Герасименко.

— Эх, Митруня! — насмешливо проговорил Смирнов.

Герасименко вспыхнул и хотел ему что-то ответить, но вдруг все застыли, увидев в дверях спокойный облик Арефьева.

Арефьев улучил свободную минуту, чтобы обойти в часы лекций все общежития...

— Войдите к нам, товарищ Арефьев, — взяв неожиданный и нелепый тон гостеприимства, сказал Смирнов.

Арефьев секунду постоял в дверях, оглядел всех.

— Это после моего приказа об обязательном посещении лекций? — с холодным негодованием спросил он, глядя на застывшие лица.

Никто ему не ответил. Арефьев круто повернулся и вышел. Миндлов пошел за ним.

— Дежурный! — раздался в коридоре звонкий голос Арефьева.

Медовой сегодня в полдень сменился с дежурства и после дневного тяжелого сна шел к рукомойнику облить лицо холодной водой. Была в нем глубокая, самому непонятная неприязнь к Арефьеву и такая же непонятная привязанность к Смирнову и Ковалю. Умом он понимал, что они не правы, что они мешают учиться, но трудно было преодолеть силу товарищеского влечения. И теперь встреченные им в коридоре Смирнов, Коваль, Герасименко и Михалев, которых под винтовками куда-то вели, как бы въявь воплотили его раздумья.

— Что такое? — спросил не проснувшийся еще Медовой дежурного по школе Хазибекова, плоское, как валун, лицо которого, как всегда, было бесстрастно.

— В карцер... за нарушение приказа по курсам, товарищ Медовой.

Мелькнули пристыженные лица Смирнова, Коваля, Герасименко, и вот уже шаги невнятно доносятся из-за поворота коридора. Медовой, с полотенцем в руках, не обмыв лица, через пылающий вечерним жаром двор, пошел в кабинет Арефьева...

Дверь захлопнулась, и они очутились в полутемном гимназическом карцере. Михалев со всего размаху сел на голый топчан, единственное, что стояло в карцере, и спрятал лицо в ладони. Смирнов выругался. Он продолжал стоять около дверей карцера, точно надеясь, что сейчас они откроются... Но все было недвижно. Коваль сказал: «Ой, лыхо!», вздохнул и стал старательно стлать на полу шинель, явно устраиваясь надолго. Герасименко вдруг заговорил медленно, с расстановкой, глядя на землю. Он сидел на корточках, прислонясь к стене.

— Последний раз я сидел в каземате, захваченный

белями, и ждал доблестной смерти. А сейчас... — он горько отмахнулся. — Надо сказать, подло это вышло.

И Коваль подтвердил:

— Верно, хлопцы, нашкодили, як коты. А ведь мы с тобой, Николай Иваныч, члены бюро...

— Эх! — укоризненно сказал Смирнов. — А вот мы с Яшей ничего не боимся. Верно, Яша? — тот уныло молчал.

— Глуп ты, Коля, ну, как ты глуп, — с явным сожалением и без насмешки сказал Коваль.

Переругивались до вечера. Смирнов спервоначала петушился, когда задор отыграл, сдал и он.

А утром, сразу после чая, услышали у двери голоса Миндлова, Арефьева и командующего.

Но вошел в карцер только командующий. Был он как будто бы спокоен и весел.

Смирнов со своей недалекой хитростью прикинул, что раз командующий пришел сам, стало быть, дело не так уж скверно, и стал что-то говорить насчет головной боли и меланхолии. Но товарищи его угрюмо молчали, и, бегло оглядев их, командующий прервал Смирнова:

— Вот что, Николай Иваныч, об этом мы поговорим после, а сейчас давай напрямик: что ты, хочешь плетью обух перешибить?

— Товарищ Арефьев...

— Ты Арефьева оставь. Арефьев свое дело делает. А ты вот не делаешь.

Он выжидал несколько секунд. Смирнов упрямо молчал.

— Ой, Коля, — грозно и сильно сказал командующий, — ой, Коля! Ты видишь, я по старой дружбе и по твоим заслугам с тобой разговариваю, но имей в виду — мы сейчас высоту забираем, будем балласт сбрасывать... Ты это попомни. Чистка-то партии не за горами.

— Меня — исключить? — с негодованием спросил Смирнов.

Командующий ничего не ответил, только взглянул, и, поняв его взгляд, предостерегающий, добродушный и жестокий, Смирнов вскочил и быстро заходил по маленькому карцеру, натыкаясь на стены. Командующий с веселым любопытством продолжал следить за ним.

— Слушай... товарищ Гордеев... — сказал Смирнов, став перед командующим — Ты ведь меня всего-всего

знаешь... И что́ я без партии? Ведь я ж коммунист, товарищ Гордеев... И если коснется до партии... Да я не только что математику или там диалектику... да я не́... — он не нашел слова и беспомощно махнул рукой. — Ну, все-таки объясните мне, — переходя на требовательный тон, заговорил он, — со своим-то полком я ведь без математики управлялся.

— Времена теперь другие. И совсем другая война нам предстоит. Со всей мировой техникой столкнемся. Тут, дорогой товарищ, без математики уже не обойдешься.

— Так если бы чему путному учили, — ободренный миролюбивым тоном командующего, сказал Смирнов, — если бы военному делу... А то эти бассейны, сорок бочек вина, сколько втекает, сколько вытекает... — игриво начал он, но запнулся и не кончил: суровый взгляд командующего остановил его.

— Вот что, Смирнов, — серьезно сказал командующий. — Ты хочешь, чтобы мы тебе дали обрастать жиром и превратиться в старорежимного отставного с мундиром и пенсней? А ведь мы с Розовым намечали тебя по военной линии учиться послать, — и он, прищурившись, поглядел на заулыбавшегося Смирнова. — А вот как рапорт твой прочли, где ты показываешь свою серость и позорно, как мальчишка, отлыниваешь от учебы, так подумал я, что напрасно на тебя, такого, рассчитывал. Нельзя посылать нам такого вот, — показал он пальцем на самодовольное лицо Смирнова, словно тот мог сам себя видеть. — Нам перед людьми краснеть тоже нет охоты.

Гордеев помолчал, дав время Смирнову ответить, но Смирнов, упрямо склонив свой крепкий затылок, тоже молчал.

— Ну что ж, — сказал Гордеев, — не хочешь? Из партии наладим! И из армии выгоним! Нет, не выгоним, — поправил он сам себя, заметив, как гнев заиграл в глазах Смирнова. — Не выгоним, — и грозный рокот слышен был в голосе Гордеева. — Тебя выгнать — ты еще в бандиты подашься... На конюшню назначу... конюхом будешь... — Он с отвращением взглянул на Смирнова.

У Смирнова дернулись губы и щеки, он то открывал рот, то закрывал...

И Гордеев, видимо удовлетворенный действием своих слов, сказал спокойно:

— Ты не думай, что я тебя пугаю. Ведь насильно учиться нельзя. И я ответа от тебя сейчас не хочу. Постарайся сам понять. А я только наперед говорю, что с тобой сделаю, иначе не могу сделать...

Он перевел глаза на Коваля, н Коваль сказал ему, не дожидаясь слов комаидующего:

— Товарищ Гордеев! Мы с Герасименко все поняли... Готовы иести наказаиие. И слово даем: будем учнться.

— И я... — сказал тороплнво Михалев, подымая зеленовато-бледное лицо. — Попутало-с.

Последнее слово заставило командующего насторожиться: что это за «с»?

Он остро взглянул на Михалева, на его тоненькое, золотушиое личико, в жалкой улыбке показавшее испорченные зубы.

— Вы какую должность занималн?

— Ко... комиссар лазарета.

— Та-ак. Номер госпиталя? А... иа фронте был?.. Та-ак. А... сами-то вы откуда взялнсь? Кто родители?

— Из воспитательного я, — холодиыми губами прошептал Михалев.

— А-а! — потеплел голос командующего. — Ну, друзья, пока всего! Но надо, чтобы до конца курсов я больше о вас не слышал.

Комаидующий вышел из карцера. Михалев мешком повалился иа пол и закрыл голову шннелью.

— Вот те и дворянская кровь! — сказал Коваль и печальио, сочувствеино н насмешлнво мигнул Герасименко в сторону неподвижнсго Михалева.

Глава седьмая.

В дверях показалась осанистая фигура командующего, за иим вошел Арефьев н тихо прикрыл дверь. Началось заседание партийиого бюро.

— Итак, товарищн, я думаю, что бюро должно разобраться в пронсшедшем инциденте, поскольку все провииившиеся — члеиы партии, а двое — члены бюро, — говорил Арефьев.

Слова его были кратки и официальны. Ни одного

лишнего слова не сказал Арефьев. Он только сообщил о происшедшем и объяснил свои действия тем, что «упомянутые четыре курсанта» демонстративно нарушили приказ по курсам.

Наступило молчание. Арефьев стоит за спинкой кресла.

— Товарищи, дайте мне слово, — вдруг раздается глухой голос.

Все оглядываются. Это однорукий комиссар Кононов; он сидит на табурете у дверей. Во время заседаний бюро он всегда садится там. На заседания бюро его никто не приглашал, но он, несмотря на неприязненные взгляды Смирнова, всегда приходил сам, тихо сидел, не говоря ни слова. Члены бюро уже привыкли к его молчаливому присутствию, перестали замечать его, и вот впервые после выборов бюро он заговорил.

— Партийная цена этим товарищам — не гораздо высокая, — глухо говорил Кононов. — Это верно. И поучить их надо. Это тоже верно... но эти люди... я разумею Смирнова, Коваля, Герасименко... они ж свои люди...

— Они нам мешают учиться, — резко сказал Васильев.

— Ну, а куда их деть? — ответил вопросом Кононов. — Где-то надо же их переламывать. И я не знаю, а сдается мне, что курсы наши задуманы больше, скажем, для Смирнова, чем для Васильева, который при крайности учиться сам может.

«Все верно, — подумал Лобачев, не отводя глаз от спокойного, темного лица. — Как все верно и ясно...»

Но уже с места поднялся Медовой:

— Товарищи, вы не подумайте, что я... Но я вас спрошу, товарищи: или у нас на курсах нет хуже этих ребят?

— Есть хуже, — подтвердил Кононов, — у нас есть... впрочем, об этом элементе лучше пока помолчать. А эти люди — это наши люди, и если мы за такие грехи будем от нас людей отбрасывать, то, конечно, мы будем очень чистенькие, но маловато нас останется.

— Правильно, — сразу поддержал его Лобачев.

Шалавин как бы про себя сказал:

— Верно, я все об этом думал, а ты верные слова нашел, — глаза его стали ласковы.

— Прошу не перебивать, — сказал Злыднев, но сам одобрительно кивнул головой.

— Если уж разговор об этом зашел, так нужно сказать, что руководство курсами и партийное бюро тоже имеют свою долю вины в этом деле, — сказал Кононов и взглянул в сторону Арефьева: тот неподвижно и прямо стоял за высокой спинкой кресла, положив на нее локти.

— В чем же наша вина? — недоуменно спросил Миндлов.

— А в том, что хотя много говорили об учении, а главного не сказали. Ученье... Да сейчас на учебу надо так призывать, как мы призывали крестьян и рабочих защищать социалистическое отечество! — вдруг воскликнул Кононов звонко, совсем по-другому, чем до этого он говорил своим обычно глуховатым, монотонным голосом. — Да ведь товарищ Ленин на съезде комсомола говорил о том, что значит учение для молодежи. А что мы здесь — старики собрались? Без науки мы социализма не построим, а кому же строить, если не нам? Да вспомни: каждый раз ведь, когда изгоняли мы белых, куда бы ни приходили, в какое глухое место, сразу всех от мала до велика учили грамоте, школы открывали... Везде открывали — в халупах, в бараках, в землянках, в казахских юртах. Где только мы школ не открывали? А сейчас? Сколько в нашем городе сейчас рабфаков? Четыре. А с будущего года будет шесть. Готовим будущих студентов для горного института, для политехникума и для педагогического и для сельскохозяйственного. А что ж мы, военные большевики, комиссары? Неужели мыслимо нам отставать в этом походе? Нет, мы и тут пойдем в авангарде! И я так понимаю, что этот вопрос отнюдь не культурно-просветительный, а политический. Ведь против какой учебы брыкается наш товарищ Смирнов? Ему учение Маркса и Ленина помогают осмыслить, а он уши зажал? Да ведь если ты сегодня учиться не хочешь, — говорил он, обращаясь к открытому окну, как будто его слова через окно могли долететь до Смирнова, который еще сидел в карцере, — какой же ты завтра будешь строитель социализма? Не строитель ты будешь, а тормоз...

Он замолчал. Все ожидали, что он еще скажет. Молчание его показалось неожиданным, но он уже отошел в сторону и сел на свою табуретку.

— Молодец, в самую точку попал! — сказал командующий.

Лобачев поднял руку:

— У меня предложение: оставить членами партии и на курсах, но объявить партийный выговор.

— Я им еще в приказе по округу выговор отдам, — сказал вдруг Гордеев. — Содрогнутся, они все службисты.

Арефьев безмолвно кивнул головой. Гордеев положил большую теплую руку на сухое колено Арефьева.

— Только здесь скажу. И с тем, чтбы за стены бюро не уходило. Но надо указать вам еще одно упущенье, товарищи: не сумели вы найти и к сердцу Николы Смирнова особенного пути. Что есть Смирнов Николай? — он помолчал и обвел всех своими маленькими глазами, твердыми и синими. Никто ему не ответил. — Смирнов Николай есть наш товарищ, воспитанный гражданской войной, взращенный славной нашей армией командир. У него свой, особенный интерес к жизни — армия, наша армия. И вот этот интерес, милые мои товарищи, политпропагандисты и агитпросветители, вы в нем никак пока не затронули — ну никак...

В то время как в комнате идет обсуждение, перед дверями бюро, ожидая, чтобы их впустили, встретились двое курсантов. Оба догадываются, что привело каждого к этим дверям, но с хитрой осторожностью оба заговорить об этом не решаются и ведут безразличный, часто прерывающийся разговор.

Дудырев ловко по-татарски присел на корточки у стены, округлились его синие рейтузы на крепких коленях, он торопливо задымил козьей ножкой. Сизов стоял, напряженно вытянувшись у стены и заложив палец за ремень. Помолчали. Довольно-таки долго молчали.

— Бюро дожидаетесь? — первым осторожно спросил Дудырев, и его скуластое лицо, на котором пушились казачьи, реденькие, но холеные усики, приняло совсем безразличное выражение, а небольшие зоркие глаза прищурились.

— Да... А вы?

Попрежнему щурясь, Дудырев кивнул головой.

— По какому делу? — спросил Сизов, пригнув голову.

Дудырев не ответил, но, подняв лицо, глянул в черно-рыжую бороду Сизова и в его круглые золотисто-карие осторожные глаза.

— Эх, земляк! Чего тут, по одному, верно, делу!

— Видимо, что так, — усмехнувшись, ответил Сизов и, разом ослабив напряжение, грузно опустился на корточки рядом с Дудыревым.

— Брат помер, — быстро шептал Дудырев, — а жена пишет: сноха делиться хочет. Разобьют хозяйство.

— Правильно, — поддакнул Сизов сочувственно. — Что ж, бабы поделятся — и хозяйству конец.

— Я вернусь, станицу по-своему поверну, — и Дудырев вздохнул глубоко.

— У меня ведь и того горше... — шептал ему Сизов.— Землю у помещика взяли, крепко взяли, теперь земли хватит, а работать некому. Батю засекли чехи, брат — инвалид, другой — невесть где, не то в Чите, не то в Китае. А хозяйство все на племяше, а ему всего четырнадцать годков. А мужики подушно равнять возьмутся, — и не успел он кончить — дверь открылась, и голос Злыднева позвал их.

Вошли. Показалось Сизову, что Ленин с портрета внимательно смотрит им навстречу. Отвел взгляд в другую сторону и сразу подтянулся, встретив веселый взгляд командующего, увидев пушистую его бороду. Дудырев тоже увидел командующего, почтительно и радостно тронул рукой козырек своей лихо сбитой набок мятой фуражки и потемневшим кантом, — командующий ласково ему кивнул: старый знакомый!

Злыдиев медленно, с запинками, читает заявления. У Дудырева под прозрачными усиками дрожит виноватая, взволнованная усмешка. Сизов спокоен и переступает с ноги на ногу. Злыднев кончил, откашлялся.

— Как же, товарищи, — спросил он тихо, — продержались в тяжелое время, а теперь уходите? Теперь, когда мы начинаем строить новое хозяйство, социализм, вы из партии наутек?

Большое лицо Сизова потяжелело.

— Хозяйство строить, говоришь? — переспросил он. — В деревню-то я еду, чай, не барствовать, тоже по хозяйству...

Васильев быстро и гневно перебил его:

— Ты, товарищ Сизов, говоришь о хозяйстве своем личном, а товарищ Злыднев говорит о нашем общесоциалистическом хозяйстве.

— И вот партия говорит своему члену: ты нужен здесь, на этом посту, — сказал Злыднев и добавил тонко: — А ты — наутек! Ну, и выходит, что дезертир.

Оба молчали. У Дудырева быстро дергалась щека.

— Мое заявление ты читал, товарищ Злыднев: там все-все сказано, — спокойно и веско сказал Сизов. Его лицо еще более потемнело, и он повторил: — Читал. И вы можете меня всяко ругать...

— Всяко!.. — вдруг выкрикнул Дудырев, обернувшись в сторону командующего. — На групповых занятиях товарищ Ляховский объяснил: ты мелкий буржуй. Это он мне! Ну что ж, мелкий так мелкий... — Он откашлялся, точно что-то горькое попало ему в глотку, и с удовольствием заметил, что глаза командующего посерьезнели; командующий обернулся к Миндлову, они зашептались.

— Нехай, — махнув рукой, спокойно сказал Сизов. — Мелкий так мелкий. Я свое знаю, товарищи... Тут приложено письмо племяша моего, и вот он пишет: хозяйство приходит в разор, нема работников. Кулаки да дезертиры, они остались в деревне, и у них все идет ладно, а наши большевистские хозяйства похилились, гибнут. Я не противник партии, и как был я бедняк и первый в нашей деревне стоял за Советы, на такой точке и останусь. Но скажу: ежели мужик о себе не подумает, о нем печальников не найдется... Прошу, товарищи, увольте меня от этого дела, — добавил он и замолчал.

Члены бюро переглянулись.

— Так... — сказал глухо Кононов.

«Как трудно повернуть человека, когда в нем говорит класс: он действует тогда как зачарованный», — подумал Косихин, жадно слушавший все, что происходило на этом замечательном заседании бюро.

— Бюро постановило вас усовестить, — сердито сказал Злыднев, — а отнюдь не держать силком. Не хотите — воля ваша, стало быть ставим на общее собрание. Вопрос считаю исчерпанным.

— Торопимся... торопимся... — вдруг с мягким упреком сказал командующий. — Вы можете идти, товарищ Сизов, — приветливо и в то же время отдаляюще-вежли-

во обратился он к Сизову. — А ты, Дудырев, задержись... — Но в этом приказании, повелительном и грубом, слышна была неожиданная ласковость.

Сизов спокойно вышел.

— Мужичье... — едко пробурчал ему вслед Васильев. — Пусть уходит... без них только партия чище станет.

И Лобачев, сразу обидевшийся за Дудырева, за себя, за миллионы людей, родных людей, увидел, что командующий круто повернулся к Васильеву:

— Это что еще у нас за дворянство фабрично-заводское завелось? — негромко спросил он, и все засмеялись.

Васильев багрово покраснел, и Лобачев видел, что Дудырев тоже заулыбался.

— Значит, ты рассчитал так... — говорил командующий, насмешливо и дружелюбно рассматривая Дудырева. — Был приказ, что комиссарский состав в армии удерживается. И ты так рассчитал: «Перейду на беспартийное положение, стану рядовой... и попаду под приказ о демобилизации?» Эх, и хитер.

— А чего... — потупясь, ответил Дудырев.—Ну, да ничего... — и он загадочно усмехнулся.—Вы еще услышите про Дудырева! Не в кармане билет носят, а вот! — он воодушевленно ударил себя по плоской и широкой груди.

— Я ж и признаю — хитер. У тебя в этом деле есть свой какой-то замысел. Может, скажешь, а? Напоследки? А ну! — мягко и повелительно уговаривал Гордеев. — А ну...

Дудырев настороженно оглядел всех. Но на лицах товарищей он видел такое же дружеское внимание, какое слышал в словах Гордеева. И Дудырев начал расправляться... Он почесал под фуражкой затылок, и фуражка растреснутым козырьком налезла ему на глаза. Во всей его позе видна застенчивая неловкость.

— Не хвались, едучи на рать, — откашливаясь, произнес он. — Ну да ладно... может, что и присоветуете. Вот... — Он бережно вынул из-за пазухи сложенный ввосьмеро плотный лист бумаги и развернул его.

«Что такое?» — изумился Косихин, узнав немую, без красок карту Африки, Сахару, Нил и Нигер, воды океанов вокруг.

— Вот это пишут станичники из моей сотни, — и Дудырев, волнуясь, ударил по оборотной стороне карты,

где накарябаны были неровные буквы, — зовут скорей в станицу. Старая атаманская свора скалит зубы... Нашему брату, беднячку, поодиночке не совладать: наши хозяйства подорваны, мы воевали за весь народ... А он — он только себя и помнит, да свой двор... И вот пишут, зовут... Ну, я и отписал... Коммуну будем ладить, — бережно и осторожно выговаривает он, — партизанская коммуна имени Емельяна Пугачева... — с гордостью выговорил он бунтарское имя крестьянского вождя. — Ну, и председателем коммуны хотят... товарища Дудырева... как я был комиссар второй сотни... казачьего имени Пугачева... — Дудырев смутился, сбился, сел и исподлобья вызывающе оглядел всех. Нет, никто не смеялся. Наоборот, уважение, сочувственный интерес, готовность помочь... Дудырев поднял голову и подпер бок рукой.

— И почему ж ты, Дудырев, — тихо и серьезно спросил Гордеев, — не пришел, скажем, сюда? Или, по старому знакомству, ко мне?..

— Так ведь приказ был — не отпускать. Ну и верно, я слукавил. А вы, неужто отпустите? — торопливо, недоверчиво-радостно спросил Дудырев. — Неужто? Да я б...

Укоризненно покачивая головой, Гордеев взял со стола красненький партийный билет Дудырева и стал рассматривать его.

— Товарищи, — не спуская глаз с его рук, говорил Дудырев. Его лицо мокро, очевидно от пота. — Я ж горькими слезами, горькими слезами плакал, как писал это заявление. Но выхода не видел. Ну что же, думаю, ведь можно и беспартийному строить коммунистическую жизнь!

— Ну как, будешь еще отдавать? — спросил Гордеев, протягивая Дудыреву партийный билет.

— Нет, — не решаясь взять и не сводя глаз с билета, говорит Дудырев. — С кожей, — если только кожу сдерут! И спасибо вам, товарищи, за вашу справедливость и тебе спасибо, товарищ Гордеев.

— На! — говорит Гордеев, и Дудырев берет билет. — Завтра зайди в округ.

Дудырев положил за пазуху билет, сложенную карту Африки и все свои бумаги; пальцы его путаются в пуговицах и петлях гимнастерки, и эта дрожь отзывается на лице, на губах...

— Ты молодец, товарищ Дудырев! — сказал вдруг Кононов глухим своим голосом. — Далекую цель ты наметил себе и отправляешься в очень дальний путь... Немало тебе еще предстоит воевать за коммуну. Но крепко держи с нами связь, товарищ...

И он так сказал это слово «товарищ», что у Лобачева, и без того взволнованного, вдруг защипало в горле и стало горячо глазам.

Дудырев спрятал бумаги и стоял посреди комнаты. Он, видимо, и сам себя чувствовал точно перед отплытием в далекую страну. Ему хотелось сказать какие-то слова, воодушевленные, серьезные и веселые, и они, как назло, пропали, — эти, такие дорогие слова, слова, подобранные из газет и брошюр, новые слова...

Ласковый смех прошел по комнате. Дудырев усмехнулся, лихо встряхнулся, словно собираясь пойти вприсядку, но потом вдруг сковал себя и церемонно и наивно, с торжественным лицом обошел всех, пожимая руки.

— Так пиши! — задерживая его руку, говорит Кононов.

Дудырев ушел.

И сразу все заговорили. Спало радостное, очищающее напряжение, все почувствовали, что устали. Дудырев был у всех на устах. Васильев молча, пристыженный, сидел в стороне, — ему казалось, что все смотрят на него с осуждением.

— Товарищи! — заговорил Злыднев, похлопывая ладошкой по столу, — сейчас кончаем, товарищи. К порядку, к порядку! Ставим вопрос насчет состава бюро. Несовместимо Смирному и Ковалю пребывать в бюро.

— Какой уж... — Шалавин махнул рукой.

— Единогласно? — спросил Злыднев. — Стало быть, кандидаты идут в члены. А кого будем ставить секретарем? Я еще раз прошу меня освободить, трудно мне.

Молчание. Члены бюро переглядываются.

— Васильева? — вопросительно сказал Медовой.

Но командующий, точно не расслышав, вдруг повернулся к Кононову.

— Вот присматриваюсь я к этому товарищу, — произнес он, — при теперешних делах ваших, — а дела ваши, по всему видать, серьезные, — очень бы вам он годился как секретарь.

— Не член бюро? — раздумывая сказал Злыднев и сам себе ответил: — Довыберем.

— Довыберем! — воодушевленно вмешался Лобачев. — На первом же собрании.

Сберегая слова, Кононов рассказал о себе. В партии с семнадцатого года. Работал на четырех питерских заводах, после забастовок приходилось менять паспорт, переходя с места на место. С восемнадцатого на фронте. Биография простая, точно вырубленная из камня, из серого северного гранита, так все ясно, что даже спросить не о чем...

Голосовали дружно, серьезно и молча.

И в конце заседания прочли циркуляр губкома о помощи голодающим.

В окно продолжала литься мрачная, беспощадная жара. Вот уже сколько недель ни капли не падало на землю, покрывшуюся трещинами, и город с окрестными пашнями и далекими деревнями точно засунут в громадную раскаленную печь...

Постановили принять отчисления четверти фунта на голодающих. Разошлись молча, без обычных шуток.

Глава восьмая

Курсам выдали новое единое обмундирование, и когда Смирнов, сменивший свой франтовской френч и галифе на обычную красноармейскую летнюю форму, вышел из вещесклада и в такой одежде увидел он Коваля, то сначала не узнал друга. Привычно было видеть веселое, круглое лицо под лихой, по-кавалерийски заломленной фуражкой, а тут вдруг остроконечный шлем и аккуратный, точно накрахмаленный, отложной воротничок гимнастерки! И почувствовал Николай Иванович, что тот, «арефьевский», порядок, против которого он пытался протестовать, непреодолим.

Примерно это же почувствовал Коваль, потому что круто отвернулся он от Смирнова, и разошлись они в разные стороны. На поверке и на очередном партсобрании были прочтены выговоры. Провинившиеся оказались теперь накрепко включенными в курсовой обиход, еще более уплотнившийся и отвердевший... Мотор учебной работы застучал еще ровнее и четче. Секретарем ячейки

стал однорукий Кононов — и словно не было раньше ячейки на курсах. Пошли комиссары по полкам и предприятиям делать доклады. А в пустых классах верхнего этажа, опять же по предложению Кононова, Лобачев и Косихин стали устраивать клуб, чтоб было где играть в шахматы и шашки, побренчать на рояле, отысканном в дальнем углу музея Наробраза среди кучи запыленных атласов и окаменевших костей какого-то гиганта.

Лобачева и Косихина Миндлов нашел в одной из комнат будущего клуба. Сергей стоял на стуле, поставленном на стол, и навешивал портрет Маркса в золоченой рамке.

— Что у тебя вышло с лектором, который ведет курс строительства социализма? — спросил Миндлов.

— Это с Золотушным?

— С Золотухиным, — поправил Косихин.

— Я ж и говорю — Золотушным... — невозмутимо продолжал Лобачев. — Поспорили немного. Я его спрашиваю: «Вы Ленина выступление о продналоге на Десятом съезде проходить будете?» — «Это, говорит, не по моему курсу. Это по аграрной политике советской власти...» Я так и ахнул. Взял его программу: у него верстовыми столбами единый хозяйственный план, трудовые армии — и сразу коммунизм. «А о крестьянстве?» — «Это тоже не по моему курсу». Ну, тут я его взял... — и Лобачев даже оскалился от удовольствия. — «Да, да... Пожалуй, вы правы!.. — стал он передразнивать лектора. — Я, пожалуй, это вставлю. Только трудно очень вставить — нарушает стройность программы». А я ему говорю: «Значит, программа в самом корне неверная, если Ленин ее нарушает». Обиделся... Я и то рассказать тебе собирался. Все полуграмота...

Снова загрохотал молоток в руках Косихина.

Миндлов ушел.

— Верно? — спросил Косихин сверху.

— Косо. Налево чуть, — снизу ответил Лобачев. — Да ниже, вот так!

Косихин снова загрохотал молотком.

— Скажите, здесь Сергей Калинский работает?

Точно обещал что-то этот мягкий женский голос. Лобачев быстро обернулся и увидел ее.

Цветы такие видел Лобачев в разгромленной барской оранжерее: они склонялись с тонких стебельков, и сры-

вать их нельзя было — досадно осыпались они розово-белыми лепестками.

На такой цветок походило лицо этой девушки. Две темнорыжие короткие и кудрявые косы лежали на ее плечах...

На несколько секунд словно связан был Лобачев ее вопросительным взглядом. Немолчно грохотал молоток Косихина и сыпал сверху штукатурку. Но когда она опустила глаза и неярко зарумянилась, Лобачев спохватился и ответил на ее вопрос:

— Калинский? Такого у нас нет.

— Странно, а мне сказали, что он работает на этих курсах.

Стук молотка вдруг прекратился.

— Варя, ты? — изумленно и радостно спросил Косихин, с грохотом спрыгнул на пол, и они обнялись; потом, застыдившись, отпрянули друг от друга и, держась за руки, вышли из комнаты.

В комнате стало пусто. Лобачев оглянулся, и сразу ему все стало неинтересно. Он подошел к окну, — там выгоревшая, вытоптанная трава... Лобачев вяло побрел во двор...

Тихо. В часы отдыха не слышно веселого смеха, не видно возни. От своего полуторафунтового пайка полфунта каждый курсант отдавал голодающим, и это сказывалось сейчас в часы отдыха. Те, кто послабее, забвенно спят, кто поупрямее, те настойчиво продолжают учиться... Кучка певунов собралась на бревнах, тянут старинный напев; слов не разобрать.

Эх да эй... эх да ой...

Лобачев, словно медведь в клетке, медленно бродит взад-вперед, вдоль дощатого забора, огораживающего двор. И вдруг рядом, совсем над ухом, услышал глубокий вздох; и приятный, словно увлажненный, женский голос произнес его имя — здесь же, за забором, рядом...

— Я ж, Гриня, вызову кого к доске, а сама не слушаю, на тебя гляжу, право...

— Это уж, Люба, не годится, — со смешком ответил мужской голос.

«Чей это голос? Васильева? Ну, конечно, мы тезки... Так ведь это он с учительницей... Любовь Александровна... Ишь ты...»

Лобачев шел через темнеющий двор, пытаясь затуманить то, что въявь встало перед его глазами: эти брови, темные и раскинутые, как весла на взмахе, сияющий белый лоб и вопросительное выражение в глазах и складке губ... «Ну что? Ну что тебе надо? — невольно сказал он этой девушке, сказал настойчиво и страстно. — И неужто ж она жена Сережкина?» — подумал он неприязненно и обругался, поймав себя на этой неприязни к товарищу. Накрепко затянувшись махоркой, вышел он за ворота. Там, на лавочке, с винтовкой в руках дневалил Шалавин.

Глаза Шалавина весело поблескивали. Проницательно посмотрел он в лицо Лобачеву. Давно сидит он один, хочется поговорить словоохотливому человеку, и залучает он себе в компанию Лобачева.

— Иди сюда, посиди со стариком, расскажи, где был, кого видал?

Лобачев сумрачно отмалчивается, но садится рядом. Шалавин пристально вглядывается в его лицо и говорит:

— Женился бы ты, товарищ. Это плохо, что ты не женат. Жена тебе развитие даст... Да ты не качай головой! Ты думаешь: «Вот какой я есть высокоученый политический гражданин Лобачев!» Но я тебе скажу: ты совсем не гражданин, а мальчишка. И еще сам себя не знаешь, что ты есть, и определить тебя нельзя. Иногда случается так: мальчишкой был вроде хороший, а женился — и стал чепуха-человек. Это ты понимай: не жена его таким сделала. А сам он дрянью был, но только через женщину определился. А другой был ни рыба ни мясо, а женился — и образовался твердый человек.

— Я все-таки думаю, дед, что эта твоя философия никуда не годится, — сердито сказал Лобачев. — Человека определяет классовая борьба, и как он себя в ней покажет, такой он и есть.

— Я ведь с тобой, как с сыном, говорю. Да ты не сердись, — просительно сказал Шалавин. — Для меня каждый молодой коммунист — сын, пожилой — брат, и все мы — одна семья. А когда и своя кровь бывает как чужая. Вот я тебе расскажу о том, как у казаков случилось. Двое братьев, стало быть. Один красный, у меня был адъютант, а другой — атамановец...

Лобачев рассеянно слушал рассказ о братьях, которых одного против другого поставила революция, — рассказ, каких много слышал он в эти годы, — как вдруг издали показался Сергей Косихин, и Лобачев встрепенулся и совсем перестал слушать Шалавина. С волнением и завистью следил Лобачев за тем, как приближается Косихин своей, еще не установившейся и вихляющейся походкой, — его нежнорумяное, веснушчатое лицо было радостно... Сергей быстро, улыбнувшись Лобачеву, прошел мимо в калитку, и Лобачев, не дослушав рассказа Шалавина, словно притягиваемый магнитом, встал и прошел за ним.

Они были у себя в комнате. Косихин возбужденно рассказывал политические новости: вышла брошюра Ленина о продналоге, очень интересная, глубоко освещающая переход к новой экономической политике; эту брошюру скоро, на днях, привезут из Москвы. Лобачеву название брошюры напомнило затронутый и бережно хранимый газетный лист с речью Ленина на X съезде, но он не расспросил Косихина подробнее и вдруг перебил:

— Сережка, у тебя разве двойная фамилия? .

Косихин покраснел.

— Ах, это Варя спросила? Калинского? Нет... То есть да. Калинский — наш отец.

«Наш. Она сестра ему?»

— Это сестра твоя? Приходила которая?..

— Да. Но она не знала, что я под фамилией матери. Варя у отца живет. Мы с ней так и растем: не видимся несколько лет, потом немного вместе... — в голосе Сергея слышна грусть.

Лобачев подошел к окну. Ветер бурно и взволнованно нес облака и то открывал, то закрывал луну; знамя на башенной калитке курсов трепетало, как сердце.

Солнце уходило за выцветшие крыши, за синие хвойные горки, и ровный янтарно-чистый закат сулил на завтра такой же знойный день.

Варя, Лобачев и Косихин стояли на пригорке. Сзади засыпающий город сонно грохотал мостовой, справа поднимались в небо трубы завода, бездымные и печальные, где-то вблизи церковка трезвонила настойчиво и жалобно, словно тонкоголосый попрошайка.

— Ты надолго, Варя, получила отпуск? — спросил Сережа.

Варя вдруг багряно покраснела.

— Да... то есть, как отпуск?

— Но ведь ты где-нибудь работаешь, ты ведь училась?

— Я учусь во Вхутемасе.

— Это что такое? — спросил Лобачев.

— Это художественное училище, там обучают новому искусству, — быстро сказала она. — А отпуск — я вообще, так...

Она опять покраснела. Этот вопрос вдруг всколыхнул в ней горести, порожденные бесплодной, замкнутой в себе жизнью. Она вспомнила о том, что членский взнос у нее не заплачен за несколько месяцев, о том, что во время последней академической чистки ее не исключили только благодаря имени отца.

— Какой сегодня закат красивый! — сказал Сережа.

— Засушливое лето, — ответил Лобачев. И он заговорил о том, что всегда глухо болело в его душе: — В нашей деревне одну шестую прошлогоднего ярового клина засеяли. Даже при урожае — еле-еле самим себе на обсев и прокорм. А теперь все погорело...

Варя слушала его густой голос и думала о том, что красивая сила есть в этом голосе, такая же сила, как и в выражении этого упрямого, простого лица. И не слышала она печали и заботы в его словах.

Солнце, желтый расплавленный слиток, похоже что толчками опускалось за край земли, и Варя словно почувствовала ее округлость и стремительный лёт в пространстве. От этой мысли, навеянной, может быть, чтением Фламмариона, стало жутко и одиноко, и даже закружилась голова. Она испуганно оглянулась. Спокойно и крепко стояли рядом коротконосый, о чем-то задумавшийся Лобачев и стройный, чуть сутулившийся Сережа, волосы которого точно отражали закат, золотой и рыжий. И она позавидовала тому, что они, верно, живут счастливо, совсем не так, как она.

Солнце скрылось. Вспыхнувший было на прозрачном небе румянец стал торопливо гаснуть. Они повернули и пошли назад в город, на который опустилась глубокая дрема востока, спящего в ожидании скорой зари.

Было воскресенье, долгий день приятного безделья

Версты на четыре ушли они в хвойник, окружавший город. Сережа спрашивал об отце. Варя рассказывала, и Лобачеву интересно было слушать о том, как живет этот человек, статьи которого ему часто попадались в газетах. Но безотносительно к тому, что она говорила, он слушал ее голос, — похоже было, что этот голос мягкими своими переливами о чем-то другом рассказывал Лобачеву. Он наблюдал за тем, как живут ее глаза, ее изменчивый рот, немного сдвинутый в сторону.

Но теперь день прошел, и Лобачеву кажется, что сегодняшнее утро, когда они встретились и, по предложению Сергея, втроем пошли в лес, было очень давно. Так всегда бывает, когда наяву встретишь ту, о встрече с которой мечтал в моменты чуткой, предшествующей сну дремоты.

День прошел. В руках у Вари сосновые ветки и чахлые цветы этого сухого лета. Они стояли перед калиткой курсов, и вот надо расставаться.

— Мне подзаняться надо, Варя, — сказал Сережа, — а то бы я к тебе пошел.

— Вечер уж очень хорош, — с наивной и нескрываемой хитростью сказал Лобачев, — может, прогуляться малость?

— Хорошо, — ответила она.

Но, оставшись наедине, почувствовали они, что говорить им не о чем...

Лобачев молча взял Варю под руку. Не выбирая дороги, вел он ее в темноту пригородных переулков...

Слова не приходили на ум, и он молчал. Варя же, хотя чувствовала ненужность слов, торопливо говорила:

— Вот, товарищ Лобачев, ежели бы люди друг про друга говорили то, что они думают... Обидно было бы, верно? Человек про человека думает всегда с обидной холодностью и только с целью что-либо получить.

Лобачев не понимал, да и не старался понять, то, что она говорит. Горячая рука его обняла ее, и сразу ей самой показались фальшивыми последние ее слова. Она замолчала. Так тушат свет, когда наступает утро.

Когда он целовал ее щеки, руки ее вздрагивали и роняли ветви и цветы. Горячие его губы потянулись к ее губам. И тут какая-то внутренняя сила толкнула ее к сопротивлению. Она вдруг почувствовала, что глаза ее закрыты, и она их открыла. Она увидела его блестящие

глаза почти около своих глаз и отвернула голову, потому что губы его были почти у ее рта. Она увидела его запотевший, блестящий висок, приоткрытый сползшим шлемом, и слабо оттолкнула его. И сразу он отпустил ее.

Наступила короткая тишина. Где-то близко надрывались, заходились в страстной задышке лягушечьи стаи.

— Я будто тебя давно... так давно знаю, будто всю жизнь... — хрипло и горячо сказал он.

— Идемте домой, — ответила она, голос ее прерывался.

Повернули. Шли обратно молча, ни о чем не говорили, только у калитки дома, где она остановилась, когда рука Лобачева отпустила ее, она, задержав эту руку в своей, сказала, и голос у нее был странный, точно им, как тонкой пленкой, она задерживала из глубины рвущийся не то плач, не то судорожный смех:

— Однако, Лобачев, вы мастер... Для начала политический разговор, прочувствованные слова о неурожае, и потом все, как по нотам!

С недоумением и обидой слушал Лобачев эти слова. Он не знал, как и что ей ответить. Ведь если он неприятен ей, она могла оттолкнуть его с первого момента. Но ведь не оттолкнула. Тогда зачем эти грубые слова?

— Думаете, мне это в новинку? Ошибаетесь, — не на таковскую напали. — Она внезапно замолчала, словно кто-то сильной рукой закрыл ее рот. Ей, видимо, было нестерпимо плохо, и глаза ее заблестели неожиданными слезами.

Лобачев с недоумением смотрел на нее. Как-то совсем не шли к ней эти грубые слова, да и произносила она их с надрывом и фальшью.

— Не пойму я, Варя... Что ты? И зачем мне знать про то, что только тебя касается...

Он махнул рукой и отвернулся от нее. Сзади Варя не то всхлипнула, не то засмеялась.

«Дорогой Лобачев! Разговор, который у нас вчера произошел, — плюньте вы на него. Я очень глупо вела себя и раскаиваюсь в этом. Но одно скажу откровенно — мне хочется вас видеть. Простите за причиненную неприятность и приходите после обеда часов в пять.

С тов. приветом *Варя Калинская*».

Он пошел бы к ней и без ее записки. Он чувствовал, что при последнем свидании она между собой и им поставила какую-то преграду, но он был уверен, — так же твердо уверен, как в силе своих рук, — что эту преграду он уничтожит.

Встретились они у калитки, она жала его руку своими горячими пальцами, виновато смотрела ему в глаза. Жила она в хорошей квартире, у старого товарища ее отца. И ее беспорядочная жизнь заполнена была теперь непрестанными мечтами и думами о Лобачеве. Она еще и еще раз переживала все, что произошло между ними, и от жаркого стыда за себя кусала себе пальцы.

Он казался ей сильным, умным, простым и главное — счастливым. Уже раньше, сталкиваясь с такими коммунистами, как Лобачев, она поражалась тому, что эти люди, всегда занятые, усталые и совсем не заботящиеся о том, чтобы свою жизнь наполнить наслаждениями, обладают, кажется, каким-то прочным счастьем. Она же, считавшая себя умнее, красивее, ценнее большинства людей, ее окружающих, видела, что все имеют какое-то место в жизни, а у нее этого места нет, что она никому не нужна, и чувствовала себя несправедливо несчастной. И что-то безнадежное и скорбно-приятное было в этом чувстве.

Лобачев... Почему ей казалось, что с ним кончатся все несчастья ее жизни? «Что я замуж за него собралась, что ли?» — нарочито грубо спрашивала она себя, чтоб вызвать в себе злобу против себя самой и вернуться к прежнему ощущению безнадежной несчастливости и на этом успокоиться. Но ничего не выходило. На иронический вопрос о замужестве она не могла ответить...

Когда она увидела его, слезы брызнули из ее глаз, она их быстро утерла, глаза были свежи и блестящи, как небо после дождя. Не выпуская его руки, она ввела его в свою комнату. Здесь беспорядочно были раскиданы книги, платья, и ветер в окно раздувал пудру из незакрытой коробки.

Она посадила его на низенькую кушетку, села сама на кресло и все смотрела на него так горячо и нежно, что он сразу почувствовал сильное биение своего сердца.

Но, помня то, что было тем вечером, он уже не шел ей навстречу так просто, как тогда. Ей приходилось расспрашивать, и, постепенно оживляясь, он втянулся в разговор о работе на курсах. Но его слова казались ей легковесными и ненужными, — обыкновенный коммунист, политработник, каких много.

И уже было скучно. Она с притворным вниманием расспрашивала Лобачева о методе преподавания, сама высказывала свои знания и поила его чаем. А потом, уже в сумерки, когда села рядом с ним и он взял ее теплые руки, опять перевела разговор:

— Вас удивило, верно, что я вам тогда сказала. Обычно женщины об этом с мужчинами и не говорят. Вопрос честности, — вы должны знать, что берете, поэтому я вам и хотела сказать...

Рука Лобачева неподвижно лежала на ее руке.

— Я не понимаю, Варя, зачем тебе... вам надо мне все это рассказывать. Да мне безразлично. Ведь я же тебе не рассказываю... Хочешь, конечно, расскажу, но к чему?

— Ну, ладно, молчу, молчу.

Она замолчала, но руку свою он с ее руки убрал. Она заметила это и с болью содрогнулась. Ну что ж, раз она не может так элементарно просто, как все... Ведь она особенная. Это еще и отец говорил, и многие... А что Лобачев? Обыкновенный коммунист. Примитивный.

А сама она вся невольно тянулась под свет его умного лица, сейчас чутко настороженного, — этот милый, строгий рот, эта зеленая доброта тенистых глаз... Точно раньше, когда-то давно, он смутно представлялся ей, — и вот он живой.

Иногда Варя казалась Лобачеву простой, ласковой и умной девушкой; искрящимися глазами и высоким чистым лбом напоминала она Сережу, — и тогда он просиживал с нею часы. А иногда вдруг она разражалась грубыми и горькими словами, и все не мог понять Лобачев: в какие же моменты она настоящая? Если б она сама могла понять свое отношение к Лобачеву! Он был мил ей. Но ей не нравилось, как он говорил о своей любви. Он говорил: «Шла бы за меня замуж, Варвара, ей-богу, — буду тебя одним сливочным маслом кормить». Она слышала за шутливыми этими словами горячую

и заботливую ласку, какой в своей сиротливой жизни не слышала никогда и ни от кого. Но как можно в любовный разговор — сливочное масло, даже шутить так нельзя!

Он называл ее «Варвара», и ее коробило, она не узнала себя в этих вульгарных звуках: «Варвара»... Это было имя какой-то другой девушки — грубо хохочущей, орущей.

Ей хотелось настоящих любовных слов, какие бывают в стихах поэтов, но откуда они могут быть у Лобачева? Прослушав стихотворение Блока, он сказал: «Что-то туману много напущено». Ну, как было тут не «взвиться» и не начать «вывертывать коленца», как говорил Лобачев, — на особый грубый манер, который рассчитан был на то, чтоб оскорбить его! И редкие встречи кончались без молчаливой размолвки.

Но хотя любовь Лобачева казалась ей «элементарной», он был нужен ей, так же как и она ему, и каждый раз, с радостью и нежностью увидев в дверях его твердое лицо и отросший непокорный ежик волос, она, наперекор себе, начинала его злить и удивлять нарочито обидными словами. И чем дальше, тем сильнее их влекло друг к другу, тем все глубже были их ссоры, которые трещинами проникали в самую глубину их отношений, и — тем страстнее они мирились.

Сегодня у Вари лицо было серьезно до строгости...

— Гриня, — говорила она, — ты мне должен многое простить... Я выросла у дяди, папиного брата. Почти все время в буржуазном окружении. Меня в Москве один коммунист называл отравленной. Я, верно, отравленная декадентскими книгами и стихами, кинокартинами. И всем этим... буржуазным. Но я не такая, какой я себя показываю. Вот я тебе рассказывала, помнишь, в первый раз как мы встретились, так это все неправда, Гриня, наврала я на себя, ни с кем никогда я не жила, это все глупости...

Первый раз за всю свою жизнь она так откровенно и горячо говорила о себе. И вдруг с испугом и ужасом увидела, как потемнело это любимое лицо, точно свет, ярко освещавший его изнутри, вынесли, и стало оно жестким, резче выступал твердый рот.

— Ты думаешь, Гриня, я сейчас вру?

— Я не знаю, когда ты врешь, сейчас или тогда,

только очень много этого вранья. И, кроме себя, ты никого не обманываешь.

— Подожди, Гриня, договорим!

— Отстань... Хватит.

На курсы не шел, а бежал.

Вошел во двор. Был час перед ужином, по двору сновали с полотенцами курсанты.

Кононов окликнул его из окна партбюро:

— Гриша, где ты был? Я ищу тебя.

— Да так, промяться вышел, — отвечал Лобачев, чувствуя себя непонятно в чем виноватым.

— Вот это правильно, — неожиданно одобрил Кононов. — А то здесь, в нашем монастыре, закиснуть можно. Подожди-ка, я сейчас к тебе выйду.

Он вышел во двор. Охватив своей горячей рукой руку Лобачева выше локтя, он пошел с ним рядом. Они стали медленно ходить по двору.

— Заседание, что ли, было? — спросил Лобачев, кивая головой на окно партбюро, откуда слышны были возбужденные голоса.

— Внеочередное собрал, — ответил Кононов. — Вопрос один: приняли отчисление еще четверти фунта для голодающих. Некоторые предлагали половину, я категорически возразил. Начальник курсов поддержал меня. Ну, а Васильев, слышишь, ораторствует, — сказал он, кивнув на окна партбюро. — Самоотверженная, рабочая душа... — добавил он со сдержанной нежностью.

Несколько секунд они молчали.

— Скажи, — оглянувшись и понижая голос, сказал Кононов. — Вы с Миндловым первые друзья. Объясни мне, что с ним? Я его в Питере другим видел. Почему он сейчас, точно конь опоенный?

— Он больной, — пояснил Лобачев, довольный, что разговор с него перекинулся на Миндлова. — Я понимаю так: он больной, а по самолюбию уходить с работы не хочет.

— Больной? — переспросил Кононов. — Так вот оно что...

Он вдруг понял, почему Миндлов чуждается его, хотя не мог отчетливо выразить причину этого. Вспомнилась ему первая и такая странная встреча с Миндловым. «Так... так...» А вслух он сказал жестковато:

— Ну, раз он больной — выходит, товарищ Лобачев, будем учебную часть за тобой считать. Это я говорю к тому, что сейчас я от каждого коммуниста требую, чтобы он крепко и надежно стоял на своем месте. Лето у нас будет трудное, осень тоже не легче, и, крепко затянув кушаки, придется жить до следующего урожая. Да это ничего, большевики в трудностях крепнут. Есть другое, что больше всего беспокоит меня, Гриша, — доверительно сказал он, — замечаю я, что есть у нас на курсах шептун, скрытый враг.

— Ты о ком? — встревоженно вскинулся Лобачев.

Спросил — и уже догадался, кого подразумевал Кононов:

— Да ведь мы, Гриша, в первый же день, как сюда приехали, оба за ним следили, — усмехнулся Кононов.

— Ты о Дегтяреве, а? — спросил Лобачев. — Он — строевик, службист. И на занятия ходит аккуратно. Он следов не оставляет. А на роток не накинешь платок.

— Дай срок — накинем, — уверенно сказал Кононов. — Значит, первое дело — берись крепко за учебную часть. Присмотрись к группе Ляховского. Помнишь с Дудыревым разговор? Что-то Ляховский не по-большевистски о крестьянстве толкует. А второе — не забывай о Дегтяреве.

Кононов помолчал. Лобачев, не отрываясь, смотрел в это лицо, на котором было какое-то особенное жаркое мерцанье, — так тихо мерцает раскаленный металл, — и чувствовал готовность выполнить любое поручение, самое трудное приказание, которое будет отдано этим глубоким, ровным голосом.

— Есть у нас на курсах один дядька — Гладких, — продолжал Кононов, и Лобачев обрадованно кивнул головой: он точно ожидал, что речь пойдет о Гладких. — Приглядываюсь я: крепкий, нужный человек. Я анкету его смотрел: партизан-таежник, герой. Не кулак, но, по всей вероятности, из крепких, хозяйственных сибиряков А сговориться с ним я не в силах, — почему-то смотрит волком. Он вовсю занят учебой, и партийную активность свою... он, как бы сказать, свернул. Вот, Гриша, тебе бы до его партийной души добраться.

— Да о чем поговорить-то? — недоуменно спросил Лобачев. — Ведь ты сам только что сказал, что человек он крепкий, надежный.

— Еще раз тебе скажу: сговорнться я с инм не могу, — тихо сказал Кононов, и огорчение слышно было в его голосе. — Вот с тобой нли с Грншей Васильевым и даже с таким бродягой, как Афоиька Коваль, мне ухищряться не иужно. Могу прямо говорнть. Уж на что Захар Громов — явио человек от партнйиого путн отбнвается, а все-такн, я еще надеюсь, будет у иас прямой разговор. А вот Миндлов... почему я тебя о ием спроснл? Илн этот самый Иваи Карповнч Гладкнх; о чем его ин спросишь, ои: «да», «иет», — н руку к козырьку. Что я ему, фельдфебель, что ли? Мие такой разговор с коммуиистом сейчас ие годнтся. Мие иужен прямой, откровеиный разговор с каждым партнйиым товарнщем. Кто его знает, Ивана Карповнча этого? Со мной ои откровеиио ие говорнт, а может, Дегтярев тропку в его таежную душу нашел.

— Ну, что ты? — решительио возразнл Лобачев. — Я тебе выразнть не могу, ио твердо зиаю, что людн это разные.

— Твердо? — переспросил Коиоиов. — Нет, пока еще не твердо. А нужио, чтобы по правде твердо знал.

Как-то особеиио пднятио н гордо было Лобачеву слушать Коиоиова: ои точно все время слышал свон же мысли, ио очнщениые н ясные. Ои чувствовал, что рука Коиоиова, как горячая повязка, продолжает крепко держать его выше локтя, и еще ждал его слов и заранее иемного боялся нх: строгость и требовательность иарасталн на лнце Коиоиова.

— Ты, Лобачев, ухо востро держи. Ты газеты читай и, как что ие понял, иди ко мне, спрашивай. Сейчас во как думать надо! И еслн ие мы иашу партню, — и Коиоиов, отпустив Лобачева, обвел рукой все вокруг: красное здание, гуляющих по двору курсаитов, — если не мы иашу партню беречь будем, то кто же, Гриша?

Он точно еще что-то хотел сказать. Лобачев со стыдом ожндал, что речь пойдет о халатном его отношеиии к работе все последиее время, когда в его жнзин появилась Варя, ио Коиоиов инчего ие сказал, тихоиько потрепал Лобачева по плечу, усмехнулся. По усмешке этой Лобачев почувствовал, что Кононов, несомиеино, догадывается о прнчинах его халатности. Но Коноиов уже ушел.

Лобачев остался стоять посередине двора, в раздумье и взволнованный. Он чувствовал себя накрепко связанным с Кононовым, и это порождало и гордость, и чувство ответственности, и обостряло ощущение вины. Ему было стыдно: дело дошло до того, что Кононов прямо призвал его подтянуться. Да, со времени знакомства с Варей он точно забыл о том, что на курсах так трудно, серьезно, тревожно...

А что если взять Варю за руку, привести сюда... И он усмехнулся.

— Не ко двору нам такая невеста, — вдруг сказал он себе не то насмешливо, не то грустно.

Весь следующий день он с утра до вечера занят был курсами... И все же вечером опять пошел к Варе. Шел, превозмогая себя; так шар, с силой пущенный в цель, ударившись о препятствие и перескочив его, с ослабленной скоростью, но все же катится туда, куда пущен.

Она не ждала его. Увидев, протянула ему руку. Лицо ее пылало, глаза искрились.

— Тебе книгу нашла... которую спрашивал... — говорила она, проводив его в свою беспорядочную комнату.

— Спасибо... Мне эта книга нужна... — говорил он, идя за ней.

Как будто бедны были их слова, но под ними глубоко-глубоко, как рокот вешней воды под снегом, было скрыто их стремление друг к другу.

И как это произошло? Она сидела в кресле, он подошел к ней, взял ее руку и поцеловал ее в губы. Со вздохом она ответила ему. Он держал ее лицо в своих руках, глядел на нее, — она с закрытыми глазами ждала.

И то ли потому, что непривычно ему было сверху глядеть на это лицо, но точно впервые он видел его: эти капризно надломленные брови, эта немного вправо сведенная нижняя губа, этот тоненький нос и особенная белизна побледневшего лица — все это прекрасное, но чужое.

И вдруг ему вспомнился... нет, не самый разговор с Кононовым, а то настроение строгости, собранности, которое этот разговор сопровождало.

Отнял руки от ее лица Лобачев, отошел к окну.

Она открыла глаза, точно просыпаясь, огляделась вокруг.

— Ну... Нашла книгу? — спросил он хрипло.

— На! — и она протянула книгу.

На секунду глаза их встретились. Все эти дни они точно из двух неведомых краев по гигантским кривым приближались друг к другу и вот прикоснулись, и казалось, что дальше пойдут они одним путем. Но нет, стали действовать какие-то им самим непонятные силы — и развели их. И сейчас они чувствовали оба, как с каждой секундой отдаляются они друг от друга. Все дальше и дальше... Вот еще можно протянуть руку и пожать руку друга и сказать ему прощальное слово, но еще секунда — и уже ничего не скажешь; через секунду можно крикнуть — и еще через секунду не услышишь крика.

Не прощаясь, ушел Лобачев, и последнее, что он видел, — ее плечи и кудрявую темную голову, склонившуюся в ладони.

Лобачев шел по пыльной дороге, шел на запад, закрытый низкой тучей, и только над самой землей острые крыши чернели, выделяясь на багряном пояске заката.

Только сейчас начал он понимать, что произошло. Да, она осталась одна, голова ее опущена, плечи склонились... Жалко ее.

Но ведь никак ей не поможешь. Это лицо с закрытыми глазами и чуть покривившимся ртом, — нет, это чужое лицо...

Так вот оно то, о чем недавно говорил Шалавин, что мужчина узнается по женщине... Что же тут непонятного? И, конечно, если б Варя могла быть женой, коммунисткой, товарищем... Но это невозможно: чтоб ее выбрать, он должен перестать быть самим собой, стать чепухой-человеком, как говорил Шалавин.

Он вздрогнул, вспомнив о сегодняшнем поцелуе, и непроизвольно прибавил шагу. Домой, скорее домой, на курсы!

Закат багряно-призывный, как голос фанфар, протянулся узкой полоской над крышами. И туда пролегла тяжелая, вязкая дорога. «Ничего, я пройду эту дорогу. Я уже шагал по ней». И Лобачев в такт своим быстрым шагам запел... Он шел и громко пел: «С помещиком, банкиром на битву мы идем». Немудрящая и ясная боевая песня. Когда Лобачев еще был политруком, он словами этой песни учил молодых красноармейцев — мо-

ложе его на один год — распознавать врагов. И сейчас этой песней он старался заглушить ощущение большой потери — той, которую он даже не хотел называть по имени, хотя у нее было свое, короткое, милое имя.

Глава девятая

Чувствовал Кононов: убывает его сила, и так уже подточенная тяжелым ранением. Мало пищи получало ослабевшее тело. Во время послеобеденного перерыва он не заснул, — долго сидел на своей койке, раздумывал, щуря глаза... Потом выдвинул из-под кровати зеленый сундучок, раскрыл его и оттуда сверху вынул кожаную куртку. Развернул ее... На правом рукаве повыше локтя нашел маленькую, прожженную выстрелом дырочку и поник головой, задумался... Эта рана унесла его руку...

«А иначе никак не обойтись».

Вздохнул полною грудью, и, когда вышел во двор, на лице его была по-обычному спокойная улыбка.

Во дворе увидел он Громова. Тот бесцельно сидел на бревнах. Давно уже мечталось Кононову поговорить с Громовым. Кононов, конечно, догадывался, отчего молчит и злобится человек, — хотелось с ним по душам поговорить, может, поспорить, но вывести его на прямую дорогу.

— Эй, кузнец, — окликнул Кононов, — чего пригорюнился?

— Откуда ты знаешь, что я кузнец? — мрачно спросил Громов, однако поднялся с бревна.

— Видна птица по полету... Идем на толчок!

— Чего я там не видал?

— Чего?.. Купцов.

— Черт их... бей!

— Погоди кстить, еще они нам с тобой пригодятся; вот видишь барахло, — хлеба наменяем.

— Так. Повоевали, стало быть, до победного конца, а теперь — опять до купца!

— Да ты, выходит, поэт. Чуть открыл рот — и сразу стих вылетел! Чего ж, барахло наживем, а без хлеба подохнем. Так идем, что ль, тебе пай тоже дам!

— Идем... Идем... Авось спекулянтское сословие пожалобится на тебя, калеку!

Так, перебрасываясь шутками, иногда и жестокими, шли они к толкучке.

А когда вступили на шумный толчок, Кононов сказал:

— Погоди, кузнец, ты постановления Десятого съезда знаешь?

— Это ты к чему? — спросил настороженно Громов. — Знаю. Ну?

— Там касаемо тебя есть, помнишь?

— Касаемо меня?

— Об анархо-синдикалистском уклоне. Вспомнил?

— Да ты что ко мне привязался? — заворчал растревоженный Громов.

— Стоп! Не помнишь — спорить не будем. Придем домой, чайку попьем и разберемся.

— Да иди ты к шуту! Очень нужно, разбирались уже!

— Как хочешь, Захар, — голос Кононова неожиданно смягчился, — твое дело, но только хочу я тебе как товарищу помочь. Имей в виду: тебя от разговора со мной не убудет. Но это плохо, что ты с закрытыми глазами идешь и дороги не видишь... А вот и хлебный амбар, — сказал он совсем другим, весело-усмешливым голосом.

Оба жадно вдохнули теплый хлебный дух, которым веяло из маленького, свежесбитого ларька. Кругом пестро звенела, гудела толкучка: как кликуша, исходила она в жадном торговом выкрике.

— Торгуешь, тетка? — спросил Кононов, тронув рукой теплые, прикрытые полотенцем хлебы.

— Чего же, голубчик, торгую! Мое дело вдовье, напекла шанежек, оладьев, калачиков, вынесла, — ну, смотришь, и вы, по солдатскому делу, подойдете.

— Ишь, как прочно обосновалась, — мрачно усмехнулся Громов. — Не боишься, что... того?

— Страшен сон, да милостив бог, голубчик, — сказала она, но без всякого страха улыбнулась во все широкое дряблое лицо. — Проходил тут один важный товарищ со значком и толковал, что пойдет свобода торговать.

— Слыхал? — спросил Громов Кононова, повернув к нему рябое, как гранитный камень, темное лицо и мучительно щурясь, может, от горячей пыли. — Выходит, лучше нашего чуют...

— Опять двадцать пять! — насмешливо сказал Кононов и обратился к бабе, застывшей в выжидательной

торгашеской улыбке: — Вот что, тетка, покупать мы не станем, купи́ла нет... Кожанку ты нам на хлеб поменяешь?

— Нет, голубчик, не меняю, — торопливо заговорила она и, растопырив пухлые пальцы, прикрыла свои хлебы.

— Почему же не меняешь? — спросил удивлению Кононов. — Ведь на прошлой неделе меияла.

— А миого уж очень я наменяла. Куда мие с ним! Уже какие ии есть, а лучше деиьги...

— Ну, тетка, — грубо прервал Громов, — за это знаешь куда...

— Да ты ие грозись больио, — сказала баба. — Ишь... сами почему серебро чеканите?

— Что ты, дура, врешь... Как чекаиим?

— А так чекаиите! Думаешь, не зиаем?

Громов круто повернулся к Коиоиову.

— Слыхал? — спросил ои и, ие дожидаясь ответа, быстро пошел прочь.

Коиоиов хотел ему что-то крикиуть, ио, видимо, раздумал и, усмехнувшись, побежал догонять. Через несколько мииут быстрого хода окликиул Громова, широко шагавшего впереди:

— Погоди, вон татары, продадим им, а на деньги хлеба купим.

Громов замедлил шаг, огляиулся... Остаиовился. Подошел.

Коионов уже показывал товар...

— Ай-яй, шибко дыра большой! — говорил круглолицый рыжий татарии в темиой, от грязи и носки, потертой тюбетейке бордового бархата. — Пять тышч, — сказал он и, точио объясияя цифру, указал иа дырочку в рукаве.

— Мало, знаком... Дай пятиадцать!

— Нельзя, товарищ, иикак ие можем.

— Ну, да ладио, черт с тобой... бери, давай деиьги!

Получив деиьги, быстро пошли в стороиу хлебных ларьков. Не зиали оии, что издали наблюдал за ними чериоусый человек в справиой военной одежде. И только скрылись оии с глаз, подошел этот человек к татарину и спросил, повертывая куртку:

— Почем продаешь?

— Пятьдесят тышч, пожалста, господии комиссар...

— А у них, небось, тысяч за десять взял? А?

Татарин отрицательио закивал головой, но его хит-

рые, улыбающиеся глазки сами признавались в том, что догадка Дегтярева (это был он) основательна.

«Дурачье», — подумал Дегтярев о Кононове и Громове, подумал с пренебрежительным презрением и злобой, точно они его обидели, и сказал татарину, оправдывая его:

— А тебе, малай, нельзя без обмана: такое твое дело кулацкое. Ну, уступи половину, тогда возьму.

С аппетитом торговались, сошлись на тридцати пяти тысячах.

«Последние советские...» — Дегтярев не додумал мысли, точно боялся, что кто-то может услышать ее.

— Да ты мне заверни, — сказал он, еще раз оглядывая куртку, и, наслюнявив палец, стал смывать еле заметное кровавое пятнышко на рукаве.

Кононов и Громов дошагали до калитки курсов.

— Ну, ломай, Захар, надвое, — запыхавшись от быстрого шага, сказал Кононов, подавая буханку Громову. И, одобрительно глядя, как мгновенно, показывая черную мякоть, разошлась надвое буханка в крепких руках кузнеца, он добавил как бы без связи: — А ведь монету мы, верно, чеканим.

— Чеканим? — спросил Громов и неподвижно застыл, не доломив нижней корки хлеба.

Кононов усмехнулся.

— А чего ж ты так испугался? Ты бы лучше о том подумал, Захар, что от нашего барахла она отказалась, а советским деньгам оказала полное доверие... Неужто ты не понимаешь, что в этом сейчас сила нашего государства? — оживленно спросил он.

— Деньги есть деньги, что ты на них ни нарисуй, — огрызнулся Громов.

— Эх, Захар... Захар!.. — горячую, но сдержанную ласку услышал Громов в голосе Кононова. — Коммунистом ты себя назвал, за наше дело боролся, а что оно есть, наше дело, до этого ты еще не дошел... Деньги — это самое лучшее мерило труда, которое пока изобрело человечество. Лучшего — нет... И в наших руках... Идем ко мне, Захар! Чай пить будем. Идем, разберемся вместе — и вся твоя злоба минет, Захар...

Наклонив голову вперед, Громов прислушивался к этому зову, звучащему словно издалека. «А может, и,

верно, пойти?» Он глядел на это болезненное, ласковое и непоколебимое лицо, видел эту суровую, с черными мельчайшими крупинками металла, кожу... Да, это свой. Но ведь и Васильев, который столько раз бранил и уговаривал, ведь он тоже свой. Все уговаривают. Но разве сам-то он маленький?

— Никуда я не пойду, — сказал Громов, — и разговаривать мне не о чем.

Что-то дернулось на лице у Кононова.

Взяв из рук Громова свою половину буханки, он отвернулся... Стукнула калитка, тяжелые шаги Громова становятся глуше, тише, и Громов ушел.

Опустив голову, Кононов стоит один.

Потом он поднял голову, прислушался к голосам. Там кучка курсантов в короткой и жидкой тени тополей ждала барабана, заканчивающего томительно-жаркий послеобеденный час. Кононов тихонько присел сбоку. Он умеет подходить, никому не мешая, не привлекая вниманья.

— Помогать нам собрались, гады! — голос Васильева дрожал от возбуждения, на лице его чахоточно пламенели пятна румянца, в руках его коричневые листы местной газеты. — А ведь этот голод — он есть результат их блокады, интервенции. Это их рук дело. Ничего, придет время!

— Придет, — подтвердил Коваль. — Вишь ты, помогать собрались!

Помолчали. Чего говорить? Если бы можно было дать исход ненависти! Но это время еще не пришло. И каждый подумал о деревнях. Пустые дворы вокруг изб, трубы без дыма.

— Надо, ребята, еще четвертушку отчислить, — сказал Васильев. — Там люди от голоду мрут, а мы целый фунт в день едим.

Кто вздохнул, кто выругался, кто покачал головой, никто не возразил, но Коваль сказал:

— Вот Лобачев идет. Лобачев!

В сопровождении Косихина, оживленно говорившего что-то, подошел странно задумчивый, точно рассеянный Лобачев.

— Хотим на помгол [1] еще четвертушку хлеба отчислить, — сказал Коваль.

[1] Помгол — помощь голодающим.

Лобачев нахмурился:

— Что ж, товарищи, тогда скажем прямо: прнкрыть надо курсы и разъехаться. Потому что на трех четвертушках занятий у нас не будет.

У курсантов посветлелн лица, и Коваль с уважением посмотрел на Лобачева, не побоявшегося прямо сказать такие слова.

— Как же так! — загорелся Васильев. — Что же мы, крестьян предаем на голодную смерть? Да?

В его голосе слышались почти истерические ноты. Хотя не было у него родных в деревне и любил он с гордостью называть себя чнстым пролетарием, но, быть может, именно потому так бескорыстно болело его сердце о деревне.

А Лобачев смотрел на него с недоумением и думал о том, что Васильев, верно, болен, что ему надо лечиться. Он пожал плечами.

— Все, что могли, сделалн. Жалованье отдалн? Отдали. Полфунта отчислили? Отчислили. Сахар за месяц отдали? Тоже. Больше отчислять нельзя. Нужно вопрос тогда ставить ребром: стало быть, не под силу держать курсы, стало быть, всех отпустить на работу.

Васильев презрительно отвернулся, встал н ушел.

— Добер... — насмешливо и ласково сказал Кононов ему вслед.

— О, батька! — встрепенулся Лобачев.

Со времени последнего разговора с Кононовым, Лобачев сначала мысленно, потом вслух стал называть его батькой, хотя по возрасту Кононов мог ему годиться только в старшие братья. — Ты где ж это ходил, батя? А мы же по тебе скучаем.

— На толчке, — посмеиваясь, ответил Кононов. — Вот где дискуссия! Торговки говорят: постановлена коммунизму отсрочка, скоро серебро на рынок пойдет. Вот какой разговор, товарищ Лобачев.

— А ты как считаешь? — недоуменно спросил Косихин. — Неужели мы выпустим серебряную монету на внутренний рынок? — И Косихин, точно боясь, что кто-нибудь вставит слово раньше его, торопливо сам себе ответил: — О, нет, наша ставка будет на вытеснение денег плановым обменом!

— Та-та-та! — передразнил Лобачев. — Если «обесценение» н «вытесненне», зачем же монету чеканим?

— Для внешней торговли... — ответил Косихин. — Верно? — обратился он к Кононову.

— Это серебро-то для внешней торговли? Невязко как-то получается... — посмеиваясь, сказал Кононов.

Все чаще спорили друзья о продналоге и местном товарообороте, о свободе торговли и о концессиях. Каждый номер газеты приносил что-то новое.

А курсы шли своим чередом. Золотухин, тонконогий юноша, продолжал читать свой курс по старой программе.

Миндлов и Лобачев вставили в его программу последние декреты. Лектор без всякой охоты, быстро, в одной лекции, пробежал их, — они нарушили стройность его системы. Но зато много говорил он о коммунистическом обществе, и в его пересказе оно было приторно-сладеньким.

«Нет, не так все это будет, — думал Лобачев. — Больше будет труда, весело-стремительного, бодрого и радостного, как на вольном ветре».

А вокруг стен курсов шла жизнь. Слушатели курсов получали письма из деревень, городов и городишек; жизнь шла по-своему, упрямо, ее как-то надо было объяснить, и комиссары все более жадно вчитывались в газеты, в декреты...

Не красной строкой начиналась новая глава революции, незаметно вплетались в быстротекущую ткань ее новые нити: новые декреты, новые статьи в газетах, новые доклады на собраниях и конференциях.

Была б его воля, Гладких выгнал бы три четверти курсов из партии «за недисциплину». Малейший проступок против воинской дисциплины Гладких не забывал на всю жизнь. «А такие, как Никола Смирнов или Афонька Коваль, да разве их можно в армии держать? Разжаловать на площади — и с барабанным боем прочь из армии!..» Гладких беспощадно стискивал челюсти, и на широких щеках его бегали желваки. Из той четверти, которую он соглашался оставить на курсах, очень немногих обходил он снисходительным молчанием. О Шалавине он выражался: «Старое дондыло», имея в виду склонность старика к долгим разговорам. О Васильеве: «Московская дворянка». О Кононове он хотя ничего не говорил, но недоверчиво молчал при упоминании о нем,

Начальствующий и учебный состав он тоже не щадил. «Кликуша», — говорил он о Миндлове, «Утриносица» — о Косихине, «Черного кобеля не отмоешь добела» — об Арефьеве. При всем этом он был образцовый службист, и перед теми же начальниками, о которых так грубо отзывался в разговорах с Лобачевым, он при исполнении служебных обязанностей исправно тянулся (черта, никак не обозначавшая в нем подхалимства, — по натуре он был смел и прям). Лобачев не мог понять, откуда Кононов заключил, что Гладких расположен к нему, но это было так, и на спине Лобачева после дружественных хлопков нового приятеля оставались багровые следы, как от горчичников.

После обеда Лобачев зазвал Гладких в духоту пустой комнаты учебного отдела. Дул юго-восточный засушливый ветер, и мельчайшая пыль, которую он нес из далеких пустынь, монотонно и яростно звенела о стекла закрытых окон. Кисло пахло чернилами. Лобачев завел разговор очень издалека, с деревенского хозяйства самого Гладких. Сначала тот отвечал охотно,— видать, он хозяйство свое и любил и помнил до белой отметины на левой ноге коровы, до того последнего гвоздя, который он вбил, починяя хлев перед самым уходом в партизанщину...

И вдруг, словно вспомнив о чем-то, Гладких круто оборвал разговор.

— Что ж толковать, товарищ Лобачев, о нашем хозяйстве? Я его отрубил от своей души,— сказал он.— Дорогу свою я на курсах определил. Поговорил я с начальником курсов: обещает командировать в артиллерийскую академию, — гордо сказал Гладких. — Вот она, моя дорога.

— Ну, а о деревне разве совсем не думается? — осторожно спросил Лобачев.

Но тут вдруг от шеи к щекам, по всему широкому лицу Гладких поползла горячая волна, точно он, забыв о незажившей ране, сделал слишком вольное движение и разбередил ее.

— Я ж тебе сказал, что отрубил, так что ты лезешь? — с сердцем ответил он Лобачеву.

Его лицо дрогнуло, он махнул рукой, и внутри него словно что-то замкнулось, слова из него приходилось тянуть и чуть не клещами. Гладких все время порывался уйти, Лобачев еле удерживал его, как вдруг в комнату ворвался взволнованный Косихин. Увидев его таинствен-

ное лицо, Лобачев на секунду безотчетно вспомнил Варю. Поймав себя на этом, он стыдливо и упрямо тряхнул головой, обернулся к Гладких, но Гладких, использовав заминку, успел вскочить и откозырять.

— Гриша, — сказал Косихин, когда Гладких вышел из комнаты, — новая брошюра Ленина вышла, помнишь, я тебе говорил... Вот она, эта брошюра, — и он показал брошюрку в бледнорозовой обложке, сделанной из промокательной бумаги.

Для чтения брошюры Кононов, Лобачев, Косихин и Миндлов собрались на бревнах — излюбленном месте встреч, разговоров, дискуссий.

Двор продолжал жить своей размеренной жизнью. Было шумное оживление: курсантов строили, чтобы вести в баню. Когда увели, стало тихо. У кухни ровно хрястал топор, в эти часы каждый день готовили ужин. Убывало солнце, тени становились длиннее. Реже, но звучнее дребезжали по мостовой колеса. По-вечернему стала шуметь листва деревьев. Когда они читали то место в брошюре, где Владимир Ильич привел большую выдержку из своей работы «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности», Кононов оживился. В те дни восемнадцатого года, когда в «Правде» печаталась эта работа Ильича, Кононов был в Петербурге.

— Я как прочел тогда о пяти укладах, так все равно, что всю Россию увидел...— рассказывал Кононов.— И еще подумал тогда: вот оно что значит, что стали мы господствующий класс, вот какую власть над страною имеем!

И опять глуховатый голос Кононова вычерчивал смелую, переливающуюся всеми цветами жизни мысль, и эта мысль подчиняла себе все, что происходило вокруг, и плавное течение обычного вечера превращалось в незаметный, но необходимый аккомпанемент, в многозначительный фон того, о чем читал Кононов.

Курсанты вернулись из бани, оживление и смех сопровождали ужин,— и снова все стало затихать. Совсем стемнело, и последние слова брошюры Кононов дочитывал, почти не разбирая, а угадывая буквы.

Во дворе уже густели сумерки, когда Кононов дочитал брошюру до конца.

Помолчали.

Миндлов вдруг повернулся к Кононову.

— На тему этой брошюры надо доклад сделать у нас на партийном собрании. Что если мне сделать этот доклад. А? Как ты думаешь?

Кононов одобрительно кивнул головой, и Миндлов тут же ушел своей быстрой и неровной походкой.

На общегородском партсобрании член губкома и видный хозяйственник края, вернувшись из центра, сделал доклад о новой экономической политике.

Живой, подвижный, как ртуть, он мало говорил о теоретическом значении самого поворота. Под его маленькими смуглыми руками лежал весь широкий край; и он говорил о том, как новая экономическая политика оживит край, о мероприятиях по новым декретам, о роли кооперации, о возможных концессиях и о задачах развития крестьянского хозяйства.

В его горячих словах та новая полоса, наступление которой чувствовали все, уже определилась, отдельные декреты, статьи в газетах превратились в звенья того нового, что сложилось за время, пока на курсах слушали лекции Золотухина.

С доклада шли по бульвару. Наступил вечер. Миндлов прислушивался к шуму города. И Миндлову, уставшему за день, казалось, что город, как ребенок, не угомонившийся за долгий летний день, веселился слишком тревожно и что веселье может перейти в плач.

Некоторые павильоны на бульваре еще были заколочены, в других торговали фруктами, конфетами и прохладительными напитками в заманчиво пестрых бутылках и сифонах. Светили красные буквы кафе.

— А живем мы, ребята, верно, как в монастыре!

— Залезли в политэкономию, а экономики сегодняшнего дня не замечаем.

И, прислушавшись ко всем этим разговорам, где переплетались деловая трезвость и настороженность, любознательный интерес и тревога, Кононов одобрительно кивал головой, — на этом плацдарме Миндлову предстояло в своем докладе развернуть силы партийного наступления.

Еще когда во дворе Миндлов сквозь монотонный голос Кононова слушал слова Ленина, уже тогда он

чувствовал, как что-то расправляется в нем, жадно, как растеиие к свету, тянется к жнвительному смыслу этих слов.

И вот к завтрашнему заседанню уже готов план и напнсаны тезнсы. Перелнстывая нх, Мнндлов почувствовал, что сегодия он больше заииматься ие должен. Он глядел в окио иа звезды, светляками мерцавшие сквозь темиую листву деревьев, и почувствовал, что доклад готов и накрепко свериутый лежит в душе его, — завтра одного усилия воли достаточно будет, чтоб он развернулся. И Миидлов с благодарностью и благоговеием перелнстывал эту тоиенькую киижку, так ясно и непритязательно названную. С чем сравнить ее? Луч прожектора темной ночью? Сказочная живая вода, после которой глаз видит все во миого раз ярче, красочнее и отчетливее? Или это стекла чудесного микроскопа, показывающие движеиия мельчайших зародышей капитализма, стнхнйио возиикающнх и развивающихся? Но стихия страшиа, пока ее не поннмаешь. А кннга эта не только давала ясное поннманне происходящего, оиа давала такую могущественную власть, с какой ничто не могло сравииться, она учила, как враждебную снлу можио покорнть и заставить работать иа себя, — все равио как моряк, искусно поставив паруса, заставляет противный ветер иести к целн корабль.

Глава десятая

Обычиым порядком прошел деиь, ничем не отличный от другнх учебиых дней. Утром состоялась лекция, обед, как всегда, был скуден, и обычны шуткн перед обедом. Но часто переспрашивалн комиссары друг друга, будет лн сегодня собраиие, и с ожидаиием поглядывали иа окио комиаты Мнидлова.

Зарокотал барабан, вместе с его рокотом вошел в аудиторню Гордеев. Не часто видят курсы большую, осанистую фнгуру командующего. Ведь в большом его военном хозяйстве курсы — только один нз участков. Но все знают: если Гордеев легкой, словно приплясывающей походкой прошел по большим коридорам курсов — зиачит, надо ждать событий...

Гордеев взошел на эстраду, где стоял стол президну-

ма. Он весело пересмеивался и переговаривался с Арефьевым и Розовым, лукаво поглядывал на тихого Николая Ивановича Смирнова, который одним из первых вошел в аудиторию и притулился у стены на первой скамье. И никто: ни мрачный Громов, ни Васильев, лихорадочно багровые щеки которого видны в первом ряду, ни даже Кононов, поднявшийся в президиум и встреченный благодушным кивком Гордеева, — никто не догадывался, что Гордеев следил за каждым, кто входил в зал, оценивал выражение каждого лица и даже место, занятое в зале каждым вошедшим. В этом шуме, как будто ничем не отличном от шума, предшествующего обычному собранию, во всех этих лицах, так скупо и бледно отражающих то, что происходит у каждого в душе, улавливал Гордеев особенное душевное напряжение будущего собрания; как никогда выразительны лозунги и плакаты на стенах, и портреты вождей словно застыли в чуткой неподвижности, прислушиваясь к тому, что происходит.

Кононов тоже напрягся до той предельной границы, когда все существо, как струна, отзывается на душевные движения окружающих. Впереди, среди многих голов и спин, он сразу отличил черную голову Дегтярева: «Неужели и на этом собрании так и не отомкнется этот накрепко запертый амбар? Неужели он и здесь отмолчится и его не прорвет?!»

Через зал быстро, нервно спотыкаясь, прошел Миндлов. Ряды затихают. Миндлов взбежал на эстраду, и, встретившись с ним взглядом и кивнув головой, Розов дернулся, — плохо, очень плохо выглядит старый друг.

Миндлов не успел разложить бумаги, как к нему подошел Кононов. На тихий оклик его Миндлов поднял голову от конспекта, который он в последний раз лихорадочно просматривал.

В глазах Кононова пробегали какие-то быстрые, горячие искры.

— Ну, держись сегодня, товарищ Миндлов, — поощрительно сказал Кононов и остро глянул в лицо Миндлова. Пожимая его прохладную руку, Миндлов почувствовал жар своей руки.

— Покажи, что такое есть питерский большевик, — не выпуская его руки, добавил Кононов.

Какая-то горячая волна хлынула от сердца к глазам Миндлова, губы его задрожали...

— Да ладно. Не волнуйся, главное... — бережно сказал Кононов.

И вдруг, заботливо оглянув стол, сказал укоризненно:

— А воду забыли... — и, нагнувшись к Сергею, сидевшему на первой скамье, послал его за водой.

Все это взволновало Миндлова, и начал он тихим, даже чуть прерывистым голосом; поэтому в первые минуты Кононов с опаской подумал, что доклад выйдет бледным.

Но как только Миндлов заговорил об Октябрьской революции, его голос сразу окреп, глаза заблестели и даже неяркий румянец появился на землисто-бледных щеках. Восхищение и страсть слышны в голосе Миндлова.

Собрание молчит, сомкнуты все рты. Каждый всем напряжением ума и опыта измерял даль открывшихся новых дорог. Шалавин лег широкой грудью на парту и положил голову на ладони; полузакрыты большие глаза, крепко стиснуты губы. Николай Иванович Смирнов схватился за скамейку, словно чувствуя, что земля под ним затряслась, и неотрывно следил он, как за маленьким столиком, покрытым красным сукном, жестикулировал Миндлов. Неподвижно, из-под широкого лба, следит за Миндловым Гладких; он весь точно окаменел, и только глаза его светились волнением. Ероша одной рукой свои отросшие мягкорусые волосы, Васильев другой торопливо записывал что-то, готовился к выступлению. Нахмурившись, опустив глаза на чернотусклую поверхность парты, Лобачев, следуя за скрытым тактом речи Миндлова, время от времени осторожно и бесшумно опускал на парту свой в камень сжатый кулак. Рядом тяжело дышит Коваль и, сам не замечая, вслед за Миндловым повторяет он шепотом некоторые слова. Одно за другим летят эти слова над собранием, и, словно клочья дыма, закрывают они от Коваля стены и лица товарищей...

Да... Паровозный дым клочьями несется над желтыми ненастными жнивьями. У семафора, оцепленного продотрядчиками, стоит поезд — вереница красных теплушек.

— Товарищи, соблюдайте революционный порядок! — слышит Коваль свой собственный зычный голос. В со-

провождении двух своих бойцов вскакивает он в ближайший вагон.

— Это, дяденька, твои мешки? Покажи удостоверение. Нет, это не удостоверение, это липа. Мешочничаешь, гнида? Игнаша, забирай его вместе с мешками. А вы, гражданка, чего тут плачете? Удостоверение? Правильное у вас, честное удостоверение. Все дуже гарно, передайте питерским пролетариям братское привитание от двести сорок третьего продотряда, от комиссара Коваля Опанаса. А это чей мешок? Чей, я спрашиваю, мешок? Никто не сказывается? Игнат, заприходуй в книжку. Неизвестный мешок сбежавшего спекулянта...

Да, трудная это была работа. Но зато с какой гордостью отвез он ко второй годовщине Октября подарок с фронта Трехгорной мануфактуре — целый вагон хлеба! Как сейчас видит Коваль эти бесчисленные, обращенные к нему бледные лица ткачих, и детский плач, то тут, то там раздававшийся во время его приветственной речи, как-то особенно воодушевлял его и делал осмысленной и почетной тяжелую работу продотрядчика.

А последние два года Коваль собирал продразверстку. Тут тоже попадались и кулаки и спекулянты, но больше всего хлеба сдавала честная трудовая деревня. Жмешь крепкие жесткие руки, глядишь в обветренные, с печатью усталости, настороженные лица, и каждый, прямо в глаза нацеленный взгляд говорит: бери да помни! И каждому отвечаешь таким же бестрепетно смелым взглядом: беру и помню. Уже с зимы знал Коваль об отмене разверстки и замене ее налогом. Но смысл нового закона стал ему ясен только сейчас, в докладе Миндлова. «Задача продовольственника усложняется, — говорил Миндлов, повторяя Ленина. — С одной стороны, это — задача фискальная. Собери налог как можно быстрее, как можно рациональнее. С другой стороны, это — задача общеэкономическая».

Э-ко-но-ми-че-ска-я, — раздельно и шепотом повторил Коваль. Вот она, та новая сторона продналога, которая раньше была ему не ясна! И рассудок Коваля сразу устремился по новому пути. «Этак с мужиком, конечно, куда сподручнее разговаривать будет! Сдай продналог и торгуй вовсю: получай гвозди, соль, керосин, давай хлеб. Да тут не только сто процентов, тут и двести собрать можно», — мысленно говорил он, но не Минд-

лову, нет, самому Ленину, который одобрительно смотрит с портрета, кажется, в самую душу Коваля.

Кононов тоже готовился к выступлению, делал скупые заметки в своей записной книжке, переплетенной в холстяной переплет. Почерк у Кононова мелкий, но разборчивый. Холстяная книжка эта сопровождала его с 1918 года, и ему еще года на три хватит в ней места для записей. Вот Миндлов закончил, а Кононов еще не готов к выступлению, и с трибуны потекли тягучие, как сусло, слова Понюшкова.

Понюшков, тоже продовольственник, и так же, как и Коваль, сразу почувствовал те возможности, которые открыл новый период. Но совсем с другой стороны подошел он к новой политике.

— Напрасно, выходит, мы частного торговца тесними, — говорил Понюшков. — Частный торговец, выходит, нам нужен.

Если послушать Понюшкова, так получалось, что Ленин больше всего беспокоился именно о частном торговце. Кононов морщась слушал приторные слова Понюшкова. Что поделаешь, после серьезного доклада часто бывает, что люди, которым есть что сказать, еще не собрались с серьезными мыслями. А Понюшкову что? Понюшков всегда готов.

— Мне слова, — и, не дождавшись вызова председателя, Захар Громов стремительно вскочил на эстраду.

— Слыхали, товарищи? — хрипло спросил он, указывая на Понюшкова. — Вот он тут прямо и откровенно говорил за частного торговца. Это и есть тот элемент, который в гражданскую войну смирно сидел в своем продотделе и занимался самоснабжением, а сейчас с помощью частного торговца на шею народа петлю надеет...

Все, что копилось в душе Захара Громова за эти месяцы, все это разом, как кипящий вар, вылил он на товарищей. Кончив, спрыгнул с трибуны и через волнующееся, протестующее против его речи собрание тяжело прошагал к двери и хлопнул ею. Не помня себя, выбежал он во двор.

Свежий ветер обвеял его лицо. На стене трепетал плакат, только что наклеенный: «Помогайте голодающим». Глаза с привычной жадностью прильнули к зловещим черным и алым краскам плаката. Но ведь он ушел бесповоротно, обратно нет пути! И он заставил себя отвер-

нуться от призывающего голоса плаката. Без шапки, с мутными глазами, направился он на улицу, и дневальный, взглянув в его лицо, не спросил у него увольнительной записки.

Тяжело волоча ноги, шагал он по дорожной пыли. Откуда-то тепло пахло хлебом; от этих мещанских домишек, из-за их прикрытых ставнями окон, о теплой и незрячей жизни говорил этот запах. И захотелось есть. Да, все равно надо жить. В армии оставаться нельзя, значит — путь один: в Москву, на завод. «Вот те и на́, Захарка, как словно бы ничего и не было». И горькая полынь кипела у него в гортани.

Когда загрохотала дверь под сильным броском Громова, Кононов сразу встал с места. Он был готов к выступлению. Сердца у людей бились учащенно, лица горели, а Кононов после того, как грохнула дверь, вдруг спокойно улыбнулся, чуть раздвинулись его бледные губы. И вдруг он увидел, что одновременно с ним неторопливо взошел на трибуну Дегтярев.

— Сейчас не ваше слово, — сказал Дегтяреву председательствующий Арефьев.

— Нет, нет, — склонившись к уху Арефьева, сказал тихо Кононов. — Пускай он скажет, пускай.

И Дегтярев выходит вперед. Жестколицый, черноусый, он, раньше чем начать говорить, благопристойно обдернул военного образца летнюю гимнастерку, слежавшуюся жесткими складками. Дегтярев тоже спокоен, все наперед он обдумал.

— Товарищи! Все мы Громова знаем как истинного рабочего и преданного революции борца. И я своим мужицким простонародным умом очень понимаю и сочувствую товарищу Громову.

Без тяжести, без горечи говорил Дегтярев. «Как граммофон», — подумал Кононов, внимательно следя за ним. И вспомнилось ему, как в первую же встречу с Дегтяревым в его жестких линиях рта, в этих скрытных глазах уловил он что-то враждебное. «Да, такие выслеживали, обыскивали и арестовывали нас. Много их перебили, но вот один, очевидно, самый изворотливо-хитрый, выжил, проник в наши ряды и видно рассчитывает, что пришло его время», — думал Кононов. И смутный ропот нарастал в собрании, ропот негодования и гнева против Дегтярева. Люди сжимали кулаки, бормотали ругатель-

ства, когда Дегтярев с кощунственной легкостью объявил, что выходит из партии.

Он не кончил еще говорить, а сзади него стоял уже Злыдиев. Но старчески румяное, всегда точно подпеченное лицо Злыднева сейчас еще сильнее покраснело от волнения и ярости.

«Нельзя ему выступать в таком состоянии», — обеспокоенно подумал Кононов. Он знал, что у старика случаются приливы крови к голове, и, подойдя к Злыдневу, отвел его в сторону:

— Отец, — сказал он. — Уступите мне очередь, отдайте мне этого стервеца. Ну, а уж если я с ним не управлюсь, тогда вы меня поправите.

Злыдиев взглянул в глаза Кононова и сразу успокоился. Уверенно тверд был взгляд однорукого комиссара. Злыднев кивнул головой и сел за стол президиума рядом с Арефьевым.

И вот Кононов в черной рубашке, с рукавом, заправленным за пояс, встал перед собранием. Все видят глубокие впадины его глаз, широкий изгиб его черных бровей и усеянное темными точками лицо.

— Кононов, — сказал Косихин Лобачеву и от волнения хрипота застлала его голос.

— Ну, держись, он скажет, — ответил Лобачев.

А Кононов уже говорил:

— ... Громов не успел еще дверью хлопнуть, а Дегтяреву уже не терпится, очень подходящий случай подвернулся. Что Дегтяреву нужно? Он ведь как раз из тех наших врагов, о которых товарищ Ленин сказал, что они хотят передвижку власти от коммунистов сделать. А куда от нас, большевиков, власть пойдет — вправо или влево, им все равно, лишь бы власть у нас отнять. И не верьте ему, что именует он себя трудовым крестьянином, — он деревенский кровосос, кулак.

— Врешь, — крикнул с места Дегтярев. — Председатель, не дозволяйте такие обидные слова.

— Эсер, кулак... — не повышая голоса, глядя прямо в лицо Дегтяреву, говорил Кононов. — Кулак! Но ему выгодно сейчас за Громова спрятаться, потому что надеется он, что Громов своим криком и шумом нас с толку собьет. А я думаю, каждому из нас понятно, что при обсуждении такого важного вопроса, как сейчас, совсем ни к чему весь этот крик и стук. Со стороны, если поглядеть,

может оно и похоже, что он храбрый герой, товарищ наш Громов, громче всех кричит. Ну, а нам, большевикам, понятно, что кричит он от страха. А чего он боится? Боится он призраков прошлого, которые сохранились только в его уме, а в действительности их уже нет, в действительности есть наша победа над буржуазией, изгнание белогвардейцев из нашей страны и утверждение диктатуры пролетариата. Диктатура — это власть наша, это самое драгоценное, что мы отстояли в боях за эти годы. Вот и давайте глядеть, как мы со своей властью... — и Кононов вытянул вперед сжатую в кулак левую руку,— должны распорядиться.

Он тяжело передохнул, точно, восходя на высокую гору и одолев полпути, остановился для передышки. Напряженно молчало собрание, ждало его слов, и, еще раз глубоко вздохнув, набрав воздуха, Кононов продолжал и снова повел людей его глуховатый, как бы придушенный голос. Время от времени ссылался он на Ленина, и каждый раз тогда глубокое волнение колебало его голос.

— Так сообразим же сами, товарищи, — говорил он. — Если крестьянину станет выгодно сеять хлеб и хлеба станет много и он подешевеет, так ведь не только через натурналог, — хлеб сам собой пойдет на рынок в города, и опять же наш рабочий, на котором вся промышленность социалистическая держится, сможет дешевле его покупать. Тогда снова оживут цеха нашей промышленности, загорятся топки и завертятся трансмиссии. Это и будет укреплением основы нашего государства, это и будет началом социализма. Таков ленинский путь,— воскликнул он, и аплодисменты прокатились по залу.

И, переждав их, Кононов повел рукой и сказал:

— Ну, а теперь разберемся, каков громовский путь? Разберемся, какой смысл имеет весь этот крик и стук и увидим, что этот путь на поклон капиталу. Извини, мол, батюшка капитал, что тебя обидели в Октябре, вот тебе обратно власть, владей нами, дураками.

— Так сделать? — спросил он собрание. — Так сделать? Нет, товарищи, это легче всего — сдать власть. А вот удержать власть и взяться за наше дело... Товарищи! — воскликнул он, и похоже было, что поверх всего, что он говорил до этого, хлынула новая, более горячая волна, и он поднял руку так, что все видели, будь у него

цела другая рука, он поднял бы обе. — Только, только сейчас мы очистили нашу страну от вооруженных врагов и только сейчас беремся за строительство социализма. И Владимир Ильич сказал: все для этого имеем, только бы подкормиться малость, да топливо подвезти, да заводы пустить... А страна наша богатая, очень богатая страна! — воскликнул он, и новая волна еще выше подняла его речь. — Но хозяева до революции были корыстные и ленивые у нашей родины. Мы же взялись за руководство хозяйством, имея единый план социализма. Нефть и уголь, лен и хлопок, железо и золото — все имеем. А электрификация? — спросил он у притихшего, жадно слушающего зала. — Владимир Ильич почему учит нас ценить электричество? Да ведь когда мы план электрификации выполним и придем к мужику с дешевым товаром и бросим дешевые товары на рынок, мы будем бить наверняка мелкий капитал его же оружием, потому что никогда ему не производить товары так дешево, как мы произведем на наших могучих фабриках. Вот это, товарищи, ленинский путь. Вот чему учит Ленин, вот какой путь он показывает! — Больше чем торжество — веселье, радость звучали в его глухом голосе. — Мы еще так повернем деревню, что крестьянин сам крепко расправится с такими заступниками, как Дегтярев... — сказал он, и ненависть придала глухому голосу несвойственную ему звонкость.

Лобачев вдруг почувствовал, точно холодная рука прошла по его спине. Он глазами Кононова взглянул далеко в будущее, обернулся к Дегтяреву и со злорадством увидел, как тот, не сводя глаз с Кононова, побледнел.

— А, может, о коммунах что скажешь? — вдруг прогудел голос Гладких. И Лобачев встревожился и обрадовался, — ведь сколько времени он тщетно пытался проникнуть в душу Гладких, чтоб угадать, что там происходит, и вот оно, вот оно что!

— Всего, товарищи, не скажешь, — спокойно повернулся к нему Кононов. — Но мы всегда будем помогать крестьянам коллективно хозяйствовать.

— Крестьянин — не чушка и сам кое-что понимает! — ревниво крикнул Гладких.

И Лобачев обрадовался этой ревности. Он быстро начал записывать конспект выступления, он уже знал, что

должен сказать. Он видел, как в ответ Гладких Кононов покачал головой, но, видимо, решил не отвечать ему. А на вопросе этом иадо было остаиовиться, надо было ответить...

— Я немного затянул, но теперь уже буду кончать и хочу еще пару слов сказать насчет таких горе-заступников новой политики, как Поиюшков, который выступал здесь со сладким словом в защиту торговца. И напрасно на него Громов ссылается, — мы все видим, что выступал тут приказчик и холуй капитала. Таких коммунистов нам тоже ие надо. Владимир Ильич еще в восемнадцатом году сказал: «Спекулянт, мародер торговли, срыватель монополии — вот иаш главный «внутреиний» враг, враг экономических мероприятий Советской власти». И они все, и Дегтярев, и Понюшков, и иаш Громов, который громче всех стучит и кричит, — все они служат этому врагу. Это те, от кого нам надо сейчас очищаться, потому что все оии хотят подорвать союз рабочего класса с крестьянством.

Коноиов секунду нерешительно постоял на кафедре, как бы перебирая, все ли сказал, и потом, убедившись, что все, сошел и сел рядом с насупившимся, тяжело дышавшим Дегтяревым и неподалеку от Лобачева.

Был Кононов спокоен, точно ничего не произошло. Но казалось, впадины глаз стали еще глубже. Дегтярев пошевелился, несколько раз кашлянул. Кононов молчал. Дегтярев неловко склонился к нему и зашептал:

— А вы бы полегче, товарищ! Имею в приказе по армии награждение и был комиссаром полка. Кулак! Это нахальство!

Кононов резко прервал его:

— Зиаю, от нас не уйдешь. Не уйдешь!

Они глянули друг другу в глаза. И разом отодвинулись друг от друга.

— Молодец, Кононов, — шептал подсевший сзади Косихин. — Здорово ты!

— Хорошо, — сбоку подтвердил Лобачев. — А только ты, верно, не разобрал, что тебе Гладких крикнул?

— Это насчет сельскохозяйствеиных коммуи? Вопрос сейчас не первостепенный...

— Что это ты говоришь, батька? — заволновался Лобачев. — Или ты разговор с Дударевым забыл? И ведь ты же сам просил меня узнать, что у Гладких иа душе,—

так вот видишь, оно и сказалось. Хотя Гладких о себе и говорит, что он от деревни отрезанный ломоть, но думать о ней не перестал.

— Может, ты и верно говоришь, Гриша, но ведь сразу обо всем не скажешь...

Смеркается. Незаметно потускнели лица. Выступали уже и Медовой, и Васильев, и другие. Похоже, что после нескольких лет войны впервые заговорили обо всем, что передумано, о том, что достигнуто, и о том, что еще надо достигнуть, о рассеявшихся иллюзиях и о надежных планах на будущее.

Настали сумерки. Но электрический свет мгновенно смыл их из комнаты и показал всем табачный дымок над собранием и устало-напряженные лица людей. И с радостью почувствовал Косихин, что понимание главного, того, о чем так ясно было сказано Лениным, что новая политика не есть мир с капиталом, а новая борьба с ним, — понимание этого молнией сверкало в речах то одного, то другого оратора.

А Лобачев, не слушая, искал глазами Миндлова, чтоб перед тем, как выступить, посоветоваться с ним, но в зале Миндлова не было, а черед выступать пришел, и вот Лобачев уже вышел на трибуну, и Гладких, увидав его приземистую фигуру, взволнованно приподнялся с парты. Гладких тоже собирался выступить. Но он не подобрал еще слов для выражения своей мысли и поэтому все время ждал, что кто-нибудь другой выскажет его мысль. Слушая Лобачева, Гладких радовался каждой его удаче и огорчался каждым промахом его.

— ...Не надо думать о мужике, что он серое быдло и ничего ему не надо, кроме личной корысти... — говорил Лобачев, обращая свою речь одновременно к Кононову и Гладких, к двум людям, которых он хотел сдружить. — Лучшие люди из крестьянства всегда мечтали о справедливой жизни и не раз восставали и кровью платили за свои мечты, и сейчас они поняли, что только под руководством пролетариата... — и Лобачев с радостью видел, как кивнул головой Кононов, как посветлело лицо Гладких, и уверенно пошел дальше.

Слово за словом слал он в зал, и глаза его зорко всматривались, ловили ответы мыслей на лицах слушавших, и мозг откликался на эти мысли все новыми и

новыми словами. Но вот в разгаре речи замигало электричество, точно черный коленкор несколько раз развернули перед глазами, а потом потухло; Лобачев видел только синие квадраты окон. Было трудно говорить, никого не видя; закрыв глаза, он представлял себе лица слушающих и продолжал говорить. Гул зала был точно рокот ночной реки, против течения которой приходилось идти по невидимому, темному дну.

И он, не окончив, злой ушел с трибуны. Трудно было говорить в темноте. Председатель звонил, но комиссары поднялись со своих мест.

И эта темнота, и этот нестройный гул голосов, и топот ног, которыми заканчивалось такое важное собрание, — все это рассердило Злыднева. Громко спросил он:

— А «Интернационал?»

— «Интернационал» надо спеть, — почти одновременно раздался глухой голос Кононова.

Вставай, проклятьем заклейменный...

Лобачев узнал сильный голос Коваля и присоединил к нему свой хрипловатый густой баритон. Воодушевленно и пронзительно запел Косихин, тяжело рявкнул Гладких. Шалавин влил широкие, длительные ноты, звонко и высоко подтянул Герасименко. Старческий голос Злыднева и надтреснутый голос Васильева влились в хор, все более крепнущий. Комиссары сгрудились у трибуны и, с товарищеской лаской, забыв о раздорах и спорах, узнавали друг друга в темноте.

И те, кто были уже у двери, услышав великий гимн, возвращались к трибуне и один за другим присоединялись к пению.

Хор голосов все крепчал. И когда пели о том великом громе, который давно уже рокочет в прекрасно грозных тучах революции и вот-вот грянет смертью над сворой псов и палачей, Громов, вернувшийся после печальных скитаний и вошедший во двор, встрепенулся, хотел было запеть тоже.

Но горько откашлялся. Слышал он, что поет вся ячейка, словно ничего не случилось. Его тяжелые слова, наполненные гневом, никого не убедили, никого не задели. И с немой горечью в горле слушал он пение.

Так дикий гусь с подбитым крылом, когда видит в прозрачном и холодном закате быстрый гон осенней перелетной стаи, тщетно бьет воздух здоровым крылом, хочет лететь ей вдогонку и не может.

Казалось, что в эту ночь никто не спал. Общежитие гудело, везде шли разговоры. И порою ночная тишина прерывалась громким восклицанием. Лобачев шел между кроватей, искал Кононова, он нагибался над постелями и видел, что отовсюду глядят бессонные глаза. Похоже, что люди пытливо вглядывались в будущее, открывшееся им сегодня. Вдруг, подойдя к одной из кроватей, Лобачев изумленно прислушался. «Да, спокойное и ровное дыхание, легкий храп. Спит, точно хорошо поработавший человек. Кто же это?» И вдруг с соседней койки его тихо окликнул мягкий голос Коваля:

— Лобачев, ходь сюды!

Лобачев пошел на огонек его папиросы.

— Спит... — полуутвердительно, полувопросительно сказал Коваль.

— Да. Кто это?

И после некоторого молчания Коваль сказал, раздавив сапогом светляка папиросы:

— Дегтярев.

— А...

Помолчали.

— Да... — сказал, наконец, Лобачев. — А ты Кононова не видел?

— Он на дворе, там еще трошки есть хлопцев. Сидели, балакали. Я только пришел... Да разве уснешь!

На дворе, на бревнах, увидел Лобачев тихо беседующую кучку людей. По тихим голосам узнал он Злыднева, Шалавина, Васильева, Гладких, Медового, Косихина. Кононов говорил не больше других, но он точно задавал тон всему разговору. И еще раз почувствовал Лобачев, почему он искал Кононова, почему все здесь собравшиеся так же, как и он, тянулись к Кононову.

Разговор шел о прошлых годах революции, но не слышно было бахвальства подвигами; говорили о том, что уже прошло, и воспоминания об этих днях только подкрепляли для будущей борьбы. Злыднев, Васильев, Кононов вспоминали о Ленине. Бережно звучали голоса, словно каждым поступком, каждым словом Ленина комиссары освещали себе грядущий путь.

Белые стены отражают полдневое солнце, которое заливает заваленный бумагами стол Миндлова (болезнь на всем ходу остановила работу) и желтоватое лицо Миндлова с пятнами румянца, похожего на кровоподтеки.

Лобачев не понял, спит Миндлов или нет, и, в нерешительности постояв на пороге комнаты, подошел осторожно к постели.

— Ты бы подал рапорт о болезни, Иосиф... — осторожно начал он, и сразу Миндлов встрепенулся, хотел спустить ноги с постели.

— Тебе приходится за меня работать. Да? — резко и обидчиво сказал он. — Прости!

— Да куда ты? — и Лобачев легко удержал его на постели. — Лежи!

— Это временная слабость. Я отлежусь и встану, — тихо, не открывая глаз, сказал Миндлов. — И ты всегда был хороший товарищ, Гриша.— Голос Миндлова дрогнул.

— Да ладно, ладно...— грубовато, горячо и торопливо сказал Лобачев.

Он еще некоторое время потоптался около Миндлова. Но тот не открывал глаз. Лобачев ушел, и теперь забота о Миндлове стала добавочным делом Лобачева в это тревожное время, наступившее после партийного собрания.

Лобачев делал за Миндлова всю работу, не оформляя официально своего заместительства; стоило ему об этом заикнуться, как Миндлов начинал волноваться, пытался вставать с постели. А без его разрешения Лобачев не решался оформить новое положение,— чувствовал он, что это было бы как-то не по-товарищески. Так прошло еще несколько дней этого знойного лета; время двигалось с той значительной и тяжелой медлительностью, как оно идет всегда в дни нарождения новой эпохи... И вот в руках его телеграмма:

«Окрвоенполиткурсы, Миндлову. Жена умерла скоротечной пятого седьмого восемь двадцать. Главврач Знык».

«Главврач Знык... ну, а что делать?» — подумал Лобачев и направился к Арефьеву.

— Умерла. Я ждал этого. Хорошая была девушка,— сказал Арефьев. Помолчал, подумал и обратил глаза к Лобачеву: — Так в чем дело?

— Георгий Павлович, — кряхтя и скребя затылок,

сказал Лобачев, — он, понимаете, после собрания в каком-то рыбьем состояннн, я за него опасаюсь...

— Что значит в рыбьем?.. болен? А кто его замещает? Вы? А почему я рапорта не имею ни от него, ни от вас?

Лобачев ничего не ответил.

— Я удивлен, товарищ Лобачев, — мягко сказал Арефьев. — До сих пор я знал вас как четкого и дисциплинированного работника. Садитесь и пишите рапорт!

— Напнсать недолго, Георгнй Павлович. Ну, а с телеграммой что делать? Хоть на гауптвахту меня пошлите, а не могу я ему показать.

Арефьев некоторое время недоуменно и вопросительно рассматривал смущенное и упрямое лицо Лобачева. Потом, пожав плечами, он взял трубку телефона и вызвал Розова, как всегда невольно приподнимаясь со стула при разговоре с ним.

— Кабинет начпо? Товарищ Розов? Да, Арефьев. Я опять насчет Миндлова. Он окончательно вышел из строя... Да, заместитель подготовлен — Лобачев. Слушаю. Но тут есть еще одно обстоятельство: имеется телеграмма о смерти его жены. Прнкажете вручнть ему?

И Арефьев впервые удовлетворенно услышал, как бестрепетный голос Розова дрогнул.

— Начпуокр велел попридержать это дело до вечера. Он сам заедет, — сказал Арефьев, положив трубку.

— Кононов... товарищ Кононов! Пойдем сюда, пообедай со мной, ведь ты не обедал!

— Да... опоздал!

— Ну, так подсаживайся. На двух хватит. Милости прошу! — и Гладких, шнроко улыбаясь, указывал на дымящийся котелок. — Я сегодня в наряде, — мне отсюда весь двор виден.

Гладких поставил котелок на скамью, сорвал лопух и положил на него хлеб. Он в летнем шлеме, который сидит на самой макушке его головы. На эту большую голову шлема впору в цейхгаузе не нашлось. На поясе у него тесак — он сегодня караульный начальник. И это точно написано на всей его подобранной фигуре, на полном достоинства скуластом, сильном лице.

— Ешь, — сказал в краткий перерыв между двумя глотками Гладких. — Ешь! — повторил он настойчиво.

— Жарко, есть не хочется, — ответил Кононов. — Дела, товарищ Гладких, а?

— А что?

— Громов-то... Все-таки заявление подал!

Гладких отложил ложку и с молчаливым недоумением смотрел на похудевшее темное лицо Кононова.

— Однако что ты с ним нянчишься, ну? Чего ты ему сопли утираешь? Вот гляжу я на тебя, на Гришу Лобачева, на деда Злыднева. Люди вы, прямо сказать... крепкие... — подумав, добавил он, и сдержанное одобрение прозвучало в его голосе. — И не идет мне в понятие: чего вы с ним нянчитесь? Какой же из него коммунист, если он в такое время сдает? Нет! Я смотрю: гнать таких в шею надо, пока он сам не ушел, с позором гнать...

Кононов промолчал. Потом покачал головой, машинально зачерпнул ложкой суп и машинально выплеснул.

— Дорогой товарищ Гладких! Если большевизм только для себя беречь, так это не большевизм получается,— посмеиваясь, сказал он.

Гладких неподвижно слушал, чуть щурил свои косоватые глаза и упрямо покачивал головой, этим показывая свое несогласие. Кононов незаметно разглядывал его: как-никак Гладких сам завел этот первый сердечный разговор, и для него не бесследно проходят эти дни. Видимо, мосток, который Лобачев перебросил между ними, оказался крепок. «А ну, испытаем его, испытаем...»

— Имею письмо я от Дудырева. Помнишь? Он, кажется, в вашей группе был...

— Как же...— поморщился Гладких.— Он же, можно считать, первый с курсов побежал. Как же — казара́. Их доблесть известная — обозы грабить. Герои...

— А вот он у себя в станице партизанскую коммуну построил, — сказал Кононов.

— Коммуну?...— помолчав, недоверчиво переспросил Гладких.

Кононов как бы нехотя стал рассказывать, вынуждая Гладких торопить и расспрашивать, — и только почувствовав, что интерес Гладких разожжен, Кононов ускорил рассказ.

Он говорил все горячее и подробнее. Откуда что бралось: общее поле, и общее стадо, и уничтожение межей — все это он приписывал Дудыреву, и все чаще то с надеждой, то с сомнением перебивал его Гладких, соглашался,

спорил, и по словам его было видно, что по многу раз он уже передумал эти мысли о коммуне, раньше чем они выскочили на собрании в виде каверзного вопроса, который он задал Кононову. Вдруг почувствовав, что внимание Кононова отвлечено в сторону, Гладких поднял глаза и разом нахмурился: к ним легкой походкой шел Коваль.

— Дозвольте доложить, ваше благородие: — есть! Застукаем! — пошучивая, сказал он Кононову, но ясноглазое лицо его было серьезно и взволнованно.

— Ну?.. — спросил так же взволнованно Кононов.

Гладких, решив, что о нем забыли, обиженно вскочил с места, но Кононов перехватил его за руку.

— Видишь, товарищ Гладких, одну, выходит, думку думали вы с Дудыревым, два месяца рядом сидели, а об этом друг другу слова не сказали, — с неожиданной строгостью сказал Кононов. — И не до обид нам сейчас друг на друга, когда один у нас враг у всех. Идем-ка с нами...

И Гладких вдруг почувствовал, что должен подчиниться, не может не подчиниться этому приказанию, пошел за Кононовым и Ковалем.

Они вошли в кабинет Арефьева. Там был и Лобачев.

— Вот кстати, — сказал Кононов, увидев его. Затворяя дверь за вошедшими вслед за ним Ковалем и Гладких, он сказал, обращаясь к Арефьеву:

— Разрешите, товарищ начальник, одно серьезное дело доложить! — И, на кивок Арефьева, Кононов обратился к Ковалю: — Рассказывай, Коваль!..

— С той поры, как вы меня с Миколой Смирновым разлучили, — чуть усмехнувшись, начал Коваль, — попал я в соседи к Дегтяреву. Ну, как бы сказать: куркуль шахтеру не сосед... Скучно... Молчит чего-то и в книжечке все считает... Молчит, как пень. Ну, и есть сундучок у него... такой малесенький, от такой, кованый. Маленький, а двигать его тяжело: с бельем, так легче должен быть. И бережет. Просыпается — и сразу руку под кровать, — что-то бережет! Спит чутко: ночью чуть пошевелишься, а он уже глядит на тебя! И вот у меня думка, — совсем пригнувшись к уху Лобачева и поглядывая на Арефьева, говорит Коваль, — а не золото ли у него, часом, в сундуке?

Молчание.

— Ну что вы, товарищ Коваль! — говорит Арефьев. — Он, конечно, показал себя как враг, но... это политический враг.

Гладких согласно кивнул головой, и, кроме Кононова, никто не заметил этого кивка.

Коваль насмешливо и хитро сузил ясные глаза.

— Политика? — переспросил он. — А я разве говорю, что он не политик? Он только свою политику прямо выразить опасается, вот и плетет, что он, мол, народник и прочее, — я эту породу кулацкую знаю. Политик! А вот он курсовой хлеб продает и на базаре белый покупает. Хлеб у нас, верно, последнюю неделю с овсом да с соломкой, не разберешь — то ли хлеб, то ли сноп. Но, конечно, обижаться на это никак нельзя, положение с хлебом мы понимаем и, что дают, жуем да спасибо еще говорим. А он курсовой хлеб копит, потом продает, добавляет свои деньги, покупает ситный...

— Ну... — протянул Лобачев, — это ещё не доказательство. — Он поглядел на Кононова. Тот спокойно слушал.

— Доказательство? — переспросил Коваль. — А я головой биться об заклад пойду, — серьезно, и страстно сказал он.—Чую я чекистской ноздрей, чую... Прикажи обыск сделать, товарищ начальник!—обернулся он к Арефьеву.

— А если не найдем? — медленно спросил Арефьев.

Но Лобачев вдруг вспомнил ту бессонную ночь, когда оба они с Ковалем слушали спокойное дыхание Дегтярева.

С грохотом двинул Лобачев креслом и решительно обернулся к Арефьеву. Арефьев, взвешивая каждое слово, сказал:

— То, что Дегтярев враг партии, — это несомненно. Что при этом он еще мародер — пожалуй, вы правы. Но что он настолько неосторожен... Если вы, Коваль, так уверены, пишите рапорт, и только тогда прикажу произвести обыск. Дело ответственное.

Коваль тут же быстро написал рапорт и приделал к своей подписи веселый и лихой, на пол-листа, хвост.

Невозмутимо выслушал Гладких приказание Арефьева и, коротко сказав: «Слушаюсь», вышел из кабинета, держа в руках рапорт Коваля. Взволнованный Коваль пошел за ним.

Осторожным зверем, уходящим из опасного круга облавы, был в эти дни Дегтярев. Заявление в бюро подано.

Через два дня на общем собрании обсудят, а потом неизбежное откомандирование с курсов и демобилизация. Все возвращается к старому, это знает он твердо, и хищником, перед глазами которого новые места охоты, глядит он вперед.

В зале — докучная лекция, ее уже можно не слушать. Сидит Дегтярев у себя на постели, в самодельной записной книжке своей пишет какие-то цифры.

Дегтярев поднял голову и увидел: в дверь вошел Коваль, а позади его, с тесаком на поясе, невозмутимый Гладких. Но только увидав позади первых двух Кононова с пустым, заправленным за пояс рукавом, почувствовал Дегтярев, как холод прошел по всему его телу. Но его скрытное лицо ни в чем не изменилось, и он медленно поднялся с постели. Он точно наперед знал, что скажет ему сейчас необычно подтянутый Коваль.

— Товарищ Дегтярев, по приказу начальника курсов мне и товарищам поручено произвести у вас обыск.

Дегтярев, ничего не отвечая, теребил аккуратно подрубленный край гимнастерки. Он надел шлем и встал. Снова сел и снял шлем. Как ржаной прошлогодний сухарь, черство его лицо.

— По приказу начкурсов... — хрипло повторил он.

«С поличным поймали», — с жестокой радостью подумал Коваль, наблюдая смущение Дегтярева и проверяя его поведение опытом прошлых чекистских операций.

— А ну, Гладких, выдвигай... Заперт. Одолжите-ка ключик, будьте ласковы! — обращается Коваль к Дегтяреву.

Дегтярев поднял взгляд и встретился с его беспощадно-ясными глазами.

«Дать ключ? Значит — конец. А не дать? Испортят сундук все равно...» И Дегтярев вынул руку из кармана, отдал уже несколько секунд зажатый в ладони, запотевший, теплый ключ.

— Тэкс... А ну, товарищ Гладких, выложь кожанку. Теперь подыми белье. Осторожно, не мни... Вот медведь, чалдон!

Поднял сразу все белье Гладких и застыл с охапкой в руках.

— Яки ясны, яки гарны, — мурлыкал Коваль, черпая из сундука тяжелую, густо звенящую горсть золотых и серебряных монет. — Ба, да здесь и серьги и колечки...

На фронте награбил? — почти без злобы, как бы утвердительно спросил Коваль.

Молчит Дегтярев.

— Ну что ж, будем протокол составлять? — обратился Коваль к Кононову, который с недоумением разглядывал кожаную куртку, вынутую из сундука Дегтярева.

«Ведь это ж моя куртка, ведь не может быть такого совпадения». — И он рассматривал роковой для него прожог на правой руке, повыше локтя.

— Кононов, давай акт составлять!

Гладких, складывавший отдельно серебро, золото, николаевки, керенки, золотые, серебряные вещи, вдруг воскликнул:

— Однако здесь и колчаковские есть!

Звенят монеты. Молчит Дегтярев, как кирпич, неподвижно его лицо, и только руки теребят край гимнастерки; в оцепенении он слушает жестокие прибаутки Коваля, начавшего писать протокол.

— А совзнаки есть? — вдруг спросил Кононов, и в голосе его удивленная и яростная догадка.

— Совзнаки? — переспросил Гладких. — А совзнаков-то нету.

Помолчали, быстро переглянулись и враз поглядели на Дегтярева. Кононов положил куртку на кровать и сказал Ковалю и Гладких:

— Это моя куртка. Я ее продал, чтоб хлеба купить, а он ее купил у татар, понимаешь?

Помолчали.

— Че ж, выходит... он совзнаки спускал? — спросил медленно думающий Гладких.

— Понятно... — усмехнулся Кононов. — И тут вдруг с лица Коваля сбежала улыбка, оно грозно вспыхнуло, вздулась жила на лбу, и он выхватил из кармана браунинг. Дегтярев охнул и присел... Кононов своей единственной рукой перехватил и отвел быстрый прицел.

— Оставь, — сказал он, — подожди, Афонь... — Он, не отпуская, держал руку Коваля.—Этот гад нам еще нужен.

Медленно гасло лицо Коваля, и когда Кононов увидел, что опять улыбчивым украинским солнцем засияли его глаза, отпустил его руку.

— Это у меня бывает... — сказал Коваль, виновато пряча браунинг. И, повернув к Дегтяреву свое осунувшееся от злобы лицо, сказал ему: — Иди вперед, шкура!

На скамье сидит Дегтярев, за столом Лобачев дописывает следствениое заключение. Рядом с Дегтяревым иикто не садится. Комиссары стоят вокруг и с жестокой радостью разглядывают Дегтярева. Весть об истории с Дегтяревым уже успела распространиться по курсам, и Коионов разрешил, кроме члеиов бюро, присутствовать на заседании также и активистам.

— Я записал, что цеииости вы похитили, будучи председателем трофейной комиссии. Верио? А теперь отвечайте мне еще на один вопрос: по какой причиие у вас оказались колчаковские деньги и кереики, но ие оказалось совзнаков?

Молчит Дегтярев. Но Лобачев тоже молчит, и его молчание требует ответа.

— Интересовался я... Вроде для коллекции.

Не выдержал, ворвался в допрос Коваль.

— Врешь, шкура! Контрреволюцию ждал. Ведь зиаем, — спускал совзнаки, барахло покупал. Знаем!

— Тише, товарищ Коваль, не мешай вести допрос!

— Итак, я записываю ваши показания, — говорит Лобачев. — «Для коллекции». Так, так. А скажите, зачем иаграбленное держали на курсах? Ведь это... иебезопасно, — с интересом спрашивает Лобачев.

На эти нотки интереса исподлобья поднял взгляд Дегтярев и вдруг с открытостью для иего иеобычайиой ответил:

— Куда же спрятать? При себе-то все надежнее.

— И вот такая шкура, — говорит Васильев и весь горит гневом, от которого жарко лицу, — такая шкура нам ставит в виину переход к новой политике!

Шалавии взгляиул на пожелтевшее неподвижное лицо Дегтярева и сказал:

— Дело его — табак. А что он волк в овечьей шкуре, так это я с первого дия почуял. Коиечно, данных не было.

Так говорили о нем при нем же.

Арефьев открыл дверь и пропустил вперед Гордеева и Розова. Коионов открыл заседание бюро с активом.

— Слово товарищу Лобачеву, — сказал Коионов. — О следствениом допросе.

Лобачев, ие вставая, пожал плечами:

— Чего ж, товарищи? Граждаиии Дегтярев созиался, что деньги и золотые вещи отчасти им присвоены во время обысков у буржуазии, но главным образом когда

он был председателем трофейной комиссии... Восемьсот рублей колчаковских гражданин Дегтярев объясняет тем, что собирал коллекцию.

Среди общего молчания зло рассмеялся Васильев.

— Вы подтверждаете все это? — обратился Арефьев к Дегтяреву.

Дегтярев впервые поднял глаза и посмотрел на врагов. Да, враги! Он давно уже знал об этом, но только сейчас, когда они тоже разглядели в нем врага, почувствовал он всю меру вражды. Ненависть, презрение и радость в их глазах. И хотя многим негде сесть, но рядом с ним на длинную скамью никто не садится, — он один, как затравленный волк.

— О чем говорить? — прохрипел он. — Ваша взяла. Арестовывайте, расстреливайте, только скорей!

— Нет, дружок, — сказал Васильев, — нет... Ты еще позадержишься на этом свете. Ты нам еще нужен.

Худощавый, чуть сутуловатый, он вышел вперед, с горячим и жестким презрением кивнул в сторону Дегтярева и спросил:

— Слышали, товарищи? Вот он — тот самый заступник крестьянства, которого мы здесь слушали на прошлом собрании. И такие были меж нас, и мы их не знали! Но другие его породы еще остались в партии, и мы ожидаем чистку и надеемся всю такую погань повыкидать, — и он обвел твердым взглядом своих голубых глаз собравшихся.

Люди уже вставали с мест, как вдруг Гордеев сказал:

— Дайте-ка мне слово.

Вольно, чуть расставив ноги в сапогах, начищенных до зеркальной яркости, стоял Гордеев, взявшись одной рукой за ремень, а другую засунув глубоко в карман. Он ждал, когда члены бюро сядут, и трудно было понять выражение его лица, затененного пушистой бородой. Дождавшись тишины, он вдруг вытянул руку вперед, все обернулись, повинуясь его жесту: там, в большом окне, с высоты третьего этажа видна была убегающая вверх улица, которая замыкалась белым зданием с мелкими и редкими черными окнами — знаменитым на всю Россию острогом.

— Вот, товарищи, — тихо сказал Гордеев, опустив руку, — десять лет назад, в такой же знойный вечер, в том вон большом доме состоялся разговор между жандармским ротмистром Глинкой и мастеровым Николаем Гор-

деевым, то есть мною. Ротмистр был настоящий, красивый ротмистр, — одобрительно сказал Гордеев, — хорошо обмундированный мужчина. Я, поскольку меня взяли в каменоломне и при некотором посильном сопротивлении, был несколько помят... Он допрашивает, а паспорт мой, не какая-нибудь фальшивка, а настоящий паспорт лежит у него на столе, и я, поскольку взят был в первый раз, чтобы не засыпаться, решил не хитрить, ну и говорю ему все, что в паспорте написано. От остального отпираюсь, даже от зятя — мужа сестры, взятого вместе со мной.

Ну, его благородие попробовал меня так, попробовал этак — замолчал, подумал короткое время, угостил папиросой (хорошие были папиросы!) и вдруг спросил: «Скажите, господин Гордеев, вы в бога веруете? Впрочем, — тут же быстро добавил он,—вы можете не отвечать, это я не в порядке допроса». Но я решил малость потешить его высокородие. «В школе, когда учился, так интересовался богом. Ну, и спросил у нашего батюшки насчет бытия божьего, так он меня выдрал и сказал, что такими вопросами демон искушает...» Вижу: его высокородие морщится. Эх, думаю, серость мужицкая—чего-то сказал неловко, — Гордеев широко раскрыл глаза и развел руками, и смех, уже давно нарастающий, прорвался и прошел среди собравшихся. — Но, видать, крепко хотелось ему со мной побалагурить. «Что же, говорит, господин Гордеев, я тоже хочу вас ввести в искушение. Признаюсь прямо: я сам не верю в бога... Не верю, — и прямо мне в глаза смотрит, а глаза такие голубые, чистые, святые, как у теленка. — Я знаю, кроме этой жизни, — он показал в окно, — ничего человеку не отпущено, ничего, господин Гордеев», — с каким-то сожалением, совершенно искренним, выговорил он. Я все стоял спиной к окну, и вот, как вы сейчас, обернулся и не могу отвести глаз: красивая улица, вся ярко залитая таким же вот милым, веселым солнцем, вывески горят золотом и красками, медленно идут женщины, они одеты пестро, и издали обо всех думаешь, что они красивы. А еще дальше, выше города, выше крыш виднелись хвойные хребты, поднялись, обнимая друг друга, зеленые и все более голубые. Жизнь...

А он, мой искуситель, грустно так продолжал:

«Пять лет, господин Гордеев, пять лет будете вы сидеть в этих гостеприимных стенах, а люди все так же

будут идти мимо этой тюрьмы и даже не взглянут в ее сторону и не подумают о вас... А вам тридцать лет — расцвет жизни! По своей специальности вы неплохо зарабатываете, да если ваши силы и способности, с таким же упрямством, как вы сейчас употребляете на безумные ваши дела, употребите для себя, так выйдете за эти пять лет в техники, в интеллигентные люди. Больше того: я уверяю вас, вам помогут...» Я ничего не отвечал. «Пять лет жизни, — продолжал он. — От тридцати до тридцати пяти. Мне же самому тридцать шесть, — в эти годы пенится, играет жизнь...» — ворковал этот красивый мужчина. Я молчал. Я видел, как сквозь прищуренные ресницы он зорко и остро с надеждой следит за мной. Я молчал...

И сейчас Гордеев тоже помолчал, опустив голову, и в полной тишине собрания только слышно было, как тихо звенят стекла, сотрясаемые неутихающей мостовой.

— Пять лет жизни! — вдруг громким голосом, вскинув голову, воскликнул Гордеев. — Он меня спрашивал, знаю ли я, что такое пять лет жизни, а я ранним утром, стоя в пикете и охраняя нашу работу, столько раз готов был грянуться грудью оземь и целовать эту землю, эту суровую и непокорную, но прекрасную землю... И я только женился, товарищи, поздно — двадцати девяти. Только встретил — и вот пять лет разлуки! Это я сейчас, товарищи, все ясно так выговариваю, а тогда это пронеслось в минуту. Как молния ударяет в сухостой, вот так же весь вспыхнул я, — пять лет! Он манил меня этими пятью годами, он хотел меня оторвать от того, с чем я был крепко связан, — нет, слово не то, без чего просто я не мог жить, — оторвать меня от нашего класса, от вас всех, доказать мне, что нашего класса не существует, что есть свора друг друга грызущих людей. Я сейчас это так все ясно говорю; если бы тогда я так понимал, я бы сумел обуздать свой гнев. А тогда я не сумел, не сумел, и обрушил на его дворянскую голову такой двадцатиэтажный матюк, с богом, с крестом и царствующей фамилией, — может, придуманный самим батькой Пугачевым.

— Да. Ну, и наш интересный разговор на этом кончился, — переждав смех и аплодисменты, с сожаленьем сказал Гордеев. — Его благородие первый момент даже испугался, но потом он показал свои хорошие жандармские качества. Пять дюжих молодцов лихо обработали

меня. Они старались вовсю, оин так добросовестио поработали, что в камере уголовники, к которым я был брошеи, снабдили меня сочувственой кличкой: «Отбивиой», которую, кто из вас постарше, так за мной знает... Но из этого ничего ие могло выйти: то, что оии из меня хотели выколотить, вколачивалось все глубже.

У каждого человека в жизни есть таких вот несколько воспоминаиий. Я ие скажу, что они обязательно самые яркие, ио их запомииаешь, как повороты жизненного пути, когда вдруг видишь новые горизонты. И вот, товарищи, вы здесь разбираете ваши дела, а я, — и он опять указал в сторону тюрьмы, и какая-то странная, яростная иежиость прозвучала в его голосе, — все перемигиваюсь с этой старушкой, которая пять лет жестоко школила и ияичила меня. Как я ее иеиавидел!.. Вы все знаете эти слова: «церкви и тюрьмы сровияем с землей...» — Ои на минуту задумался и вдруг шагиул и стал лицом к лицу с Дегтяревым. — Я одно знаю: таких врагов, как этот жаидарм, как те палачи, которые били меия, иичем, кроме тюрьмы, ие смиришь. Это я уже знал. За это я спорил с меньшевиками. И сейчас еще раз вижу: эта старушка должна получать в свои руки всех тех, кто ее выдумал, кто веками крепил ее стены, и мы ее сроем не раньше, пока всех гадов ие истребим на земле. — Аплодисменты перебили его речь. Первым зааплодировал Васильев, а за иим другие члены бюро. Он нетерпеливо поморщился. — Враг! Враг бывает разный. Есть у иас и такие враги, которых мы согнем, которым сделаем прививку, иовую кровь, иовые мысли вольем в сознание... Не просто, совсем ие просто обстоит дело с нашими врагами. Вот возьмите вы этого человека, — спокойио и без всякой злобы сказал ои, указывая развернутой ладонью иа Дегтярева, и Дегтярев подиял глаза, передохнул, шевельиулся, отчаяиная иадежда тускло сверкнула в его глазах. — Неужто мы его судим за воровство? Пустяки...

Разве Дегтярев простой вор?.. Разберемся внимательно с этим интересиым случаем. Первый вопрос: как он к нам попал? Он пишет в анкете: крестьяиии-середняк. Был иа империалистической войне, старший унтер-офицер. Что ои унтер — это ои пишет верно, а что середняк... ну что ж, будем проверять. В семнадцатом разлагал царскую армию. Участвовал в Октябрьской революции... Нет, не мог ты участвовать в таком святом деле, — увереино

сказал он. — Но, верно, уже тогда воровал, прикрываясь советским мандатом. Знаешь, обыски, конфискации под шумок, а? Ведь мы уже ловили таких самозванцев, — со спокойным интересом спрашивал Гордеев. Дегтярев мертво глянул в его любопытствующие живые и веселые глаза и ничего не ответил. — Ну что ж, — прислушавшись к его молчанию, продолжал Гордеев. — Может, и воровал-то с невинной душой: буржуйские, мол... — И Дегтярев опять с надеждой глянул на командующего. — Видишь, Дегтярев, — как бы успокаивая, сказал командующий, — мы хотим понять, как ты к нам пришел. Сдается мне, он попал в ту большую волну, которая поднялась за большевистское дело из самой глубины народа и вливалась в партию. У тебя, наверно, были обиды и утеснения от старого режима, уж, наверно, были, поскольку ты не барин и не буржуй. Но для себя ты ни о какой жизни, кроме буржуйской, мечтать не мог. И, придя к нам, ты прокладывал свою дорожку в жизни. Говоря наши великие слова, ты, верно, думал, что они нам нужны для Ивана-дурака, чтоб его вести за собой, а потом, мол, ото всего откажемся. И ты под шумок готовился к этому времени, припасал золото. И ты очень хотел нам вредить, очень. И с радостью ждал этого, веря в нашу гибель... Но ты не ожидал того, что наметила партия, — этой новой политики. Ты понял, что мы сильнее и умнее, чем кажется. И в момент, когда остальные в наших рядах заколебались, закачались, ты стал их советником и болельщиком. Мы видим всю твою работу против нас. Что придавало ей силы? Ты действительно был убежден, что коммунизм — обман, что есть одна только правда собственности, хищничества, но в то время, как у Громова эти слова возбуждали ненависть, ты подло играл на этой ненависти... — Командующий передохнул, молча посмотрел на Дегтярева, и, почувствовав себя беспомощно-прозрачным, Дегтярев склонил голову, — вот оно то, чего он так боялся.

— Так Дегтярев превратился в самого опасного врага. Не тот враг нам страшен сейчас, который наскакивает на нас и силой хочет сломить, — мы молоды еще были, а как мы их за эти годы сокрушили, как сокрушили! Страшен тот враг, который опасной заразой проникает в нашу кровь, в наше сердце, в наш мозг — великую нашу партию — и мутит слабые души... И вот она, будущая чистка, товарищи! Она еще впереди, но, как я понимаю, сегодня

она уже началась, мы очищаем себя, с болью, с мукой извергаем из себя ядовитых паразитов... Не думаю я, чтоб много таких нашлось среди нас, но лучше уж побеспокойте десятерых невинных, но изловите одного вот такого мародера, добровольного провокатора, партийного изменника. Надо быть большой стервой, чтоб суметь пробраться вот сюда, в наши ряды. Таких прощать мы не можем, в их исправление не верим, и дорога для них из этого зала одна: вон туда! — и так же, как в начале своего выступления, он указал на тюрьму.

Сразу после заседания бюро Розов с Арефьевым и Лобачевым прошли в кабинет начальника.

— Дайте телеграмму... — сказал Розов.

Молча читал он скупые строчки телеграммы, и в момент, когда Лобачев подумал, что непонятно долго читает начпуокр эти скупые, считанные слова, дверь открылась, и в кабинет вошла женщина; ее выпуклые глаза были заплаканы, щеки и губы ярко румяны. Она, видимо, пыталась себя сдерживать, но слезы вопреки желанию катились по ее лицу. Однако она сквозь слезы быстро и с любопытством оглядела Арефьева, Кононова, Лобачева. Что-то приятное, веселое, несмотря на слезы, было в ее взгляде.

— Татьяна Розова. Жена моя, — однотонно сказал начпуокр. — Ну, Таня, надо брать себя в руки... Была?

— Была... — Она кивнула головой, слезы разом брызнули из ее глаз, и она, не утирая их и всхлипывая, сказала: — Да. С ним очень плохо. Я правильно тогда тебе говорила...

— А как быть с телеграммой? — перебил Розов. — Вот она.

Но Таня не взяла телеграммы в руки и даже с ужасом отмахнулась от нее.

— Что ты, что ты!.. Да он тут же с ума сойдет... Я у него в комнате убрала, портрет ее поставила, а сейчас я за бельем, хочу переменить ему рубашку, цветы надо...

«Верно, вот верно! — думал Лобачев, с восхищением глядя на эту незнакомую женщину, которую он, казалось, знал всю жизнь, но позабыл. — Такую вот жену бы тебе иметь, Григорий Лобачев», — подумал он и конфузливо остановил эту непроизвольную мысль.

— Ему надо говорить, что она жива.

Розов уныло покачал головой, и она сразу пожалела его.

— Ничего, Фима, ничего, все наладим!

Слезы высохли на ее лице. Горят щеки, блещут глаза, она быстрой рукой поправляет волосы. Она видит, что мужчины колеблются, и тем увереннее говорит сама.

— Ну, ладно, мы сейчас скроем... Но ведь потом он все равно узнает?.. — спросил Лобачев.

Арефьев и Розов, услышав его вопрос, выжидательно повернулись к ней.

— Потом?.. — насмешливо повторила Таня. — Мы посмотрим, что будет потом, а пока он выздоровеет, — хитровато сказала она и, мягким настойчивым движением взяв из рук мужа телеграмму, изорвала ее, так и не прочтя. — Вот! — решительно сказала она и вышла из комнаты.

— Иосиф, помнишь, при белых я в Харькове вас прятала, тебя и Ефима? Ты помнишь? Да ляг, милый, ляг! Помнишь? — говорила она и гладила его обеими руками по лицу, точно стремясь через широкие свои ладони влить ему свою силу. Глаза ее блестели, и слезы быстро сохли на горячих щеках. — Помнишь, Иосиф?

Иосиф молча закрыл глаза. Он ни о чем не думал, но этот заботливый голос, эти теплые ладони — все было приятно. А она все продолжала говорить имя «Лия», имя, которое тянуло его к жизни.

— Иосиф, ты только вспомни ясно, ты только, милый, вспомни ее. И ты будешь здоров и увидишь ее. Ты только подумай!

— Правда? — спросил Иосиф, не открывая глаз. — А почему она не пишет?

— Она пишет, что скоро выздоровеет, а ты тоже увидишь ее, когда будешь здоров. Вот вылечишься и ее увидишь. Ну, ты погоди, я сейчас за термометром схожу. Потом окна надо завесить. И воды принести...

— Ты приходи, — тихо сказал Иосиф, блестящими глазами следя за ней.

С этого дня в бредовом мире Иосифа появилась Таня. Электрическая лампочка, лившая свой яростно белый

свет, обернута зеленой бумагой, голос Тани мягок, и кажется порой Иосифу, что это мать, ласковая, молодая, отходившая его во время крупозного воспаления легких в далеком детстве.

Глава двенадцатая

Отъезд Миндлова на лечение прошел незаметно, за последние недели курсы привыкли уже видеть во главе учебного дела Лобачева. Как-то сразу повзрослел Лобачев, стал сдержанней, мягче, молчаливей. По вечерам Сергей, засыпая, видел в темноте огонек папиросы: Гриша все о чем-то раздумывал. И Сергей не решался спросить... Ведь на его глазах быстро загорелась и так же быстро погасла любовь между его сестрой и любимым товарищем. Что произошло между ними? То неотвратимо и непонятно горестное, что всегда происходит с любящими в книжках? И не это ли скоро предстоит пережить Сереже? И он с сочувствием и уважением поглядывал на товарища и ни о чем не спрашивал.

Но если бы Сережа спросил и Лобачев захотел бы ото всей души ответить, вряд ли он нашел бы подходящие слова.

Ему все вспоминался восемнадцатый год. Молодой красногвардейский отряд шел по зеленой, залитой солнцем лощине, и вдруг его обстреляли из пулемета — сначала спереди, потом с тыла, и кто-то упал; услышал Гриша Лобачев первые смертные стоны и побежал, бросив винтовку, как бежал уже весь отряд. Но отчаянно и грозно закричал командир, и Гриша остановился... Все призывало к тому, чтоб бежать: вражеские пулеметы наперебой продолжали строчить, и товарищ, бежавший рядом, вдруг споткнулся, упал ничком, роняя винтовку, страшно дернулся и застыл, не переменяя неудобной позы. Командир продолжал кричать: он упрекал, грозил и призывал — и люди в нерешительности останавливались, так же как остановился пристыженный Лобачев. И вот он первый нагнулся и схватил винтовку убитого товарища, кинулся в канаву, заросшую влажной травой, и первый выстрелил в направлении той опушки леса, откуда летели пулеметные очереди... Так началась для него гражданская война. Так родилась та боевая трезвость, которая сопровождала Григория Лобачева всю

гражданскую войну. И казалось ему, что навсегда избавится он от той задористой, беспечной и смешной удали, которая кружила ему голову до того момента, как в первый раз он был обстрелян.

Но все повторилось: на учебу ехал он, оказывается, не представляя, что она такое будет, как не представлял, что такое война, пока не попал под первый страшный обстрел.

Тоска по Варе не оставляла его. Похоже было, как если бы ему приходилось идти в гору и, кроме трудности восхождения, еще пересиливать постоянную боль, тяжелую, горестную и воспалявшую его душу. Таково было его чувство к Варе. И заглушать его можно было только работой, целиком погружаясь в атмосферу курсов.

Он неслышно проходил по большой библиотеке-читальне, слушая шелест бумаги, быстрый бег карандаша, сдержанное откашливанье, непроизвольный шепот, повторяющий упрямое, неподдающееся пониманию слово. Головы комиссаров неподвижно склонились над столами, и Лобачев заглядывал через плечи: Гладких — «Аграрная программа» Ленина. Понятно. Смирнов — «История Пугачевского бунта» Пушкина. Интересно, кто ему посоветовал. Неужто сам добрался? Коваль — «Новь» Тургенева. Занятно. Нужно будет поговорить — что нашел? Понравилось ли? Герасименко — «Овод» Войнич. Очень хорошо. Васильев — «Развитие капитализма в России».

Оглянувшись, Васильев увидел Лобачева и своей горячей рукой удержал его:

— Гринь, ты погляди... — взволнованно шепчет он. — Читай, — говорит он, отчеркивая ногтем строчки.

«Вот данные г. Лобзина (1866 г.) о крупнейших заведениях сел Павлова, Ворсмы и Вачи во всех отраслях производства этого района: у 15 хозяев было 500 рабочих в заведениях и 1134 рабочих на стороне...»

— Ты знаешь, какая это Ворсма? — возбужденно шепчет Васильев. — В этой Ворсме родился мой батька. Мой дед работал на одного из этих мелких хищников. Когда батька говорит, как они жили, он все смеется, смеется — он у меня веселый, а потом вдруг как заплачет!

На него зашикали. Лобачев кивнул головой и, сочувственно похлопав по плечу Васильева, прошел дальше.

Он не совсем понял, что так волнует Васильева. А Васильев не мог дальше читать. «1134». Одной из единиц этой цифры была жизнь его деда, в числе эксплуатируемых детей, о которых упоминал, за которых боролся Ленин, был его отец... Какой любовью к человечеству, какой силой борьбы за коммунизм светится старательный и проникновенный разбор этих цифр, поднятых из могил статистических справочников, где они покоились бы до скончания века. Но вождь пролетариата их оживил и сделал грозным оружием классовой борьбы.

Взволнованный Васильев не мог больше работать, порывисто встал и ушел, и Лобачев, обернувшись на резкий в тишине звук отодвигаемого стула, подумал, что надо беречь Васильева, что он болен.

Лобачев уже подходил к библиотечной стойке, загораживающей вход в кладовую библиотечных сокровищ. Гришин, встав, приветливо улыбнулся Лобачеву, и глаза его жидко поблескивали непрекращающейся слезой.

Несколько дней тому назад Розов прислал на курсы в качестве группового руководителя беленькую девушку-комсомолку. В сутолоке учебного дня не разглядев ее, Лобачев поручил Косихину проверить ее знания. Результаты были удовлетворительные. Лобачев тут же назначил ее руководом группы старых комиссаров, сняв оттуда Гришина и перебросив его на заведование библиотекой.

Гришин сухонькой рукой своей пожал руку Лобачева и показал разостланные на полу плакаты с влажными и ярко раскрашенными буквами:

«Что читать по политической экономии».

— Выражаю вам благодарность, товарищ Лобачев, за перемещение меня на новую должность, — шептал Гришин, поблескивая мокрыми глазами. Книга — это для меня, примите во внимание, все. Здесь я и сам учусь и могу быть полезен своим советом, ибо... — он перешел на еще более тихий горделивый шепот, — вряд ли кто из педагогического состава курсов, примите во внимание, так начитан в марксизме и вообще в политических науках, как я. Библиотека наша велась халатно, и бывший до меня библиотекарь, примите во внимание, выдавал Герберта Спенсера и Кропоткина, а также меньшевистские брошюры, каких было здесь немало, но, примите во внимание, здесь трудно отделить злостность от непонимания

и невежества. И эти произведения сеяли ересь в умах наших слушателей. И вот я, примите во внимание, прибег к рекомендательным спискам, кои мне разрисовывает с такой красивостью Александра Петровна.

— Какая Александра Петровна?

— Меня заместившая в группе, Иванова Александра Петровна. Вот они-с, — и Гришин указал на библиотечное хранилище, где между шкафов Лобачев увидел склонившуюся над столом стриженую голову, яркорусую, как одуванчик, а рядом рыжие волосы Косихина.

Лобачев подошел и поздоровался с приятелем. Девушка подняла румяное лицо, быстро скользнула взглядом по Лобачеву и покраснела. Она крепко ответила на рукопожатие Лобачева и, снова закусив губу, склонилась к списку, наполовину уже разрисованному.

— Видишь, какая художница! — сказал Косихин так, точно он изобрел эту милую девушку. Глаза его блестели, и видно было, что он преисполнен конфузливой радости.

Не поднимая головы, девушка коротко засмеялась.

Лобачев, не отводя глаз, следил за ее пальцами, осторожно набирающими кистью краску с блюдечка, аккуратно кладущими мазок за мазком в намеченные карандашом контуры букв. Были эти руки очень нежны в работе, которую они делали как бы в лад со всем тем, что было вокруг: с напряженной тишиной читальни, с курсантами, неподвижными у столов. «Вот такая — понятная, своя — нужна мне», — вдруг подумал Лобачев. Никогда он не думал так о Варе. И смутившись, что-то пробормотав, он круто повернулся и ушел.

Он вошел в ту комнату, в которой они с Косихиным с недавнего времени стали вместе жить. У него все не доходили руки, чтобы прибрать ее, а тут он сразу же энергично занялся уборкой.

Когда Сергей вошел в комнату, линолеум в ней блестел, точно натертый маслом. Пятна на стенах были завешены географическими картами и зоологическими таблицами, на которых летали птицы и бегали звери, а сам Лобачев лежал на кровати, такой веселый, каким давно его не видел Сергей.

Сергей тоже был весел, и они без всякой видимой причины дружелюбно засмеялись, глядя друг на друга.

— Ты что, у Вари был? — спросил Лобачев. Так пря-

мо и просто о Варе он давно уже не спрашивал. — Ну, как она поживает, Варя?

— Да ничего... читает... — смутившись, ответил Сергей и опустил глаза.

И Лобачев спросил Косихина:

— Скажи мне, Сережка, почему ты на нее так не похож? То есть внешне похож, но по характеру и вообще...

Сережа задумался, вздохнул.

— Долго рассказывать, — тихо и медленно ответил он. — Отец с матерью разошлись, ну вот... меня взяла мать, ее — отец. Мать моя — подпольщица-большевичка, я с ней и в ссылку... и вообще. Она ведь работница и боевая, настоящая большевичка, я с десяти лет стал ей помогать, — с ребяческой гордостью сказал он. — Да.

— Так отец твой тоже большевик.

— Да... Но почему-то он на Варю влияния не имел. И ведь она у дяди годами жила. А дядя — кадет.

Сергей задумался.

Лобачев внимательно ждал его слов.

— Да, кроме того, я тебе скажу, вот как я у отца бываю иногда, так вижу: барин он все-таки. И мать его так называет: барин.

— Как же это барин? Он ведь коммунист?

— Я это как-то сам не понимаю. Все-таки он из помещичьей семьи и поверху остался барин — по привычкам, обращению. Я с ним как чужой: очень трудно его называть «отцом». Право... А Варя с мамой — так они совсем чужие, никогда не скажешь, что мать и дочь, они друг друга не любят.

Сережа опять тяжело вздохнул: видно было, что много раз мучительно передумывал все это.

— А ты ее любишь, Варю?

— Да, и она меня тоже. Это у нас с детства так: меня иногда к отцу отправляли, если уж мамке очень туго приходилось. Варвара — она меня очень любит.

Наступило молчание, короткое и грустное.

Косихин поднялся.

— Ну, я еще погуляю, — сказал он. На минуту задержался, и радость опять согнала облако с его лица. — А как тебе Иванова? — спросил он.

— Я с ней еще не познакомился как следует. Да ничего, кажись...—ответил Лобачев, пристально всматриваясь в безудержно сияющее лицо товарища.

— Она очень хорошая. Я скажу, таких бы побольше девчат. Верно. И она, знаешь, марксистски очень начитанная.

Косихину трудно было совладеть с весельем, которое багрянцем разлилось по его лицу.

Лобачев, улыбаясь, смотрел на него.

— Ну, спокойной ночи! — еще раз сказал Сергей и исчез.

Лобачев засыпал. Хотелось спать, как на фронте, когда после недели сильных боев часть уводили в тыл на отдых.

Быстро состарилось лето. Под жестоким солнцем рано заржавели и побурели травы. Август, пыльный и сухой, подходит к концу. Все длиннее ночи, прохладней и раньше закаты...

— Дмитрий Лукич, демобилизовываться не будешь? — спросил у Шалавина Злыднев. Сидят они на скамеечке у калитки курсов, провожают закат.

Шалавин отрицательно покачал головой.

— Пока нет, Василий Егорович. Что же, сейчас моя бригада рубит дрова... Как демобилизуюсь, опять пошлют по дровяной части, — я лесоруб.

— Ну а я думаю иначе... Годы мои вышли давно, курсы кончу — и на завод.

— Работать? — спросил Шалавин, искоса поглядывая на иссохшее тело и сморщенное лицо Злыднева. — А думаешь — вынесешь?

— Я-то? — И Злыднев молодцевато приосанился. — Я-то? Да я другому молодому не уступлю. Хоть сейчас к станку. А то и мастером. Теперь нам в хозяйстве нужен квалифицированный пролетариат и коммунист твердый, стойкий.

— Я тоже, кончу курсы — и на фабрику, — сказал подошедший во время речи и понявший, о чем идет разговор, Сорокин, рослый, но сутулый парень с книгой в больших руках. — У нас в Иванове опять, верно, фабрики заработают в полную нагрузку.

— Ну нет, дорогой, — сказал Шалавин, — тебя-то уж из армии не пустят! Ишь ты, кончил курсы — и на фабрику!! А на курсы зачем пришел? Нет, опять в полк поедешь.

Вышедший на разговор Васильев ничего не сказал, но

тоже про себя подумал, что в армию он не вернется. Но и к станку тоже не станет. Разве в хозяйстве не нужны командиры?

Теперь знания кое-какие есть, при их помощи он надеялся сделать много. И только бы немного понабраться здоровья, избыть эту непрекращающуюся боль в спине и груди. Кашлянул Васильев и тоже сел на скамью.

Компания росла; когда подошел Лобачев, на скамье ему уже места не хватило, и он лег на траву.

Гладких, крепкий, как панок из игры в бабки, засунув руки в широкие шаровары, стоял перед скамьей и морщил на заходящее солнце свое скуластое, непреклонное лицо.

— Вот, ребятки, на будущую пятницу соберут нас на партсобрание и зачнут каждого пытать, откуда и как вошел в коммунисты. Есть это всероссийская партийная чистка, товарищи. Почистимся, кого не надо — отбросим, и останется у нас партия — светлый брильянт, — торжественно-кудряво возгласил Николай Иванович Смирнов, упруго присевший на корточки перед скамьей, но под развязной кудреватостью его речи слышалась некоторая тревога.

— Верно, — сказал мягкий голос Герасименко.

— Верно? — переспросил Васильев. — А кто заявление сочинял? Эх, Митруня! — сказал он с насмешкой.

— А чего ж? Я же ничего... я не подал, — смутился Герасименко.

— Ладно, ты до его не касайся, — вставил примирительно Коваль. — Що було, то було. Верно, Митрусь?

— А вот я смотрю не так, Василий Егорович, — сказал своим накатистым сибирским говором Гладких. — Много ли у нас истых коммунистов, кто без пятна, без рябинки? Не больше как двадцать человек. Уж ежели чистить, так чтоб вот этих двадцать оставить.

Говоря это, он косил глаза на Коваля, продолжая ту борьбу, которую они все время вели на курсах.

И как бы в ответ Коваль протяжно и дерзко свистнул.

— Чисто, — сказал он свое любимое насмешливое слово. — Выходит, одних чалдонских кулаков оставить? Чисто.

Гладких сразу повернулся к нему:

— А ты бы, Афоня, помолчал. Забыл, елова шишка, как вместе со Смирновым да с Герасименко в карцере сидели? Вот те и пролетария! — зло сказал он. — Нет, уж

раз ты взошел в партию, так держи себя вот!—Он крепко сжал кулак и стиснул зубы.

Злыднев, не соглашаясь, качал головой, но ничего не говорил.

— А тебе пролетарий соли иа хвост насыпал? — язвительно спросил Коваль.

— Смотреть иадо, какой пролетарий?—упрямо сказал Гладких.—Про Лобачева илн Коионова ничего не скажу.

Одобрительно хмыкиул Васнльев.

— А чего ж? — говорил Коваль. — Колы б я отказавсь, що пнл. Другой иичего не пьет, всю жизнь сохнет, а цена ему пятак. И ты — кулак, чалдоиская твоя душа. Уж одиа фамилия твоя: Гладких—гладкий и есть, кабан. Разве ты поимаешь, яка наша пролетарска судьбиия? Испытал, как в шахте сырость до кости доходит? Отчего я выпить люблю? Эту сырость никак выгнать не могу.

— Верио, Коваль, — вдруг одобрил Лобачев.—С этим надо разбираться тонко, товарищ Гладких.

— Значнт, пей? — спрашивал громко Гладких. — Ну, ты скажи, товарищ Лобачев, выходит, пей?

— Опять какой крик...—Шалавии покачал головой.— Ах-ах! Вот всегда, как сойдемся — сейчас гав, гав!

— Что ж, это хорошо, — сказал Злыднев, — мысль ищет вериого пути.

— Я не против, чтоб искать, но зачем же такой лай. А вот... Дочка, дочка!

За ворота вышла Шура Иваиова. На ией полиинявшая от стирок, ио тщательио проглаженная кофточка, оставляющая открытыми румяио загоревшую шею и руки, покрытые золотистым пушком. На ногах у ней крепоиькие, простенькие, но, видно, праздиичные башмаки; Лобачев заметил, что днем она ходит в других, более разношенных. Она была чиста и свежа до нарядиости, иа нее весело было глядеть, и комиссары даже иа минуту замолчали.

— А иу-ка, сдвиньсь, ребята, дай место, — засуетился Шалавии. — Сидай с нами, ангелочек, — говорнл он и, обняв за талию улыбающуюся, покрасиевшую Шуру, посадил ее между собой и Злыдиевым. — Вот так, посиди со стариками. Оио спокойиее будет, а с ними-то спокойио не посидишь, — он лукаво мигнул ухмылявшимся курсаитам.

— Ай да дочка! — говорил Шалавин, обнимая улыбающуюся Шуру. — Ну, товарищ Лобачев, спаснбо! Ты нам в группу прнслал такую умиицу, а то мы от учености

Гришина совсем завяли. Она все очень выпукло объясняет. Молодая, а историю партии так рассказывает, точно сама вместе с Лениным на Втором съезде меньшевиков крыла. Верно, Василь Егорович? — обратился он к Злыдневу.

Злыднев ласково посмотрел на Шуру и кивнул головой. Шура краснела и улыбалась под пристальным, одобрительным и веселым взглядом Лобачева. Приятно было, что он, ее начальник, слышит эти похвалы, и особенно льстило ей молчаливое одобрение Злыднева.

— Да разве я, товарищ Злыднев, для вас что новое рассказываю? — спросила она краснея. — Ведь вы сами все это пережили...

— Конечно, — ответил Злыднев. — Но одно дело — пережить, а другое дело — понимать.

— А ты с которого, Василь Егорыч? — уважительно спросил Гладких.

— Давненько, — смутившись сказал Злыднев. Выработавшаяся за всю жизнь скромность, ставшая инстинктивной, не позволяла говорить о стаже. Но сразу заворошились воспоминания. — Давненько, — машинально повторил он.

— А как же это было? — спросил Лобачев.

— Что было?

— Да вступил-то как?

— Ну... — и Злыднев, словно книгу, дочитанную почти до конца, перевернул, посмотрел начало и вдруг весело засмеялся. — Началось, когда я дом продал.

— Как это дом продал? — спросил Гладких.

— Долгонько рассказывать. Продал дом и пошел войной на капитал. — Он опять засмеялся.

— А ну, расскажи!

— Да чего?

— Расскажи, Егорыч, — попросил Шалавин.

— Да ладно... чего... Ну, сам я московский... москвичи должны знать машиностроительный завод Гоппер. Теперь он уже в линии города, но тогда окраиной считался...

— Я знаю, — сказал Васильев. — Имени Ильича завод.

— Нас трое работало: отец, брат и я. Потом брат уехал в Питер, и вот узнаем: за политику арестован. Немного прошло — отец помер. Он, правда, стар был, упал на заводе; принесли домой, с неделю проболел и —

конец. Остался я с матерью, сестрой да жена молодая. Но я по тем временам зарабатывал ничего. Я хоть был молод, но очень привержен религии. Да и вся наша семья — попу постоянный доход.

— Э-эх... — пожалел Коваль.

— Да... Теперь вспомнить совестно, а даже по тем богобоязненным временам и то ужасный был модельщик; и разговор у нас дома всегда был церковный, иконы носили, молебны служили. Тьфу! И видел, на своей шкуре чувствовал, — плохо живется пролетарию! Но уповал на царствие божие.

— Здесь, мол, страдаем, а там погуляем, — вставил свое Коваль.

— То-то оно и есть... Был очень отсталый. Даже трудно понять сейчас, что такое в башке моей крутилось? Как у меня эта мечта зародилась — строить себе дом? Оно верно, тесно было на квартире, а ждали прибавления семейства. Отцом малость накоплено было, да я влез в долги, и построил себе хоромы. Изба — две горницы да кухня. Само собой, у нас по слободке пошел разговор, что Василий Егоров Злыднев какой солидный и хозяин, поставил дом. С уважением относятся и ломают шапки. Шутка ли, домовладелец! А я из-за этого домовладения жить стал хуже собаки: чай без сахара пьем, о мясе забыли. Жена в положении, а на что уж тогда молоко дешевое было, и то... долги платим!

И как сейчас помню, в воскресенье прихожу из церкви — сидит мой старший браток, его из тюрьмы выпустили. «А, говорит, здорово! Ну что, намолил себе горб?»

— Вот это так! — одобрил Коваль.

— Ну, я, делая ему уважение, как старшему, как бы не замечая его насмешки, отвечаю вежливо, что, мол, в церкви был и служба прошла великолепно. Но сам смотрю — у баб моих глаза мокрые. Значит, разговор этот идет давно. Начинаю расспрашивать, как, мол, здоровье, хочу отвести разговор. А он свое: «О нашем здоровье сам царь крепко заботится, даже дворец для нас с решетками выстроил. Вот через таких дураков и пропадаем... Эх, Васька, Васька! Чушка ты, баран, которого стригут. Ты плюнь на богов и попов, а смотри в жизнь, как она идет. Знаешь ли ты, кто такой фабрикант, этот Гоппер, и что весь этот кровопийный класс?..» — и пошел и пошел. Ну, то, что он рассказывал, это теперь вы ясно

понимаете, можно сказать, азбука. Но тогда это было в новинку: и о капитале, и эксплуатации, и о социализме. И вдруг я все понял, — даже страшно стало. А правильно, никак не заспоришь.

— Верно, — сказал Васильев, — и со мной так же было.

Лобачев кивнул головой, и Коваль, лихо повернувшись на каблуке, сказал:

— А я так большевичонком и родился, как свет увидал, так сразу: соединяйтесь, пролетарии всех стран!

Все засмеялись. Васильев, нахмурившись, прервал:

— Брось, Афоня, шутовать. Давай, Василий Егорович!

— Да так оно и стало. Конечно, я бы выразить не мог, чего понял, и все время вопрос: а бог? а царь? Ведь самой жизни основа... Целую ночь не спали, проговорили с братом. И вот прихожу я утром на завод и вижу: все, словно по-другому, чем вчера, и злость такая в груди... Ну, и пришел я к своему станку, — тогда я на большом работал, точил штуки пудов на четыреста, пятьсот... И вот устанавливаю; очень трудно с этакой махиной: верно вывернуть центры, чтобы их не сбивало, глазомер требуется. Устанавливаю я, и ворчу, и ворчу, сам с собой так ругаюсь в белый свет, потому что все несносно. Ну, тут мастер был, этакий хроменький немец, с костылем все ходил, стерва такая — беда! Услышал он мой ворчок, подошел: «Ти что, Злыднев, ти что?». — «Ничего», — говорю, а так у меня вчерашний братний урок на языке крутится, так бы ему вклеил, стерве. «Молчи, — говорит он мне, — ти... молчи». А я: «Чего молчать-то?» Посмотрел он на меня и ушел... Но вот, гляжу, идет он обратно, враз приносит чертеж и говорит: «Вниймай и становь вот это!» Я обомлел. Выходит, я час даром проработал и теперь должен начинать сначала. И вот во мне все кипит, но я как бы не расслышал и зажимаю ключом кулачок патрона. А он: «Я тебе говору. Ти слишишь?» Посмотрел я в его зеленые глаза и начинаю ему объяснять, что я уже эту штуку установил и что накладно мне будет начинать другую работу, но голос у меня от злости срывается. А он еще пуще кричит, костылем стучит и ничего слушать не хочет.

А вокруг собрались ребята и надо мной же потешаются, поддразнивают. Посмотрел я на них. Стало мне горько — невозможно, и я им сказал: «Эх вы, серые

черти. Вот такая сволочь над нами издевается, а вы, заместо того, чтобы у него костыль отнять да ему по шее, так над своим же братом смеетесь!» Как я сказал «костыль отнять», так он сгинул и за весь день ко мне не подошел.

На следующее утро мне в проходной говорят: «Ты уволен». Вот тебе раз! Как уволен? Показывают письменное распоряжение главного инженера. Я, конечно, догадался, откуда ветер... Бабам не сказал, назвался больным, а брату рассказал. Он меня еще поднакачал. Ну, а что делать будешь? Работать надо. И каждое утро три дня подряд ходил я на работу, и все меня не пропускали. Потом пропустили, но прямо к директору в кабинет.

— Здравствуйте! — ахнул Коваль. Но на него зашикали.

— Вхожу в его стеклянный кабинет. Там за столом посредине директор, об одну его руку жандармский офицер, о другую — главный инженер, и тут же мой немец с костылем стоит. И вот говорит директор офицеру, указывая на меня: «Видите, ваше благородие, вот этот хам и мерзавец, эта разбойничья морда, он хотел сделать насилие над этим богобоязненным старичком, над этим тихим человеком, который и мухи не обидит». Это про немца: «тихий человек». Ну, я отвечаю: «Неверно, я ему ничего насильного не сделал», — и хочу объяснить всю историю, а жандарм на меня: «Молчать, сукин сын!»

Я замолчал, и вдруг мне стало весело, все получается, как брат рассказал: вот сидят они — директор, инженер и жандарм. Над ними — царский портрет, и все это капитал. И перед ними я стою, безответный рабочий, и они меня судят. По какому праву? «Остановите этот разговор», — сказал я. Должно быть, веско сказал, потому что они сразу смолкли. «Нам судиться, говорю, не о чем, нас время рассудит, кто прав: рабочий или капитал...» И вот все, что мне брат рассказал, я и переложил и, наверное, правильно переложил, потому что меня прямо с директорского кабинета да в участок. Там просидел я неделю. Потом, как выпустили, пошел я по Москве наниматься. Однако нигде не берут, уж попал в черные списки... Уезжать надо.

Тут-то я и понял всю программу до конца. Что ж, драться так драться. Но главное — дом вяжет руки.

Собрал соседей, товарищей и объясняю: так и так, почтенная публика. Покупай дом. Кто деньги имеет, гони сейчас монету — дешевле продам... Бабы мои в рев, а брат, который меня учил, испугался, отозвал и говорит: «Да ты что, Василь, пьян? Чего дуришь? Уедем давай сейчас, я тебе помогу устроиться, но ты мамку да жену оставь пока, а потом имущество продашь». — «Нет, говорю, брат, спасибо тебе за то, что ты меня наставил, но теперь мне все стало ясно. Как-нибудь уж вывернусь, но камень на шее, который мне мешать будет бороться, я иметь не хочу». Так-то, ребятки.

Шура смотрела на воодушевленное, усеянное серебряными сединками лицо Злыднева и вдруг представила себе, как тогда, тридцать лет назад, этот человек незаметно начал класть фундамент того здания, которое уже высится над миром. Она с товарищеской теплотой обвела взглядом всех собравшихся вокруг Злыднева. Несколько секунд длилось молчание. Первым нарушил его Гладких. Он сказал, упрямо склонив голову:

— А я смотрю не так, как ты, Василий Егорович. Разве коммунисту нельзя иметь дом? Возьми, скажем, в деревне...

— Чисто! — сказал насмешливо Коваль. — Да какой же ты коммунист после этого? Ты — чалдон, мужик, и твое мужицкое счастье — обложиться навозом, развести курей и коз и всякую другую нечисть. Нет, я считаю, Василий Егорович поступил как коммунист и всем нам в пример. — Коваль победителем глянул на Гладких.

— Ну, это каждому по силе, — примирительно сказал Шалавин. — Василий Егорович тогда был молодой и сам за себя боялся, не потянет ли его дом к старому. Ежели коммунист чувствует себя очень крепко, он и дом иметь будет, да сумеет от него отказаться, когда надо. Детей любить будет, — обливаясь горючими слезами, оставит их на голод и холод. А слабому коммунисту лучше быть одному. Чем слабей себя чувствуешь, тем строже надо жить.

Злыднев утвердительно кивнул головой. Прилив разговорчивости у него отошел, и он молча щурил свои бледные, точно выпитые глаза, как бы вглядываясь в прошлое.

— Однако вот я, — продолжал Гладких, не слушая. — Вот у нас и дом и скотина. А вот я взошел в партию.

— Чисто! — опять с насмешкой вставил Коваль.

— Брось, товарищ Коваль, — сказал Шалавин, — что ты его подначиваешь? А ты, Иван Карпыч, говори — ничего...

Но Гладких еще несколько секунд сумрачно глядел на смеющегося Коваля. Потом повернулся к Шалавину.

— Было это на австрийском фронте. Я служил в артиллерии. Посадили меня на дерево корректировать стрельбу... Ну прямо под моим деревом как ударит наш снаряд — сразу все дымом заволочет, а потом, как ветер разнесет дым, и видно: раненые ползут, как черви... И тут же скрюченные мертвецы. А потом опять набегут люди и ворошатся живые, и опять я сигнализирую, и опять: бабах!

И вот мысль: сижу я на этом дереве, на чужой стороне и убиваю мне неведомых людей. А за что? И никуда не убежишь, приведут обратно, как скотину на бойню. А кто? Офицеры, жандармы. А зачем им война? Так докапывался до правды. И стал у меня смертельный страх от этой войны, не то что за себя страшился, а за народ... После Февраля узнал я о партиях. Слышу на митингах: одни чего-то лукавят, другие прямо, без лукавства, говорят: «Долой войну!» Называются большевиками. Стало быть, я уже есть большевик. Да.

Кончил он отрывисто и резко, точно обрубил. И после минутного молчания Герасименко замурлыкал какую-то военную, тоскливую, как солдатский сон, песню, которую пробудил в нем этот рассказ.

Никто больше не говорил, а уходить не хотелось. Синий вечер зажег в городе теплые золотые огни. Общий разговор растекся по ручьям отдельных тихих бесед.

Шура встала и хотела уйти.

— Ты куда? — услышала она голос Лобачева.

Он лежал на траве, и она еле различала очертания его фигуры.

— Спать, — сказала она.

— Посиди, чего тебе, посиди еще! — Он схватил ее за руку, потянул вниз.

«А почему мне не посидеть?» — подумала она. До этого случалось ей говорить с Лобачевым лишь о делах. Она его боялась, тем более, что все время видела его хмурым, — сегодня он был приветлив. Ей нравилось на него смотреть.

— Погоди! — еще раз сказал он.

— А чего мне годить? — спросила она, но не уходила.

Лобачев быстро вскочил с травы.

— У меня завтра утренние занятия, — сказала она почему-то, но сказала нерешительно.

— Да и у меня тоже.

Во время этого разговора они незаметно отошли от скамейки.

— Осень подходит, последние вечерки такие приятные, — сказал Лобачев. — Идем гулять, — предложил он, и она почувствовала трепет в его голосе.

Сама волновалась и пристально всматривалась в его невидимое за темнотой лицо. Но по голосу его чудилось ей, что он ласково и просительно улыбается.

«А почему не пойти?» Спать не хотелось. День за днем брала работа, и все не хватало какого-то веселья. «Не велик грех — погуляю», — подумала она с лукавым смешком, и, взявшись под руки, они скрылись за углом.

Шалавин проводил их добрым, чуть завистливым взглядом. Люди разбрелись, остался только он один. Потом за ворота торопливо вышел Сергей, оглянулся и спросил: «А ты Иванову не видал?» Шалавин помолчал и ответил:

— Нет, не видал.

— А Лобачева?

— Ушел он.

— Куда ушел?

— На кудыкину гору, — слегка насмешливо сказал Шалавин. — Почем я знаю?

Глава тринадцатая

...Вода, пенящаяся и легкая, волна, мелкая и быстрая, в разводах пены — точно большое наводнение. Куда ни глянь, много лодок и больших и малых, в них люди; мужчина гребет, лодка завалена вещами, узлы (красная скатерть, и оттуда высовывается ручка кастрюли), самовары и кучи мешков. Много лодок, много крику и шуму, дети плачут.

И тут же Шура. Сама гребет, одна в лодке, и лодка летит легко, так что дыхание захватывает...

От этой легкости и быстроты Шура просыпалась. Обычно она снов не видит, засыпает разом, спит крепко до утра и, проснувшись, всегда удивляется утреннему свету: кажется, что только что положила голову на подушку.

А этот единственный сон почему-то стал сниться после тифа. Тифом же заболела, когда после фронта вернулась в родной город, сходила посмотреть на дом, где выросла. Стоит этот маленький домишко в длинном закопченном переулке, который ведет в депо, и потому переулок назывался раньше Деповским. А сейчас он называется улица Петра Иванова. И около самого депо, в доме, где раньше была квартира большого железнодорожного начальства, помещается клуб, и над ним вывеска: «Клуб имени машиниста Петра Иванова». А самого Петра Никифоровича Иванова, отца Шуриного, разорвало вместе с паровозом того эшелона, в котором ехали и не доехали колчаковские егеря на усмирение партизанского восстания. Шуру исключили из городского училища за отца-большевика. Шура убежала поближе к красному фронту. Когда наши взяли город, она вступила в партию и пошла в Красную Армию инструктором подива.

Потом партшкола. Кончила ее и захотела опять в армию. Свыклась с армейским обычаем, отчетливым и точным, сложная путаница гражданской жизни ей была неприятна. И вот одно из бесчисленных учетных щупальцев Розова нашел ее, извлек поближе к розовским очкам. Рассмотрел ее Розов и послал на курсы.

А сон этот Шура вспомнила, когда Лобачев спросил:

— Это ты здесь снята?

— Я, — ответила она, вспомнив сон, и, не глядя, надевала сандалии на крепкие ноги. Знала, что смотрит он на фотографию, где маленькая кудрявая девочка улыбается с плеч рослого, тоже кудрявого, человека в пиджаке поверх косоворотки. Стоит эта фотография на письменном столике в комнате, где раньше жил Миндлов. Сейчас здесь поселилась Шура, и стало так уютно, что не хочется уходить.

— Большевик? — спросил Лобачев, рассматривая на фотографии сильное и умное лицо, словно затаившее в себе что-то.

— Да... он погиб только... взорвал паровоз... с егерями... Он машинист был.

— А мать?

— Умерла еще раньше.

— А, — протянул сочувственно Лобачев. — Стало быть, ты теперь одна?..

Она ничего не ответила и посмотрела на него. Взгляд ее был внимателен, быстр, и, словно скрыв что-то, она отвернулась и пошла из комнаты. Он шел за ней и смотрел на ее тронутую загаром крепкую шею, на тоненький золотистый язычок волос, кудрявившийся в затылочной ямочке.

«Кудрявая», — подумал он, вспомнив фотографию.

Вчера Лобачев и Шура с часок походили по пустым и темным переулкам, мимо шелестящих черной листвой палисадов, пришли к пруду, над которым колыхался светлый дымок тумана. Ходили, смеялись и разговаривали...

А сейчас пробыли вместе пять минут, несколько слов сказали. И о чем? Так, ни о чем... Но снова неожиданно и вдруг подумал он: «А почему не жениться?» — и не отгонял этой мысли.

И после этого врозь стало скучно. Раньше Шура больше бывала с Сережей, а теперь перестала слушать его веселую болтовню и часто отвечала ему невпопад. Сережа—хороший, это она знает, и умный, и читал много, и говорит как будто глаже, чем Гриня, а с Гриней лучше.

Она часто думала о нем и вспоминала крепкую фигуру, твердую походку, крутой обрыв лба...

— Шура... Здравствуй, Шура, — говорил он ей приветливо и не скрывал, что приятно, окончив занятия, увидеть милое, улыбающееся лицо и глаза в золотой тени густых ресниц.

Шура — это желание отдыха после работы. Шура — с ней во время отдыха можно поговорить о работе. Шура — заботливые пальцы, разрисовавшие рекомендательные списки библиотеки...

Ни одно любовное слово не было еще сказано. Но в мимолетном разговоре о фотографической карточке почувствовал Лобачев, что Шура одинока и что одиночество ее тяготит.

С отчетливостью, с какой никогда не думал о Варе, взвешивал он возможности своего брака с Шурой. Но если Варю он легко мог целовать в первый вечер, то с Шурой он сдерживал себя. А во время долгих вечерних

прогулок все чаще и чаще замолкали они и, не прекращая быстрого и дружного шага, тесно прижимались друг к другу. И тогда прерывисто становилось дыхание обоих, чаще и крепче удары сердец, а все мысли точно уносило теплым и сильным ветром.

По вечерам все трудней было расставаться. В двенадцать запирались все курсовые здания, и это ставило предел прогулкам.

Но в эту светлую ночь полнолуния и веселых облачных кудряшек, разбросанных по всему широкому и малозвездному небесному своду, особенно не хотелось уходить и оставлять друга.

Долго стояли у двери, долго говорили о каких-то сегодняшних пустяках, уславливались о чем-то на завтрашний рабочий день, и это давало еще минуты, в которые можно было видеть блестящие глаза и улыбку друга и, держа руку, перебирать его пальцы.

Потом разошлись. Лобачев пошел к большому зданию курсов. Но дверь была уже заперта. Он нерешительно стукнул. Ему не открыли.

Еще раз стукнул. Молчание, черное ночное молчание. Конечно, если поднять стук, то дежурный проснется и откроет, но неудобно: будут болтать, что Лобачев невесть где шатается.

Он тихонько чертыхнулся и пошел на середину двора, следя за своей тенью, ползущей впереди его по земле, на которой каждый камешек, каждая травинка вырисовывались в мягком лунном свете. Было тепло, как днем.

«Пересплю на дворе, — решил Лобачев и повеселел. — Вот ведь привычку получил спать в постели. А ну, вспомним старинку». Он пошел в сарай, достал два полена, положил их на бревна вместо изголовья, из того же сарайчика натаскал соломы, одну полу шинели постелил, другою накрылся и заснул таким веселым и тонким сном, что сквозь него, как сквозь кисею, видел эту лунную ночь и слышал лай собак и пронзительные гудки со станции. Один из таких гудков, верно, и пробудил его.

Похоже, что спал он не больше получаса — восход еще не белел. Но луна достигла предельной силы своего холодного разгара, изменившиеся цвета выступали ярко, как днем.

Лобачев чувствовал, что уже выспался. Он вдруг по-

думал о Шуре, живо представил счастливое ее лицо. «Ведь она меня любит, — думал он.—И чего мы тянем?»

Он глянул на дом, где она жила. Под лунным светом выделялось каждое бревнышко, каждый сучок на нем. Среди блестящих окон он заметил только одно, чернеющее темнотой,—в первом этаже. «Да оно открыто... А те закрыты... Ведь это ее окно...» Он оглянулся кругом: белый шар луны, бледные звезды, голубые легкие стружки облаков, тихий шелест деревьев и их узорчатые движущиеся тени.

Он легко и бесшумно встал и пошел к ее окну. В комнате было темно, и на светлом квадрате оконного отражения, лежавшего на столе и на полу, он ясно увидел круглую тень своей головы. Сердце его сильно билось.

— Шура! — сказал он негромким шепотом. — Шура!

Никто не ответил. Он прислушался. Сквозь мерный гул крови в своих ушах услышал он из комнаты тихое дыхание, и сердце его дрогнуло. «И чего я бужу ее?» — спросил он. Но попрежнему легко и быстро бежали облака и чуть шелестела листва тополей. Хотелось еще раз позвать ее... «Позову! Испугается — не любит, обрадуется — любит! Верно! Верно!»

— Шура, — громко сказал он. — Шура!

В глубине комнаты зашуршало что-то белое. Несколько секунд молчания, и ее мягкий голос тихо и обрадованно спросил:

— Гриня? Гриня, это ты? Погоди, я сейчас.

Она и не заметила, что назвала его не по фамилии, а по имени.

А он уже забыл, о чем загадывал, когда позвал ее. Он вглядывался в окно и увидел, как из темноты комнаты поднялось что-то белое, увеличилось — и вот она в наспех накинутой белой кофточке, заспанная, но веселая, подошла, склонилась к нему, и оба они засмеялись, глядя друг на друга.

— Тебе что, не отворили?

— Да, я на дворе лег... Видишь, — и он указал на бревна, где ярко белели берестой березовые дрова и черной кучей лежала его шинель.

А дальше говорить стало не о чем... У него мелькнуло: спросить, зачем она на ночь открывает окно, но это было ненужно, и он не спросил. В первый миг, когда он увидел ее, ему стало легко и весело, как обычно бывало

при дневных свиданиях. Но это молчание, это лицо, которое сейчас под луною казалось необычайным, этот блеск глаз! Сердце его стало биться сильно, все сильнее, сильнее.

— Шура! — сказал он прерывистым шепотом, легко подымаясь на руках и ставя колени на подоконник... — Шуренька!

Из самой далекой глубины пришло это ласковое слово:

— Шуренька...

Дрожь тревожно пробежала по её телу.

— Что? — спросила она, но какая-то неодолимая лень уже сковала ее всю.

Глава четырнадцатая

«Здравствуй, товарищ Миндлов! Очень тяжело мне писать, но, узнав из твоего письма, что ты уже поправляешься и тревожишься, я решил, что настало время тебе сказать скрытое от тебя мной и Таней Розовой.

За несколько дней до твоего отъезда пришла телеграмма из санатория, что жена твоя умерла.

Вот написал и думаю, чего же мне дальше писать? Он, верно, и не сможет читать от горя. Но когда твое горе пройдет, ты прочтешь. Теперь же, когда ты поправился, я считаю, что дальше обманывать тебя нехорошо. И ты, когда горе твое отойдет, одобришь нашу ложь...

Ты спрашиваешь, что нового на курсах? Писать можно много чего, и первое — что мне пришлось стать начальником курсов, а Сергей стал начучеб, потому что Арефьев прошел чистку и уехал в Москву поступать в Академию. Арефьев чистку прошел очень хорошо, я скажу даже так: он чистился первым и как бы дал всей чистке верный путь. Слушали его биографию, так, знаешь, не продохнул никто, а как кончил он — сразу аплодисменты. Кто хочет сказать? И вот выходит Никола Смирнов. Ну, думаю, сейчас начнется глупая демагогия, и уже засучиваю рукава, чтоб выступить. Но вдруг наш Никола, оборотясь к Арефьеву, чувствительно и воодушевленно говорит: только сейчас вот, слушая Арефьева, понял до самой сути, что в первые дни повел тебя на курсах, как поросенок, и дальше он говорит, что уважает Арефьева за прямоту, за смелость, за дисциплину и благодарит за ту учебу, которую имел от Арефьева.

И вот, Иосиф, писать совестно — чувствую, застилает глаза и щекочет горло...

Опять были аплодисменты.

Теперь мы готовимся к выпуску. Ребята, видно, здорово устали: я даже урезал программу; и оргаиизованиый наш клуб теперь работает очеиь регулярно. Кроме того, при помощи губкома немиого улучшили питаиие (теперь у нас обед из двух блюд и порцию на ужии увеличили). Губком договорился с командующим о демобилизации половины состава курсов, так как очень необходимы работиики для губериских парторганизаций и хозяйства.

Дорогой товарищ Миндлов, кланяется тебе Сережа, и все ребята о тебе помият и часто спрашивают. Ты ие осиротел, дорогой, когда ты вернешься к нам, то опять пойдет наша дружная работа.

Есть еще одна новость от Лобачева: он женился. Его жена — Иванова Александра Петровна. Ты ее не знал, ее прислали на место Гришина. С работой она справляется. А Гришина я назначил в библиотеку, и там он очень у места, высоко поставил работу. Сергей с работой тоже справляется, но по окончании курсов хочет ехать учиться в Москву. До свиданья. Жду тебя.

С товарищеским приветом.

Григорий Лобачев».

«Дорогой Лобачев! Прошло уже три недели, как я получил твое письмо Надо отвечать.

Таня Розова оказалась хорошим психологом. Ей в первую очередь я обязан жизнью. Это она все время электризовала меня надеждой жить с Лией, иметь ее около себя, и врачи удивлены, с какой легкостью я поправился. И вот, когда я крепко пустил корни в жизнь, когда я снова научился любить солнце, море, виноград, я узнаю, что Лия, любовь к которой веряула мне жизнь, из жизни ушла. Нет, я ие буду рассказывать тебе о своем горе, — ведь ты сам сейчас полюбил и можешь без труда представить себе, каково мне. И знаешь, я теперь почти что здоровый человек, часами лежу на балкоие, смотрю на жидкую пустыню моря, на зелень, на ползающих далеко внизу пестрых людей. Мне предстоит научиться жить без нее, а это иелегко. Но спасибо тебе, друг, за доброе слово.

И я не хочу повторять старую и банальную коллизию о любящих сердцах, которым ничто не может заменить друг друга. Как жаль, что, когда я выйду из санатория, наши курсы будут закончены и нашего коллектива уже не будет. Сейчас все это время на курсах представляется мне как стремительный марш с короткими дневками,— в первый период гражданской войны мне приходилось маршировать по семьдесят верст в сутки.

И когда во время этого марша я упал, казалось бы совершенно обессиленный, вы воспользовались моей живой любовью к жене и при помощи ее подняли меня. Трудно все это, Гриша, похоже, что я как бы вновь родился. Но ведь это вы своей дружбой, своей работой вернули мне жизнь, и она опять во мне и передо мной... И марш продолжается!

И я радуюсь, и горюю, и восхищаюсь вами, и негодую на вас. И я живу, и живу по вашей воле, друзья и товарищи, и жизнь моя навсегда принадлежит вам и нашему делу.

Иосиф М.

Лобачев, я еду в Москву, в ПУР. Хочу тоже попасть на учебу. Пиши мне до востребования, извести, где ты будешь после курсов?

И. М.»

Лобачев прочел это неразборчиво написанное, во многих местах перечеркнутое письмо и вернулся к началу.

Чувства, которыми он руководствовался в отношении Миндлова, казались ему очень простыми, а в письме Миндлова все это выглядело гораздо сложней. Он еще не кончил вторично перечитывать письмо, как в кабинет вошла порозовевшая от осеннего морозца Шура. В шлеме и длинной складной шинели казалась она мальчиком-подростком.

— Гриня, чего же ты не идешь? — сказала она. — Уже построились, ждут...

— Вот письмо от Миндлова получил, прочти-ка!

Она читала письмо. Он глядел, как, по свойственной ей милой привычке, она шевелила губами, очевидно натыкаясь на неразборчивые слова.

Те первые недели, в которые трудно полчаса существовать, не чувствуя около себя любимой, когда весь мир окрашивается ею и дуновенье ветра принимаешь за при-

косновение ее легкой руки, прошли. Сейчас его любовь, как река после весеннего половодья, пришла в свои настоящие берега. В эти дни, когда голова очищается от любовного дурмана, люди словно отодвигаются друг от друга, чтобы снова рассмотреть, кто же тот, с кем связала страсть.

В эти дни разрываются мимолетные союзы и образуются незаметные трещины, которым суждено сказаться через много лет. Но в эти же дни понимают люди, что никогда не расстанутся. И сейчас Лобачев взглядом, несколько посторонним, оценивающим, взвешивающим, смотрел на ее милое, повзрослевшее лицо: резче обозначились ноздри и рот, лоб точно осветился,— во всем этом он узнавал отпечаток той связи, которая скрепила их воедино.

Она прочла письмо и подняла на него глаза, — они целиком принадлежали ему, она была перед ним совершенно беззащитна, доверчиво не сознавая этого.

«Так ли я люблю, как Миндлов любил свою Лию?» — вдруг подумал он со страхом; и она тоже испуганно и беспомощно спросила, протягивая ему письмо:

— Что же это, Гриня? А если бы — ты или я... Нет, не смерть страшна, а вот разлука...

Лобачев оглянулся: плакаты, скамьи, карты — все чисто, сурово, строго, мило; и она в шинели стоит перед ним, ждет, чтоб он ободрил, поддержал ее. Он захотел обнять ее. Она сразу обрадовалась, засмеялась, но увернулась от его объятий...

— Ах я, дура! — воскликнула она.— Ведь мне торопить тебя велено. Слышишь?

На дворе настойчиво звонко стучали барабаны.

— Идем, идем. А то на парад опоздаем. Застегни пуговицу, — и, оглядев его заботливым взглядом, она поправила складку на его шинели. — Вот теперь совсем ладный, — сказала она. «Поцеловать бы его». Но знала, что если поцелует, то он ответит, и она опять его поцелует.

— Идем! Идем! — она быстро побежала вниз по лестнице.

Лобачев пошел за ней следом. Он еще раз перечитал бы это письмо. Но хлопнула дверь, он уже вышел во двор.

Небо, как спина рябой курицы, в белосеребряных и серых перьях, и редко где, как в оконце, проглянет глубокая осенняя голубизна. И такая же серая, в ослепительном серебре тихо застывающих луж, смерзшаяся,

уже неживая земля, тополя опали, у ног их лежат багряно-желтые вороха листвы.

— Смирно-о! — радуясь звонкости и четкости своего голоса закричал начстрой.

Лобачев оглядел ровную, словно по ниточке вытянутую линию строя: одинаковые шинели, островерхие шлемы, на правом фланге — багрянец и золотые кисти знамени. Вспомнил Лобачев первое строевое занятие, — жаль, что не пришлось Арефьеву увидеть дело своих рук... И Лобачев нашел глазами Николая Ивановича Смирнова. Вот он, чуть скосив свои бойкие глаза на Лобачева, похудевший, помолодевший, подтянутый, отличный от других особенно тщательной франтовато-воинственной выправкой, стоит посередине шеренги, рядом со своим отделением, отделенный командир — один из лучших строевиков курсов.

— Здравствуйте, товарищи! — глядя в его луковые, понимающие глаза, раздельно, по слогам прокричал Лобачев и увидел, как улыбка дрожит на губах Николая Ивановича.

— Здравствуйте! — так же по слогам ответила шеренга, и стены курсов отбросили гулкое эхо...

Звонко командовал военспец, и под его команду построились в колонну по отделениям. Шагом, гудящим по морозной земле, прошли в ворота. Марш вперед! Как это Миндлов написал в письме. Да, марш продолжается.

Тиха и пустынна эта окраинная улица. Но там, в конце ее, где она у старой златоверхой церкви переходит в оживленный главный проспект, там движутся черные толпы, там плещут красные знамена, и осенний воздух прозрачно доносит со всех концов города разноголосый звон оркестров и песен.

Пропустив мимо себя отделения, Лобачев быстро обогнал их и пошел рядом с военспецом.

— Почему отделения... неодинаковой величины? — спрашивает он, стараясь говорить не сбивая ровного шага.

— Как же, товарищ начальник... ведь с курсов выбыло двенадцать человек... Было сто... Осталось восемьдесят восемь.

Все ближе грохот оркестров и гомон толпы. Через несколько минут курсы вольются в демонстрацию. Коваль, запевала, чисто и высоко, как бы выражая чистоту воздуха и высоту неба, запел.

И бодрые слова песни, ее смелый напев словно окрасили еще ярче мысли Лобачева.

> Вышли мы все из народа,
> Дети семьи трудовой...

Да, трое ушли по болезни. Один — Дудырев — отпущен самим командующим. И точно сквозь задымленное стекло Лобачев представил себе остальных потерянных. Сизов — завтрашний кулак. Золотушный Михалев в франтовских галифе... Ненавистный Дегтярев, с лицом, смерзшимся, как ледяная глыба. Да, и Громов еще. Где-то он сейчас? Может, стоит на московском тротуаре, вокруг него дамочки, бывшие люди, и он смотрит, злобясь, как мимо идут полк за полком, завод за заводом.

Все ближе главный проспект. Лобачев оглядывается, видит большого Шалавина. Над головой его трепещет знамя, переливается в блеске букв. Встретился с его взглядом Лобачев: торжествен и серьезен старик, а сзади него в такт колышутся рослые молодцы первого отделения, а там дальше — шлемы и шлемы, лица... дорогие лица.

Гулко ухает в мелких мещанских домишках, в купецких особняках и кирпичных амбарах эхо тяжелого шага.

Это пятый Октябрь — не отдохнувший и вступивший в новую схватку боец. Перед ним засушливые поля, безмолвные фабрики и, как стан ядовитой мошкары над болотом, валютчики и спекулянты в закоулках столицы. Но уже непобедимая зеленеет озимь среди бурых лугов. На одну шестую мира раскинулись наши владения. Земные недра полны сокровищ. И недалеко то время, когда, по мудрому слову Ленина, хлынет хлеб в города, зашумят ожившие заводы.

> Мы наш, мы новый мир построим...
> Кто был ничем, тот станет всем...

И, торжественно отбивая шаг, курсанты вступают на площадь и гулко идут мимо вытянувшегося строя прочих частей гарнизона, туда, все ближе к красной трибуне...

Снова, как шесть месяцев назад, в высокооконном кабинете командующего идет долгий разговор. Но весенний ветер не веет сейчас в открытые окна. Вмазаны вто-

рые рамы. Заклеены ставни дореволюционными газетами, серебристо-серое спокойное небо стелется над городом.

Гордеев и Розов сейчас сидят рядом, по одну сторону стола. А напротив, в кресле, рослый Гринев, представитель губкома, и костюм его, как всегда, топорщится на бугристых мускулах большого тела. Сбоку, придавая всему происходящему особо торжественный тон, сидят Лобачев, Косихин и Кононов, подтянутые, побритые, в островерхих шлемах. Истончившийся, еще более похудевший Розов монотонно читает длинный список окончивших курсы, дает скупые характеристики, и, слыша эти, ставшие дорогими, фамилии, Лобачев, Косихин и Кононов вдруг переглядываются, точно прощаются.

— Каких людей отдаем... каких людей! — сокрушенно говорит Розов, окончив чтение.

— Ничего, — утешает Гринев и широким жестом показывает на карту края.— Видишь — раздолье. Вы здесь отвоевались, теперь пойдет моя война. На самые передовые позиции партийной и хозяйственной работы этих ребят поставлю!

— Слыхал, Ефим? — посмеивается Гордеев. — Они — на передовых позициях, а нас-то, выходит, в тыл отводят, а? Как — обидеться? Или, я думаю, не стоит... А?

Шутки командующего по обыкновению кажутся Розову неуместными.

— Итак, я подытоживаю, — хмурясь, продолжает он. — За время курсов восемь человек исключено из партии и с курсов, трое выбыли по болезни, один отчислен согласно приказу по округу. В распоряжение губкома передаем сорок человек, в нашем распоряжении остается сорок два человека, из них комиссаров — двадцать пять, политруков — семнадцать. Маловато, — скаредно и хмуро говорит он, оборачиваясь к Гордееву.

— Хватит вам! Ведь армия-то демобилизуется, — быстро говорит Гринев, тоже оборачиваясь к Гордееву.

Гордеев, как всегда, посмеивается. К чему возражать? Он знает, прав представитель губкома: политработников для сократившейся армии хватит, себе неплохих людей оставили. Но нельзя же не поворчать, пусть ценят, черт возьми, кого отдаем...

И он отвечает.

— Да. Не знали мы, когда шесть месяцев назад задумали курсы, что не для себя готовим. Так, думали,

передышка, дай-кось на всякий случай используем. А дело-то вон как оборачивается!.. Лобачев! — окликнул он. — А Лобачев! Что ты там узрел?

Заинтересованный, он, не дожидаясь ответа, подошел к окну.

На большой площади, сплошь покрытой линялой пестротой торговых рядов, чинили лавки, красили крыши, вешали вывески.

Гордеев повернулся лицом к товарищам в кабинете.

— Помню, прошлой осенью,— сказал он,— был у нас тогда секретарем губкома Робейко, — верно, вы его помните, умная голова и очень чистой жизни человек. Как-то раз он пришел ко мне вместе с предисполкома по какому-то делу и вот так же подошел к окну, поглядел и потом поморщился. «Какая гниль! Надо бы все это разрушить. А здесь разбить большой сад и построить Дворец культуры». И тут же раздул кадило и сочинил нам целый проект этого дворца и. что там должно помещаться. Ну, конечно, был разговор, прошел... Но только к окну подойдешь, так сейчас же вспоминается его проект и вот думаешь: через два-три года, а поставим мы этот дворец! А теперь, пожалуй, не поставим? Как, товарищ Лобачев? — повернулся он к Лобачеву, и странная, испытующая усмешка сморщила его губы. — Как считаешь?

Лобачев помолчал «Марш продолжается», — вдруг вспомнились ему слова из письма Миндлова. Но пока он собирался ответить, Кононов из-за его спины сказал глухо:

— О двух-трех годах, это сгоряча показалось. Но лет через пять-шесть наверняка поставим!

1925



ОПЕЧАТКИ

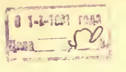
Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
16	14 снизу	нелья	нельзя
52	15 снизу	толстой	толстый
58	17 снизу	оиа	оии
73	15 сверху	н меия	у меня
170	9 сверху	чтбы	чтобы
245	17 снизу	нашел ее, извлек	иашло ее, извлекло
249	4 снизу	тебя	себя
253	17 сверху	луковые	лукавые

Ю. Либединский. Повести.

А-365



5 р.



ГОСЛИТИЗДАТ
1956 г.